

АРТИКЛЫ

Израильский литературный
журнал

АРТІКЛЪ



№ 15

Общественный фонд культурных связей
«Израиль – Россия»

Тель-Авив

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Дина Рубина. Одинокий пишущий человек.....	3
Моше Воскобойник, Нелли Воскобойник. Часовщик.....	25
Татьяна Алферова. Последний учитель.....	40
Александр Дашков. Зейд.....	47
Капитан Зельтц. Ночь санитара.....	71
Калле Каспер. Молотштейн и Риббенсноб.....	78
Давид Шехтер. Корсар из квартала Маре.....	115
Владимир Ханан. Рассказ.....	156
Евгений Деменок. Человек с безупречным вкусом.....	165
Михаил Юдсон. Остатки.....	170
Яков Шехтер. Человек, который хотел стать демоном.....	175

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Александр Крюков. Романы и стихи забытой поэтессы....	219
Израильский анекдот.....	231

ПОЭЗИЯ

Елена Тверская. Середина круга.....	234
Ирина Маулер. Ладонь.....	236
Дина Меерсон. У него, у ветра, такая харизма.....	239
Феликс Чечик. Помолчим, поговорим.....	242
Борис Колымагин. Знакомая незнакомка.....	246
Игорь Губерман. Иерусалимский дневник (<i>гарики</i>).....	251

НОН-ФИКШН

Александр Карабчиевский. Письмо Михаилу Юдсону.....	254
Яков Шехтер. Во сне и наяву.....	259

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Клавдия Смола. «Лестница на шкаф» Михаила Юдсона....	267
Роман Кацман. «Мозговой» Михаила Юдсона.....	294
Денис Соболев. Один способ читать роман «Мозговой» ...	303
Михаил Копелиович. Многообразный Борис Камянов	309
Андрей Зоилов. Лицо поэзии под маской псевдонимов ...	322

СТИХИ И СТРУНЫ

Любите меня, пока я жива.....	327
-------------------------------	-----

Дина Рубина

ОДИНОКИЙ ПИШУЩИЙ ЧЕЛОВЕК *Глава из одноименной книги*

«Старик, ты гений!»

Конечно, нельзя не упомянуть о том моменте, когда *Одинокому пишущему человеку* до зарезу нужно понимание и восхищение. И нужен ему не тёплый читательский отклик – за теми дело не станет, - а одобрение коллеги. Это нечто вроде алкогольной зависимости, и преодолеть ее чертовски трудно. Для этого нужна сила воли. Огромная сила воли.

Я всегда с ужасом читаю в письме знакомого писателя: «...пишу большой роман, чую, получается нечто из ряда вон!». Это означает, что вскорости, дай Бог (вернее, не дай Бог никому), он пришлет мне три огромных файла, страниц по 200 каждый, и я должна буду сидеть перед экраном до поздней ночи, честно прочитывая опус и терпеливо напоминая себе, что Жорж Санд однажды прислала Флоберу собрание своих сочинений в 77-ми томах. Отпечатать громадные файлы романа моего приятеля на принтере и читать с удобством, лежа в постели, - жаба душит: бумага, тонер... А когда мне самой понадобится выпустить на принтере собственный текст?! Нет уж. И я сижу, уперев взор в чужие строчки, глаза мои слипаются, мысленно я проклиная коллегу, но читаю, не пропуская ни слова, ибо на собственной шкуре знаю, что в это время он представляет, *как читают его текст*, и даже

губами шевелит, пытаюсь угадать – дошла ли я до убийственной сцены в седьмой главе? До сцены, равной которой еще не было в русской литературе!

И я дохожу до нее, конечно, и отдаю ей должное: хорошая сцена, я бы сократила вдвое, черт бы побрал его многословие! И все же это не 77 томов, напоминаю себе, скажи спасибо...

Короче, я дочитываю роман, тороплюсь написать прочувствованное письмо («Старик, ты гений!»), хорошие куски называю блестящими, сильные стороны собрата всячески подчеркиваю, слабые стороны не упоминаю вообще. Господи, мы так уязвимы, мы так незащитны, мы так больны – психически! Старик, ты – гений!

В ответ я получаю письмо растроганного до слез моего приятеля; он пишет, что не знает другого такого тонкого ценителя настоящей литературы, такого щедрого друга... Заодно сообщает, что пока я читала «тот слабый вариант», он хорошо поработал над текстом и готов прислать мне новый чистый роман, и когда я его прочитаю, вот тут уж я действительно отдам должное и оценю...

Кому-то может показаться, что я пишу это в ироническом или даже издевательском тоне?! Уверяю вас, я пишу это о себе. Я сама совсем недавно, лет пятнадцать назад, преодолела этот зуд, эту алкогольную зависимость – послать на оценку коллеге кусок своей жизни, - свои бессонные ночи, воспаленные глаза, сколиозную спину и психическую неполноценность...

Случилось это на романе «Почерк Леонардо». Не стану, разумеется, пересказывать тут его сюжет – возможно, кто-то его читал. Скажу только, что жизнь героини романа Анны была поделена между цирком (она – воздушная гимнастка), и ее уникальными способностями видеть то, что другим недоступно. Дописав роман, я послала его на прочтение двум опытным литераторам, моим друзьям. Вкусу обоих я полностью доверяла. Один был талантливым писателем, другой – известным редактором толстого журнала, переводчиком и тоже одаренным писателем.

Спустя недели две получила отзывы. Помимо неизменных славословий («Старуха, ты гений!»), оба не преминули выразить свои ощущения. «Дина, дорогая, - писал один. – Всё, что связано с цирком, прочитал на одном дыхании – там масса такого, о чем я даже не догадывался. И такие яркие типы, такие трюки, такая увлекательная бурная жизнь этих странных, вечно пьяных людей! Что касается всей этой фигни с ясновидением... ваша, конечно, авторская воля, но я бы на вашем месте выкинул половину этого занудства. Вы увидите, роман сильно выиграет!».

«Прочитал твой роман с интересом, – писал другой. - Главным образом, из-за сцен психологических. Я и сам давно интересуюсь паранормальными явлениями, и собираюсь написать громадный роман о Провидце. Ты довольно точно описала взросление такого человека. А вот весь этот нудный циркаческий ширпотреб я бы безжалостно похерил. На что он тебе – завоевывать бульварного читателя?».

Полночи я просидела над моим несчастным романом, прикидывая, с какого конца что там резать. Поставила две пропущенные запятые, в трех местах убрала многоточие. Я вообще грешу этим многозначительным знаком: иногда скучаю по музыкальной фермате в литературных произведениях.

С тех пор я никогда не посылаю свои тексты коллегам и вообще, людям, которые воспринимают текст только в виде *книги-как-книги*. Не оформленный версткой, не обьятый обложкой, любой текст кажется незавершенным, и у читателя (даже если он писатель!), всегда – всегда! – рука сама тянется поправить, почиркать и дописать так, *как он бы написал, если б собрался*.

«Дураку полработы не показывают», - любимая присказка моего отца, когда в детстве я просила показать закрытую драпировкой незаконченную картину.

От себя бы добавила: *никому* полработы не показывают.

Но есть особенная каста людей...

...я имею в виду ту свору волкодавов, которой даже и законченную-отполированную работу показывать не стоит ни за какие коврижки. Ни за какие алмазы в каменных пещерах! Ни за какие премии, отзывы, статьи и обзоры. Пусть сами пишут, пусть сами друг другу вопят: «Старик, ты – гений!». Пусть награждают друг друга премиями, и в своих ежемесячных обзорах пинают друг друга сапогами. Пусть выстраивают собственные опусы в идиотские «топ-10» и «топ-100», - как будто искусству можно скомандовать: «Равняйся!». Да только нету, *нетути* у них своих опусов! Бодливой корове бог не дал рогов.

«Три самые бесполезные вещи на свете: член священника, сиськи монахини и выражение искренней благодарности». Это слова Маргарет Этвуд. Она упустила еще одну бесполезную, но и смертоносную вещь: литературную критику.

Эх, пыталась я, честно пыталась не вляпаться в эту тему, дать приличный крюк километров в пятнадцать от деревни Гадюкино, честно старалась обойти это болото. (Бабка моя говорила: «Не обязательно в каждой луже извальяться!»).

А придется. Ибо странно и малодушно я бы выглядела, если бы - старый солдат в этих военных кампаниях, заметная фигура, украшенная шрамами, - делала вид, что эти ужасные шрамы - следы от подростковых чирьев.

Не так давно гуляли мы с сестрой Верой по улицам Праги – слетелись туда повидаться, потому как и она, и я – обожательницы этого города. Сестра моя – скрипачка, исполнитель и педагог, к тому же, имеет докторскую степень Бостонского университета по истории музыки. Знает множество интересных и малоизвестных фактов, о которых я понятия не имею, несмотря на собственное высшее музыкальное образование.

А какое блаженство сидеть в кофейне на Староместской площади под тихо звучащий мадригал «Zefirotona» Клаудио Монтеверди!

Моя сестра помешала сахар в кофе, подняла указательный палец и сказала:

- Монтеверди – гений! И прожил бы гораздо дольше, кабы не сука одна...

- В смысле - баба?

- В смысле - критик.

Тут мне повезло услышать кратенькую лекцию, которую я так же кратенько перескажу. Времена давние, XI-XII века, эпоха становления феодализма в Европе, первый расцвет профессиональной музыки. При дворах крупной и мелкой знати – от удельных баронов до королей - невероятно вырос спрос на музыкантов. И это понятно: во все времена, где намечалась вкусная жратва, там требовалась развлекауха. Пирьы и обеды растягивались на много часов, музыканты сменяли друг друга...

Их нанимали на постоянную работу городские власти, дирекция рыцарских турниров; они царили на свадьбах и въярявали на поминках. Да и крестовые походы, и прочие увеселительные войны тоже нуждались в музыке: солдатам всегда требуется поднимать боевой дух. Словом, лабухи всюду оказались нужны, они и в те времена были ребятами шустрыми.

Музыканты в то время звались: трубадуры, жонглеры, менестрели, миннезингеры, барды... Много чего должны были уметь: сочинять поэмы и стихи, положенные на музыку; исполнять написанное благозвучными голосами, заучивать наизусть длиннейшие свитки виршей, злободневных в то время. И, разумеется, должны были играть на нескольких инструментах. Короче, наш пострел везде поспел.

Как только сложилась музыкальная традиция, тут же появились *посредники* – как же без направляющих и руководящих товарищей! (Как же без оводов, мешающих рабочей лошади пахать!). И как раз-таки *вот эти* решили,

что никто из вышеупомянутых бродяг не достоин называться *музыкантом*.

А кто же достоин?

Только он, "образованный критик" - человек, способный сформулировать и написать свое критическое мнение, тем самым формируя и направляя *общественное мнение* о тех или иных исполнителях или событиях.

- Интересно...- пробормотала Вера. – Если ли подобная аналогия в пчелином улье, например?

- Конечно, - отозвалась я. – Трутень!

С тех времен и возникли, развились и процвели музыкальные публикации: обзоры, рецензии, отзывы маститых трутней... – короче, вся эта уничтожительная и возмутительная ругань. Сотни талантливейших музыкантов-исполнителей и композиторов непременно попадали в железные лопасти этой мясорубки.

Оставим Бетховена, которому изрядно потрепали нервы, чьи «Героическую симфонию» и «Фиделио» освистали – по крайней мере, он был глухим и ничего не слышал. Оставим трагическую кончину Жоржа Бизе, сердце которого не выдержало провала «Кармен».

Возьмем парня покрепче - Клаудио Монтеверди.

Родился он в Кремоне, в 1567-м, и был фантастически талантлив. В возрасте пятнадцати лет опубликовал первый альбом *мотетов*.

Гармония в то время была очень ограничена, в музыке запрещены диссонансы. А диссонансом считалось все, кроме тоники и доминанты, - то есть тюремной клетки из двух основополагающих гармоний. Музыкальный инстинкт гениального мальчика повел его вперед, в будущее: он ввел в свои мотеты субдоминанту! Революционный шаг по тем временам. Заметим, что впоследствии и Гайдн, и Моцарт использовали субдоминанту в хвост и в гриву.

Когда Монтеверди ввёл субдоминанту в свои мотеты, над ним разразилась буря!

Напоминаю: мальчику было 15 лет.

Образованный критик, то есть, по понятию того времени *настоящий музыкант*, Джованни Мария Артузи,

опубликовал статью "О несовершенствах современной музыки", где разнес несчастного Клаудио по кочкам и чуть ли не под страхом казни *запретил* вводить субдоминанту, без предварительной, многоступенной и занудной подготовки.

Паренек оказался самолюбив и непокорен, и не прогнулся! Наоборот, он ринулся в эту дискуссию: бойко и бесстрашно поплыл против течения, огрызаясь и отвечая своему оводу самым решительным образом, ведь этот юный человек на собственной шкуре знал, что значит – создавать музыку.

Артузи, Джованни Мария, вцепился в гениального музыканта, как клещ. Он вполз, образно выражаясь, ему под кожу. Разгромные статьи следовали одна за другой, а Монтеверди не мог отмолчаться: ведь его светские произведения, мадригалы и оперы должны были привлекать широкую публику, то есть покупателей его манускриптов. Он должен был на что-то жить – всегдашняя проблема свободных художников.

Проклятая "дискуссия" в печати преследовала Клаудио Монтеверди всю жизнь, - буквально до года его кончины (1643)! Но Артузи можно понять: кто бы помнил сегодня имя навязчивого брехуна, если б не его нападки на Монтеверди, которые он называл высоким словом: *критика!*

«Вот истинно идиотские вещи: литературная критика, какая бы она ни была, и общество трезвости», - писал Флобер в личном дневнике.

Общество трезвости меня не колышет, а о критиках поговорим.

Вероятно, после столь грандиозной увертюры будет излишним уточнять, что я не люблю литературных критиков, а литературные критики не любят меня. Я, как и Ежи Лец, считаю, что люди, не имеющие с искусством ничего общего, не должны иметь с ним ничего общего.

Конечно, не подобает мне, как нищему на паперти, обнажать язвы и струпья и расковыривать шрамы, полученные за полвека моих боевых походов. Расскажу

лишь о двух случаях «критики» в моей жизни. Потому что оба случая сыграли в ней кое-какую роль.

Первый случился в далекой юности; я не слишком преувеличу, заметив, что была немногим старше Клаудио Монтеверди, когда очень известная советская критикесса разнесла в клочья мою повестушку, просто вытерла об нее (и об автора) ноги, – может, по дороге в редакцию журнала, где руководила отделом критики, она случайно вступила в неприятную кучу? Этот обзор был опубликован в той самой многомиллионной «Юности», которую я считала своим домом родным. До сих пор удивляюсь: дался же именитой даме этот пустяк юного автора, неужто не нашлось под рукой рыбы покрупнее? Но, видимо, чем-то раздражал ее мой голос, интонация... Впрочем, литературная неприязнь объяснению не подлежит. Короче: разгромила. Разнесла так, что в ушах звенело.

В отличие от Монтеверди, я никогда не реагирую на ругань – неважно, откуда она раздается: со страниц известного издания, в интернет-комментариях, в записках из зала... А в советские времена литератор вообще не мог ни на что ответить, да и кто бы ему позволил! Спасибо, что в Сибирь не сослали. Не говоря уже о том, что в моем случае речь шла о беспородной шавке, девчонке из провинции, которую так легко было раздавить – и в литературном, и в психологическом, и в общественном смысле. И многих так давили, очень многих. А подобный гомерический разнос вполне мог перекрыть путь к дальнейшим публикациям. Кстати, после него меня перестали публиковать в «Юности».

Я какое-то время вообще не писала - беззащитное глупое существо! - поверила этой... этой... хорошо, не будем. Поставьте мне в этом месте наклейку «18+». В конце концов, для ненависти, как и для любви, необходимо присутствие благородного объекта.

И тут надо сказать спасибо отцу – за жесткую манеру обращения с дочерью, за презрение к безделью. Не могла же я не работать! И сколько ж можно валяться на диване в одной и той же майке. («Давай-ка, вставай, пойдди,

физиономию умой, от тебя скоро засмердит. И что случилось-то? На костре тебя сожгли? Пытали тебя? В лагерь свезли?»)

Ну, и прочее-папино... в то время такое обидное, непереносимо обидное! А сейчас молча ухмыляюсь: как это похоже на меня сегодняшнюю.

Короче: оклемалась, выползла. Продолжала писать, издавала книги, научилась плевать на *имеющих мнение* импотентов. Любила при случае свернуть слова Максима Горького: критиков тот любил примерно, как и я, называя их «евнухами, которые учат здорового мужчину делать детей». Загрубела моя писательская шкура. Я уже думала – хрен меня проймешь.

Ан нет! Оказалось, под шкурой, даже дикообразьей, остается живое пульсирующее нутро.

В конце восьмидесятых меня уже давно тошнило от молодежной тематики журнала «Юность», я жила в Москве, была автором четырех книг, завсегдаем домов творчества, центрального Дома литераторов, приятельствовала с кое-какими известными писателями. Вроде, вполне освоилась в столице.

Но мне присуще нелепое и довольно идиотское качество, – боюсь, из того же провинциального детства: я всегда становлюсь в конец очереди, даже если это очередь в зал на мое выступление. В молодости, относя новую вещь в журнал, обращалась не в отдел прозы, где сидели разные знакомые люди, а в отдел приема рукописей в конце коридора. И в тот раз отнесла рукопись очень дорогого мне романа все туда же – к девочкам-приемщицам. Рукопись взяли, выдали квитанцию типа «принято», я ушла. Журнал был серьезный – «Знамя». В то время Интернет еще не сожрал тиражи всех на свете журналов; в то время публикация в «Знамени» была – ах и ох! Гонорары, конечно, мизерные – но не хлебом единым, и прочая муть, хотя в самом конце восьмидесятых с единым хлебом, кто помнит и понимает, дело обстояло паршиво.

Но писатели такими публикациями дорожили: тебя словно выталкивало из общего мутного потока и какое-то

время несло, несло под солнцем и луной, и ты бултыхался на поверхности, высывая руку-ногу, а то и голову, ты словно кричал литературному миру: «Я плыву! Я плыву еще! Я еще не утоп!»

Через месяц решила заглянуть в «Знамя» - как там и что. Сунулась к девочкам со своей квитанцией, как из прачечной. Мне сказали: «А ваша рукопись в отделе прозы. Пятая дверь направо по коридору. Спросите...» - вот не запомнила имени, кого спросить. Впрочем, это и неважно, и никому ничего не скажет. Имя ведь тоже не каждому раздают, и не каждый умудряется в целостности донести его до некролога. Назову-ка я этот персонаж... *ноги*. Почему, собственно, *ноги*, а не *глаза* там, *грудь*, *талиа* или *шея*? Потому что, дама сидела не за громадным рабочим столом, а за круглым столиком у окна. В глубоком кресле сидела, перекинув ногу на ногу. И это были очень красивые ноги в изумительных босоножках. Все остальное не стоило внимания: как в гоголевском «Носе», ничего и не было. Были ноги в неопикуемой красоте и изящества босоножках, наверняка импортных, итальянских, легчайших, серебристых... И она, опустив голову, сосредоточенно и любовно на них смотрела.

(Да что ж это такое, почему меня так волнуют ноги критиков? Клянусь, никогда и никто из критиков не пинал меня ногами в буквальном смысле, – с чего это я, как бульдог, вцепилась в эти ноги?).

- Ваш роман мы публиковать не будем, - проговорила она, покачивая верхней ногой и любуясь босоножкой. (Я не забыла сказать, что подъем ступни напоминал изгиб дорогого фарфорового чайника?) – Это не проза, а беллетристика.

Я в те времена уже отточила язык, могла и отбить мяч. Например, заметить, что Антон Павлович Чехов называл себя беллетристом. Но зачем? Я, как и она, замороженно смотрела на ее ноги в серебристых босоножках (всего два-три ремешка, но так изящно оплетают... вообще, ноги в них казались отдельными, живыми разумными существами).

- И вообще, - продолжали *ноги*, - мы в следующем номере планируем дать обширную статью об агрессивном засилье беллетристики в современной литературе, и в основном, речь пойдет как раз о вашем романе.

- А кто будет писать? - спросила я, не в силах поменять угол зрения. И *ноги* назвала то самое имя – той критикессы, черного человека моей юности. Та была уже очень влиятельна – это был пик ее околелитературной карьеры. Я могла быть спокойна: мой роман разберут по косточкам и пустят свиньям на прокорм.

Я, кажется, забыла упомянуть его название: «На Верхней Масловке». Не хочется потрясать штандартами, взметать знамена и греметь литаврами, скажу только, что позже эта книга выходила большими тиражами, постоянно допечатывается, переведена на несколько десятков языков и экранизирована, – играют в фильме два блистательных актера – Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов.

Вернувшись домой, я сказала мужу: «Подаем на выезд». Мы думали об этом года два, но не решались перевернуть всю свою жизнь. В тот день я решилась. Это, конечно, не инфаркт Жоржа Бизе, не мучения бедного глухаря Бетховена и не пожизненная пытка Монтеверди... Но тоже - весьма заметная веха в моей биографии.

Впоследствии, вернувшись в Россию - книгами, я охотно публиковала в «Знамени» свои рассказы; там работала парочка симпатичных редакторов, и вообще была довольно приятная атмосфера. Но никто не мог вспомнить, как ни старалась я описать, те *ноги*, те босоножки и те слова, благодаря которым я вылетела за круг своей жизни.

Порой думаю: а не посланец ли то был? В конце концов, у подобных существ нет собственной сути и личности, они всего лишь посланцы высшей воли. Может, там, наверху, пробурчали: «Засиделась, корова, в исчерпанном сюжете. Ну-к лети, дай ей пинка под зад!». Как вспомнишь то странное впечатление отсутствия лица и тела, впечатление туманного облака, из которого ленивый голос... что-то о беллетристике... и - парализующее имя давнего врага. Как

там у классиков: «блистающие ноги в небесных сандалиях». Господи, да точно ж в таких сандалиях являются людям божьи посланники на полотнах и фресках великих мастеров Средневековья и Возрождения!

Ну ладно. Я, собственно, о чем: жива, жива моя курилка (хотя понятия не имею – курит ли эта старая блядь. Может, она так же старомодна в этом, как и я).

Как раз недавно где-то обсуждала, что в современной литературе усиливается влияние нон-фикшн, что происходит дискредитация художественного вымысла, исчерпанность привычных литературных форм, кризис воображения... Что сюжетные произведения, то бишь, *беллетристика*, «смещаются в более массовую, коммерческую, не-высокую литературу».

Ну что ж, если она о тиражах, то, видимо, это снова обо мне. Как раз мои книги по этой шкале придется признать «коммерческими». Но я не унываю. Все великие имена, оставшиеся в литературе, при жизни были «коммерческими», а иначе сегодня их просто никто бы не знал. Коммерческими писателями были и Толстой, и Пушкин, и Чехов. А каким «коммерческим» был Достоевский! Таким коммерческим, что писал кусками, главами, - к очередному выпуску журнала, так что и править не успевал. И потому у него встречаются всякие «круглые столы овальной формы».

Тут самое время вспомнить о «Лавке древностей» Диккенса. Диккенс публиковал этот роман отдельными главами в журнале. В Новый Свет из Англии свежий тираж доставлялся морским путем. И задолго до разгрузки корабля, читатели собирались на причале и, не в силах дождаться, кричали матросам: «Ну, как там Крошка Нелл? Жива?!».

Не помню: Диккенс получал литературные премии?

Все эти бесконечные разговоры об исчерпанности, дискредитации, кризисе воображения... и прочем бесславном конце романа, я на своей памяти помню лет уже пятьдесят.

Между тем, в длинных списках литературных премий всегда достаточно художественных и вполне сюжетных произведений. Всегда останутся писатели, чей голос будет услышан, чьи книги захотят прочитать сотни и тысячи читателей. Ибо тяга человека к голосу более внятному, более образному и увлекательному, чем твой собственный, останется, надеюсь, навсегда.

Просто во все времена значительные имена и книги всегда можно было по пальцам пересчитать, да и как иначе? Оглянитесь на любое десятилетие: вы обнаружите с десяток серьезных романов, имеющих право остаться в литературе. Как только появляется нечто яркое, талантливое, - оно привлекает к себе внимание и имеет широкий успех.

И кого сегодня интересует – что скажет некий критик о некоем писателе, когда я, - Я, Читатель! – могу сказать во весь голос всему миру, что думаю о литературе, о писателях, о критиках – да обо всем на свете! Да, писатель должен потрудиться, чтобы привлечь к своей книге внимание читателя, которому сегодня ради развлечения не нужно даже в кино идти – он нажимает очередную кнопку или просто двигает мышкой. Представляете, как должен потрудиться писатель, чтобы перебороть: Интернет, телевидение, сериалы, дикую активность соцсетей, апатию юного поколения, выросшего перед экраном компа? Как должна захватить читателя книга, чтобы на несколько часов он отвлекся от всей этой галиматьи? Сегодня писатель, чтобы высказаться по самым сложным и мучительным темам, просто обязан быть экстрма-мастером сюжета! Можете называть мою огромную и сложную по темам и образам трилогию «Русская канарейка» как угодно, хоть триллером, меня это не волнует. Ты меня как хочешь назови, но книгу дочитай до конца, выслушай меня до доньшка последней болевой мысли!

«Ведь нельзя же так: одни в искусстве проливают кровь и семя. Другие мочатся. Приемка по весу». (Виктор Шкловский)

Это борьба, знаете ли. И победителей в ней не судят. Вернее, судить их будет все тот же строгий судия: Время.

Ежедневный грандиозный провал

Любой человек, писатель и не писатель, с течением жизни меняется, если он не самовлюбленный идиот. Порой случайно заглянешь в книгу, написанную тобою же двадцать пять лет назад, и такое чувство возникает, что с этим автором ты даже не знакома. Тут главное – не заглядывать, не сравнивать, пресечь в себе любые поползновения подправить, «пройтись слегка по тексту» - типа такая поздняя редакция. Чушь! Все наши ошибки, нелепости, суетность и шаткость молодого дарования – все это драгоценный груз жизни и опыта. Переделывание книг – занятие бесцельное. То, что я написала в возрасте двадцати пяти лет, принадлежит перу совсем другого человека – другие мысли, другие предпочтения, другие вкусы. Зачем мне уничтожать или исправлять себя такую, какой я была много лет назад? Все это моя жизнь, в развитии своей логики, причин и следствий...И боже упаси обращать свое ухо к «мнению читателя», «гласу народа», «реакции публики». Волков бояться, в лес не ходить. А публику бояться вообще не следует. Это такой зверь, которого надо гипнотизировать. Публика всегда чувствует – тореадор ты еще, или уже загнанный бык.

Творчество накладывает на писателя свою неумолимую печать. Это своеобразное глубоководное погружение в материал, уединение, умение быть и договариваться с самим собой – похоже на артрит, уродующий суставы и выворачивающий наши конечности... Встречала я, конечно, и таких творцов, которые выглядят вполне «нормальными людьми» - на первый взгляд. Второй взгляд бросать на такого я не рекомендую.

Замечательный поэт Елена Игнатова рассказывала мне, посмеиваясь, как много лет назад, в ее ленинградской молодости, Сергей Довлатов однажды пригласил ее в

гости. Когда она пришла, за столом уже сидели и молча глазели на нее две юные девы. Они не встревали в разговоры, не проронили за вечер ни слова, смотрели на Лену внимательно и даже как-то недоверчиво. Это было не слишком уютное ощущение... Когда, поздним вечером, они вышли вместе с Леной к остановке автобуса, и Лена поинтересовалась – кто они, и как оказались у Сергея, те признались, что Довлатов пригласил обеих «просто посмотреть на совершенно нормального поэта» - с условием, что те будут весь вечер молчать.

Писатель - человек тяжелый потому, что писательство – это доля. Лоренс Даррелл говорил, что писать книги так же страшно, как спать одному в заброшенном доме. Никто за тебя не напишет тот самый диалог, который вчера вышел из рук вон плохо, из-за чего ты ночь не спала. А самое страшное время – час Петуха, предрассветная пытка. В философии иудаизма есть понятие Суда и Милосердия, на которых зиждется мир. Суд и Милосердие обеспечивают равновесие этого мира. И лишь ненадолго, перед рассветом, Милосердие покидает нас, просто отводит взгляд от ничтожного человечества, и всеми нашими грехами, преступлениями, ненаписанными страницами и жалким тщеславием занимается Суд.

Часика, значит, в 4, в тяжкое время Суда – еще темно, мир качается, не в силах подняться из-за своих грехов и своей вековой усталости, как бы раздумывая, - а на черта вообще затевать этот новый день, когда ясно, что будет он таким же суетным, как минувший. И вот тут тебе становится совершенно очевидно: все, что ты написала в своей ничтожной жизни – абсолютное дерьмо, и работа, которую ты оставила вчера на столе – катастрофическая ошибка; и все, что ты задумала, весь сюжет с выстроенными линиями – просто недоразумение. С чего ты решила, что способна осилить роман на эту тему?! С чего ты вообще решила, что способна написать что-то стоящее?!

В шесть-то уже полегче: можно натянуть старые треники, куртку-худу и выйти с собакой, - и тебя не увидит ни единая сука, ни единая любопытная и

доброжелательная сука не крикнет тебе по пути к своей машине: «А вы ранняя пташка, Диночка!». Бежать легким аллюром за своим псом, выбежать к обрыву и стоять там, молча глядя, как внизу проносятся по шоссе на Иерусалим первые машины. В шесть уже не страшно: мир вновь обретает Милосердие; скоро солнце взойдет, можно карабкаться дальше к вершине дня...

Это страшное ощущение грандиозного провала сопровождает писателя с завидным постоянством. А с годами обрастаешь долгом – бесконечными обязанностями перед семьей. Стареют родители, рождаются внуки. Твоя собственная работа «утяжеляется», замыслы усложняются, взыскательное профессиональное чутье требует более тщательной проработки текста... А передышки становятся все короче. Тогда лучше всего свалить из родного привычного обиталища, из собственной жизни – дней на пять, не больше: другие города, другие деревья, другие лица и воздух – вот что оmyвает жизнь писателя, что протирает стекла окуляров. И дает – если не минуты счастья, то глоток воздуха, благословенную передышку.

Боюсь, умному человеку в современном мире сложно чувствовать себя счастливым. Для счастья нужно много места, воздух нужен, простор... Главным образом, внутренний простор и тишина. Мы же слишком много поклажи проносим на себе изо дня в день. Слишком большой объем контактов, слишком много информации, слишком много соприкосновений с другими людьми. А наблюдение внимательного глаза за человеческими судьбами, характерами и поступками не добавляет особого оптимизма. Не говоря уж о такой хрупкой и пугливой птичке, как счастье...

Впрочем, бывают у писателя и счастливые дни.

Когда падают рабочие леса...

...те несколько дней, когда книга только что вышла, и глубоким внутренним чутьем он, автор, понимает, что она все-таки получилась - эти дни катятся, как крупные яблоки

«Золотой налив». Конечно, пугаешь ты себя, книга получилась не так, как мечталось, не полностью, не по небесным стандартам золотого сечения искусства. Ибо настоящая книга, - та, что существует внутри тебя в виде прекрасного небесного аккорда, который звучит все время, пока ты пишешь, и этой музыкой полна голова, - эта книга не может быть написана никем. Но... по каким-то земным понятиям книга, похоже, удалась. Это видишь ты, видит твой редактор, уверяют, что видят два твоих друга, которым обычно ты скармливаешь полуготовый текст без зазрения совести; наконец, видит твой муж, которому ты читала начальные отрывки, затем готовые главы, затем переделанные и полностью готовые главы... Затем, давясь слезами, в сотый раз читала «чистый» финал, где по своему обыкновению прихлопнула очередных влюбленных, а муж послушно сидел в кресле, тревожными глазами высматривая, не слишком ли ты психуешь из-за всей этой чепухи, не поднимется ли у тебя давление на почве неконтролируемого вдохновения.

Так вот, те несколько дней, пока ты еще в эйфории законченной работы – это счастье в чистом виде, оно самое. Всё, что раньше болело – ни черта не болит, всё, что тревожило – улетает куда-то к чертовой матери; твои домашние тапки больше похожи на пружинные сапогоскоророды, и если прыгнуть на них повыше, то ты можешь достичь – да ты уже и достигла, – немыслимых высот!

Всё остальное – тяжелый труд, жизнь, максимально подчиненная работе – вывороченные суставы души, изуродованная личность.

Одиноким пишущий человек не властен над судьбой своих книг. Падают рабочие леса, и производство начинает существовать в отсутствии автора. Это тексты, которые уже не принадлежат своему создателю – они улетают в те сферы, где разные руки и разные глаза могут владеть ими в разное время – что похоже на бег облаков в общепланетарном небе. Еще можно вообразить такую огромную-огромную волчицу, которая рождает щенка,

вылизывает, выкармливает... и отпускает его. И он уже больше не узнает свою мать.

Но у меня после окончания работы есть еще кусочек теплого личного счастья.

Не «ягодицы», а «Ягодицы»

Мой личный лакомый *ням-ням* следует немедленно за выходом книги. В последние годы мои детища оживают дважды и существуют в двойной ипостаси: графической и звуковой. Я сама начитываю свои тексты и мне радостно думать, что голос автора как-то оберегает их, обогащает смыслом интонации, провожает в мир читательского внимания, отпугивая разных мудаков.

Те несколько дней, пока длится запись, – отдельная прекрасная жизнь внутри мира книги, внутри собственного голоса, внутри маленькой кабинки-студии, с наушниками на голове. Это счастливая усталость, сладостное изнеможение, исчерпывающий долг по отношению к собственному труду, ибо в отличие от своей писательской доли, свою актерскую суть я люблю и даже обожаю – всегдашний удел любителя. Любопытно, что сама я никогда не слышала ни одной из начитанных мною книг. Я не люблю свой голос, звучащий отдельно от меня, - как известно, любой голос звучит «снаружи» иначе, чем изнутри. Мне мой отделенный, вылетевший из меня голос, кажется высоковатым, немного манерным и каким-то пионерским. Но тут уж претензий предъявлять не к кому. Зато у тебя полная возможность выговориться – буквально. Выговориться, напеть куплетик из второй главы, который звучал у тебя в голове все три года, пока ты писала эту книгу. А вот сейчас – опа! – ты наконец его напоешь и выкинешь этот мусор из башки. Ты поводишь руками, поднимаешь голос, кричишь – если в тексте стоят три восклицательных знака. Ты наконец-то кричишь – ведь Бог знает, как эти читатели проговаривают внутри себя твой несравненный, твой гениальный текст, когда водят по странице своим равнодушным глазом! Более того: ты

дирижируешь этой симфонией на разные голоса. Ты дирижируешь в самом прямом смысле – голосом, гибкостью фразы, пластикой звучания; твои руки взлетают, выплескивают фразу, ладони плавают туда-сюда и посылают пассы одуревшему от этого мелькания звукооператору за стеклом кабины.

- Какой в тебе пропал дирижер-хоровик! - говорит мне Боря Тараканов, главный дирижер хора Московского Метрополитена.

В этом замечательном трудовом-звуковом процессе есть одна досадная заковыка: мой продюсер и друг, литагент и ангел-хранитель Миша Литваков, человек мягкий и интеллигентный почти во все время года... кроме тех дней, пока идет запись романа. Он сидит за стеклом студии рядом со звукооператором, смотрит в текст с непроницаемым лицом и – как собака блох – выкусывает неправильные ударения. Нет, как говорят англичане, *вы не хотите знать* – насколько неправильно произносите слова родного языка, по которому в школе у вас была крепкая четверка. Ибо всё, что вы знали с детства о словах от любимой учительницы русского и литературы, всё, что почерпнули за годы чтения разных прекрасных книг – всё летит вверх тормашками во время записи. Во-первых, вас останавливают на взлете фразы в самый волнующий момент, в середине любовной сцены.

- Стоп! - говорит Миша. – Перечитаем. Не «тОлика смысла», а «толИка смысла».

Возражать бесполезно. У него открыт долбаный словарь ударений, в котором все направленно на то, чтобы сломать мелодику фразы, затоптать музыку слов, исказить смысл и вообще пустить на ветер весь роман, который я, как галерный раб...!!! пять лет!!! И так далее...

- Стоп! Не «ягодицы», а «Ягодицы»...

Ну, произносила я это слово раза три в жизни. Но нам милее другое слово, круглое и румяное. Видела недавно детскую книжечку. Называется «У кого какая жопа?». Детская познавательная литература для ознакомительного чтения: «Торчат из жопы восемь рук,

это кто у нас? Паук! В жопе ёжика иголки, чтоб его не съели волки». А ещё говорят, что Дина Рубина употребляет слишком много грубых слов.

- Миша, знаете что!! Идите в... «Ягодицы»!

Начитывание текста новой книги, еще волнующей тебя, еще горячей, источающей запахи, излучающей краски и издающей звуки... конечно же, самой удачной твоей книги! - это вторая порция счастья после окончания работы. Это последняя порция счастья, которую ты пьешь маленькими глотками; ты смакуешь его, обалдело пригложшая в своих наушниках... Ты полна благодати, великодушия, легкой грусти прощания с книгой... ты легка, как божий одуванчик... Ибо скоро, скоро ты снимешь наушники и ухнешь в очередную пропасть, провалишься в глубокую яму тоски, в предрассветные терзания, в ужас и безнадёгу...

...короче: в обычную писательскую работу.

Безбрежный океан слов

Лев Николаевич Толстой говорил: «Колодезь должен наполниться». Он имел в виду ту изнуряющую сушь, которая следует после завершения книги. Колодезь должен наполниться: если слишком рано засесть за работу, будешь строчить вхолостую, и все написанное можно потом выкидывать.

Накопление животворящего семени в искусстве - процесс интимный, физиологический...

У любого интенсивно работающего писателя есть, конечно, много заделов, куча всевозможных кусочков, огрызков, лоскутков, да и почти готовых сюжетов. Можно сесть и накатать сборник рассказов, чтобы рука не ржавела. Но... Вспоминается известный физик, кажется, Резерфорд, который, застав своего аспиранта в лаборатории в поздний час, спросил:

- Что вы здесь делаете?

- Я работаю, - ответил тот. - Я всегда работаю, - утром, днем, вечером...

- А думаете - когда? - спросил профессор.

Итак, ты поставлен на паузу. Ты подсознательно ощупываешь мир щупальцами своего воображения и осторожно спрашиваешь себя: хочется ли тебе малой формы? Хочется ли сказать что-то негромко, человеческим голосом, «без фанфар» и торжественных похорон героя. Не влезать на табуретку, чтобы увидеть горизонт и уходящие паруса далекого фрегата, а просто лечь в траву ничком и смотреть на растущую перед твоим носом былинку клевера.

Кроме темы, писатель для следующей книги выбирает жанр, точнее, интонацию, еще точнее: габариты будущей вещи. Так опытный водитель в крупной автомобильной фирме всегда знает, какую машину выбрать для поездки – согласно расстоянию и местности. Все это разные задачи, разная работа для пальцев, для ума; писатель работает инструментами, - иногда как часовщик, иногда как кузнец. От тематических габаритов, от жанровых задач следующей книги зависит набор инструментов и тот объем нервной энергии, который потребует работа. Нервной энергии, драгоценной магмы твоего существа, которая не восстанавливается.

Никогда.

Почему не оскудевает стремление писать?

В молодости человека сотрясают, подбрасывают и влекут куда-то гормоны; молодость – узкая, острая, головокружительная: ты идешь по канату, балансируешь, не заглядывая вниз, - там пропасть. Ты видишь только себя, живешь своими желаниями, ближайшей целью, ближайшим шагом.

Писателю довольно трудно (если не глупо) вспоминать и формулировать какие-то свои установки сорокалетней давности, - ведь нас, постоянно-неизменных, попросту не существует. Человек – это набор определенных генов, сонмище клеток, которые, в своем ежеминутном развитии и превращении зависят от миллиона разных вещей. Так что, все свои мысли и установки мы, писучий народ, выдаем,

что называется, в реальном времени написания очередной вещи.

Да и не интересно мне выяснять собственное давнее мнение о чем бы то ни было. Можно просто почитать мои ранние рассказы и повести, чтобы понять, как я тогда думала и чувствовала. Молода была, задириста, глупа, думала быстро и решительно, устанавливала законы для себя и других, - кого любила...

Со временем у тебя только и остается, что работа. Ну, и семья, конечно. Но семья – это ты сама. Зато возникает гораздо более широкий обзор. Ты уже не на канате, ты обеими ногами стоишь на площадке, которую сама же утрамбовала, расхаживая по своей крошечной комнате взад-вперед, обкатывая какую-нибудь мысль-преткновение.

Сейчас я просто не могу не работать: чем дольше живешь, тем пронзительней и ярче видишь невероятную многогранность жизни. И не успеваешь перебегать с одной дорожки на другую, - по каждой бежит воображение, жадно срывая по пути приметы и лица, слова и признания, запахи, звуки, сердечные спазмы счастья и тоски...

Ты бежишь все быстрее, ибо в творчестве все иначе, чем в жизни: в творчестве возраст – подспорье, огромный опыт и тренированный ум, вышколенный характер и отточенный стиль. Ты бежишь, с горечью понимая, что не так уж много времени у тебя осталось.

С годами у тебя остается такая малость: утренние часы, чашка кофе и твой письменный стол.

С годами у тебя накапливается целый мир: твои утренние часы, твоя чашка кофе, твой письменный стол... А еще слова, безбрежный океан слов и безбрежный океан судеб.

ЧАСОВЩИК

«Сглазили, сглазили... Да кто ж это тебя, голубчик, сглазил, как не ты сам же себя! Не ты ли говорил в субботу Зосеньке, когда прятали в сейф дамские золотые часики, медальоны и браслеты, что вот, мол, то самое процветание, о котором пишут в газетах, пусть полежит оно в сейфе до понедельника. Загордился! Вот и процветай теперь...».

В стене магазина зияла прямоугольная дыра, витринки с дешёвыми часами разбиты и опустошены, что еще полбеды, но ведь взломан сейф, дорогуший сейф английской работы, в котором лежали все золотые и позолоченные вещи. И ни одной пары часов не оставили, хоть бы ошибкой или по рассеянности.

В передней комнате магазина толпился народ. Были тут и знакомые: дворник и пристав, и незнакомые, верно, по сыскной части.

- Вы, Семен Георгиевич, уж не переживайте-то так. Вон побелели и губы трясутся, - обратился к хозяину магазина пристав. - Вещицы ваши застрахованы, слава Богу. У нас в грабеже никаких сомнений быть не может. В соседнем помещении ремонт якобы шёл. Дом-то старый, и здесь, - указал он на дыру в стене, - раньше дверь была, да вот заделали ее давным-давно и покрасили. Вы, небось, понятия о ней не имели. Через неё воры и вошли. А сейф вскрыли знатно. Засыпали в проём для ключа порошу и подожгли. Умельцы! А вы успокойтесь, коньячку, что ли, глотните, и завтра после полудня занесите в участок список всего украденного, а я подготовлю вам для страховой компании бумагу с полнейшим разъяснением. Мы, конечно, поищем, поспрашиваем, но шансов найти что-нибудь очень

мало. По всему видать, серьёзные люди вас обчистили. А страховщикам не отвертеться. Не сразу, но заплатят.

Три года назад магазин Семена Георгиевича совсем не имел сейфа, и товар его даже не был застрахован. Прочная наружная дверь с хорошим английским замком защищала от пьяных и бродяг. А профессионалам в его часах не было никакого соблазна. Находились там два десятка стальных подделок под «Мозера» и «Павла Буре», что изготовлялись в Нижнем в безымянной мастерской. Оси механизма крепились не на рубинах, а в простых металлических втулках, отчего и работали пару лет от силы. Покупателями были заводские мастера, небогатые студенты и железнодорожные кондукторы. Магазин достался Семёну от отца – опытного механика, который зарабатывал не столько продажей часов, сколько их починкой. Семён чинить часы не научился и после смерти папаши мастерскую продал, а магазин оставил себе. Матушка, по которой он все еще скучал, скончалась, когда Семён учился в реальном училище, родственников у него не было, с друзьями после училища он расстался, а новых завести не пришлось, так что жизнь его была безрадостной и скучной.

Женитьба казалась привлекательным изменением положения. Но на ком попало Семён жениться не собирался. Приличная девушка с недурной внешностью и небольшим приданым, тысячи в две – вот что ему было нужно. Решить, как подойти к этому делу, Семён сам не смог и придумал посоветоваться со знающими людьми. По воскресеньям после заутрени обычно он пил кофий с французскими булками в кофейне Зеннера. Собирались там в это время солидные люди, давние знакомые его отца. Они серьёзно обсудили, как сыскать подходящую невесту, и решили, что Семёну стоит полистать страницы объявлений в «Вечерних Новостях». Конечно, следует поостеречься, но весьма и весьма порядочные девицы порой печатают там честные предложения. Так Семён и поступил.

Недели через две появилось нечто интересное. «Молодая девица приятной наружности с хорошими манерами желает вступить в брак с серьёзным,

состоятельным, нестарым мужчиной. Имеет небольшое приданное. Писать предьявителю пятирублёвого билета №648326». И Семён Георгиевич написал, и они встретились, и они понравились друг другу! Все закрутилось, как положено, с гуляньями под луной, концертами в Народном доме и даже рестораном с бутылочкой шато-марго. Однако за развлечениями Семён не забывал и о делах. Когда они уже свободно говорили о грядущей помолвке, поинтересовался упомянутым в газете приданым. На следующем же свидании были ему представлены три векселя, на пятьсот рублей каждый, от торгового дома Равенских, и пятьсот рублей двадцатипятирублёвыми ассигнациями. Состоятельность Равенских ни у кого в городе сомнений не вызывала.

Ее звали Зосей. Родилась она в Варшаве, где ее матушка проживала и сейчас. Отца не помнила, а с матерью отношения были сложными. Воспитывалась Зося в доме своей престарелой тётки, за которой и ходила в последние годы. Три месяца назад тётка преставилась, завещав Зосе векселя. Все остальное досталось тёткиным непутёвым сыновьям. Систематического образования Зося не получила, но тётка, женщина образованная, с девочкой немало занималась. Неожиданно выяснилось, что Зося владеет не только польским и русским, но также французским и даже немецким. Семён после реального училища знал немецкий порядочно, но французского не разумел вовсе. И что еще было отрадно – Зося была православной, так что с венчанием никаких проблем не ожидалось.

Семён, сколько себя помнил, ходил по воскресеньям с отцом в церковь, и ему там нравилось. Мать почти никогда к ним не присоединялась, а отец и не настаивал. С маминым родством были неясности. Давным-давно, Сенечке было тогда лет восемь, у него начался кашель и обнаружили неприятные хрипы в лёгких. Доктора велели провести лето в Крыму. Ехать Сенечка и мама должны были железной дорогой до Феодосии, но в Екатеринославле они на день задержались. Помнил Сема,

как играл он в каком-то парке, а мама на скамеечке разговаривала со стариком в сапогах и смешной шляпе. Потом мама подозвала Сенечку. Старик спросил его, умеет ли он уже читать, сказал маме: «А гройсе хухем», - и подарил мальчику серебряный рубль. Когда на следующий день они снова сели в поезд, мама вдруг заплакала и сказала: «Ты познакомился со своим дедом Исааком, но я тебя очень прошу - папе об этой встрече ни слова!». Сейчас Семёну хотелось бы узнать об этом родстве побольше, но, увы, не находилось у кого спросить. Был он одинок, как и Зося, но они нашли друг друга, и нечего было медлить. Венчание назначили на следующей неделе.

Может, и были у Семена сомнения относительно того, как наладится семейная жизнь. Но если и были, исчезли они к исходу первого же месяца. Зося оказалась проворной и умелой, а готовила так, что только пальчики облизывать. А уж в постели... Хотя Семён Георгиевич был мужчиной сложения астенического, потребности мужские имел в достатке, так что три или четыре хозяйки весёлых домов привечали его по имени-отчеству. Но так хорошо, как с Зосей, ему отродясь не было. Да, девицей она не была, о чем честно предупредила жениха еще до венчания. Один из сыновей тётушки, с пьяных глаз, овладел девушкой, когда та металась в горячке и оказать сопротивления не могла вовсе. Тётушка, как узнала о беде, сына из дому прогнала, а Зосе деваться было некуда. Но сейчас-то никакого значения вся эта история иметь не могла. Очень хорошо было Семёну с женой и днем, и ночью. А с деньгами они решили так: пятьсот оставят на семейные расходы, а на полторы тысячи купят часы. И не жалкие подделки, а отличные часы русской фирмы «Генри Мозер». Именно эту фирму избрали, поскольку Семён Георгиевич был лично знаком с ее представителем в городе. Еще при жизни отца они ездили на Никольскую к вальяжному Отто Францевичу, который всегда был очень любезен и угощал их чаем с конфетами.

Зосенька запросилась поехать с ним. Она, мол, со своей тётушкой и по магазинам ездила, и каталоги рассматривала, так что все последние веянья моды ей знакомы. По дороге рассказывал Семён жене, что таможенные сборы на готовые часы высоки, а на детали низки. Поэтому все знаменитые часовые фирмы устроили в России сборочные мастерские. У нас делают разве что циферблаты и корпуса. А собирают в эти корпуса механизмы из деталей, что приходят из Швейцарии или Франции. Точно так работает и «Генри Мозер».

По приезде Семён представил жену хозяину. Неожиданно она защебетала с милым польским акцентом, вставляя в речь немецкие словечки. Отто Францевич был очарован совершенно. Тут же явилась бутылка наилучшей малаги с хрустальными бокальчиками. Семена хозяин едва ли не игнорировал, а вот перед Зосенькой форсил безбожно. На столе появились коробки с часами, и мужскими, и дамскими. Выяснилось, что Отто представляет не только Мозера, но и француза Картье, который недавно произвёл новинку - мужские наручные часы. Зосе были показаны золотые часы с ушками по двум сторонам, в которые был продет кожаный ремешок. В конце концов, взяли товара на тысячу четыреста рублей. О кредите при первой покупке не могло быть и речи. Векселя Отто Францевич принял беспрекословно, сто рублей сдачи выдал наличными, послал за извозчиком и лично проводил гостей до экипажа, вручив Семёну увесистый пакет с тщательно упакованными часами. Супруге же его адресовал цветистые благодарности и за отличную покупку и, особенно, за приятную беседу.

Нет, господа, совсем несправедливо устроена жизнь. Радости отвешиваются нам кулечками, а горести большими мешками. В полдень третьего дня после той самой закупки, еще и новый прилавок для дамских часов не успели заказать, у дверей магазина Семена остановилась мотоциклетка. Бравый посыльный вручил изумлённому хозяину большой конверт, потребовал росписи в гроссбухе

и в облачке синего дыма с грохотом умчался. В конверте лежало официальное письмо под шапкой «Генри Мозер и Ко». В письме черным по белому сообщалось, что предъявленные таким-то и тогда-то в уплату партии часов векселя являются подделкой, выполненной на похищенных бланках, о чем имеется соответствующее разъяснение от торгового дома Равенских. Если до полудня следующего дня общая сумма, означенная в векселях, всего 1500 рублей, не будет доставлена в представительство фирмы, фальшивые векселя будут переданы в полицию. Часы, проданные при совершении данной сделки, обратно приняты быть не могут. Подпись и печать. И никаких уверений в почтении. Никогда, никогда в своей жизни не видел Семён ничего страшнее этого письма. В висках у него застучало, мурашки побежали от плеч по шее до самой макушки, и мелькнула надежда на апоплексический удар. Вот впадёт он сейчас в беспамятство, и пусть все решается без него. Но удар не случился, а вместо того обуяла Семёна ярость, никогда прежде не испытанная. «Зоська – вот кто всему виной». Это она соблазнила его фальшивками, она выбирала самые красивые и дорогие часы, а в душе над мужем, небось, потешалась. Его посадят в тюрьму, а она останется хозяйкой всему. «Убью мерзавку! Изобью до полусмерти!»

Семён нёсся домой, а в голове у него все крутился и шумел рой этих и не мыслей даже, а черт знает чего. Но переступив порог и увидев весёлую Зосю, помешивающую что-то в маленькой кастрюльке на плите, он совершенно обмяк и молча бросил на кухонный стол письмо. Следующие два часа описанию не подвластны. Зося рыдала, клялась и умоляла, и снова рыдала. Она ни в чем не виновата, но просит ее простить. Вот как подлая тётка отплатила за ее заботу... Даже в страшном сне... Она все отработает... Никогда ее дорогой муж не найдёт более любящей и верной... Они преодолют вместе...

Совершенно неожиданно всё завершилось страстными объятиями, впрочем, с плиты кастрюльку Зосенька всё-таки успела снять до того. Когда пришли в себя, решили так.

Завтра с утра Семен отвезет шестьсот наличными «Мозеру» и умолит его об отсрочке выплаты остатка на неделю. А в воскресенье они пригласят на чай состоятельного друга отца, под предлогом знакомства с молодой женой, а потом проведут в магазин показать новые часы и попросят о ссуде.

И все получилось, как по писанному. И тут Зосино очарование подействовало на пожилого мужчину безотказно. Правда, в память дорогого друга Георгия, ссуда была выдана на два года аж под двадцать процентов годовых, но это казалось в настоящий момент сущим пустяком, а, впрочем, таковым и оказалось.

Изменить что-нибудь уже было невозможно, так что Семён и Зося ринулись вперёд, навстречу своей судьбе. Зося заказала изящный прилавок с витринкой для дамских часиков, прикупила в кредит небольшой круглый столик, слегка потёртый, и пять лёгких кресел. И столик, и кресла сама привела в нарядный вид, подлакировала столешницу и обила кресла весёленьким модным кретоном. Так что через пару дней задняя комнатка часовой лавки выглядела маленьким элегантным салоном. После полудня у столика всегда сидели три-четыре дамы, поглядывали на картинки в модных журналах, из крошечных чашечек пили кофе, который расторопная горничная мигом приносила на прелестном подносике из кондитерской напротив. Зося стала их советчицей, приятельницей, наставницей и почти подругой. С ней можно было поговорить обо всем, посоветоваться и посмеяться. Они охотно покупали часики, которые были очень похожи на те, что красовались в парижских журналах.

За полгода Семён Георгиевич с Зосей выплатили долг. Они отметили свой успех шампанским и особенно пылкой супружеской близостью.

Ах, как же перевернул всю их жизнь тот злосчастный грабёж и потеря всего товара. Зося впала в апатию, у неё начались недомогания, ей и на улицу-то лишний раз выходить не хотелось. А о восстановлении магазина она и

слышать не могла, по крайней мере, до получения страховой премии. Наконец, через три месяца, следствие было завершено, и страховая сумма полностью выплачена. А на следующий день Зося в слезах прибежала к мужу и показала ему телеграмму из Варшавы. Зосина мать была при смерти. Он сам купил жене билет в мягкий вагон, на перроне расцеловал любимое личико, осушая губами слезы, и внёс чемоданы в купе. Она обещала писать каждый день...

Прошло две недели, а Семён не получил ни одного письма. Он не находил себе места. Не у кого было справиться о Зосе. У неё не было родных. Подруги ничего не знали, а адрес матери он, глупец, так и не удосужился записать вовремя. Возможно, она заразилась от больной и теперь умирает... или ее убил на темной варшавской улице грабитель... или соблазнил красавец-шлятич с подкрученными усами... Он не знал, какого несчастья боится больше. В надежде найти старый конверт с варшавским адресом, Семён стал рыться в вещах жены.

Нашёл! В ее объёмистом сундучке для рукоделья лежал аккуратно упакованный пакет с его именем. Он схватил ножницы, вскрыл пакет и обнаружил там часы – золотые с ушками для ремешка, и женские с бахромой из цепочек для ношения в качестве медальонов, луковицы с крышкой, украшенной тонкой резьбой, и "брегеты" со звоном – короче, всё самое ценное, что было украдено в тот ужасный день ограбления. Семён почувствовал, что у него темнеет в глазах, он опустил на пол и потерял сознание.

Забутьё, однако, не продолжается вечно. Он пришёл в себя, ничего не понимая, дрожащей рукой поворошил часы и обнаружил под ними письмо, писанное рукой Зоси.

Она писала: «Мой дорогой, любимый, бесценный! Продай лавку, возьми с собой все, что у нас есть, и немедленно уезжай! Уезжай из этой страны насовсем. Я знаю, чувствую, что скоро случится ужасное. Верь мне, любимый! Я никогда не могла бы предать тебя. Любящая тебя вечно и вечно обречённая тосковать по тебе Зося».

Дальше Семён жил, как автомат. Вернее, как точные швейцарские часы, заведённые умелой женской ручкой. Он безошибочно проделал все формальности, связанные с продажей товара и лавки, удачно перевёл деньги в надёжные бумаги, получил документы, позволяющие выехать за границу, выправил билет по железной дороге до Одессы и далее пароходом до Нью-Йорка, послал за извозчиком, велел уложить в пролётку все чемоданы и баулы, и уехал из дома, где родился, навстречу неизвестной судьбе, не питая к ней ни любопытства, ни страха. На борт парохода "Князь Потемкин" он взошел четырнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года.

Арифметика счастья понятна каждому глупцу. А как понять тригонометрию горя? Семён прогуливался по палубе первого класса, присаживался в шезлонг, обедал в салоне за столом, возглавляемом капитаном, разглядывал вечерами чёрное небо, в котором от избытка звёзд, казалось, не хватало места для черноты, и все думал, думал о том, что с ним произошло. Бездонное одиночество отделяло его от весёлой жизни других пассажиров первого класса. И всё же через несколько дней плаванья Семён сошёлся с небольшой еврейской семьёй, переселяющейся в Американские Штаты из Екатеринославля. На корабле плыли мать и две дочери. Отец семейства, господин Коган, перебрался в Чикаго несколько лет назад, и бизнес его процветал на удивление успешно. Все три дамы были хоть и еврейского вероисповедания, но образованны, приветливы и разговорчивы. Младшая дочь очаровательно картавила, а сестра ее и мать говорили на чистом русском языке. С ними Семён сошёлся быстро и коротко. Он так давно молчал, что теперь ему хотелось говорить обо всём.

Дамы слушали сочувственно. И сами охотно и легко рассказывали о себе и своих близких. Однажды Семён припомнил, что в детстве бывал в Екатеринославле и даже, кажется, имеет там родственника «моисеева племени». Его рассказ имел необыкновенный успех.

- Так ваша мать Нехама Цукер? – воскликнула мадам Коган. – Не может быть! Я сотню раз слышала историю о том, как младшая дочь моего деда Исаака влюбилась в русского механика и сбежала из дома. Он проклял ее и оплакал, как покойницу. А оказывается, она потом приезжала с сыном, и он виделся с ней! Боже, я вся дрожу! Так ведь вы, Сёмочка, мой двоюродный брат! Девочки, это ваш дядя! И простите меня, вам это, возможно, неприятно слышать, но по нашим законам вы еврей...

- Мою маму звали Нина Исидоровна, - ошарашено сказал Семён Георгиевич. - Она давно умерла, и я был в мире совершенно один. Какое счастье, что я вас встретил...

И у Семена началась третья жизнь.

Уезжая, он ни на что не надеялся и ни о чём не мечтал. Америка была для него не более чем названием большого треугольника на географической карте. К Американским Штатам он не питал тех чувств, какими были овеяны все пассажиры этого парохода, от спящих вповалку на самой низкой общей палубе до обитателей удобных поместительных кают первого класса. Теперь мадам Коган и племянницы, а потом и все их знакомые на корабле рассказывали ему взахлёб о стране бесконечных возможностей, свободы и процветания. Где любой – протестант, католик, православный или еврей - могут своим трудом, усердием, неутомимостью и честностью заработать благосостояние и уважение для себя и своей семьи. И Семён Георгиевич этому поверил. Завидев на горизонте заветный берег, а потом и символ его – статую Свободы, он, как и все остальные, рукоплескал и едва не прыгал от счастья.

Айзек Коган встречал их на выходе из таможни. Это был невысокий моложавый человек с улыбочивым лицом и крепким рукопожатием. Он был до слёз растроган встречей с женой и дочерьми, но и неожиданно обретённый кузен был принят очень ласково.

В дорогом отеле были сняты три номера с тем, чтобы перед отъездом домой в Чикаго показать приехавшим чудеса Манхеттена. Что Айзек и проделал, гордясь Нью-

Йорком, как будто сам его спроектировал и построил на собственные деньги.

Они неделю гуляли по музеям и паркам, любовались только что выстроенным домом Моргана на Уолл-Стрит, дивились многоэтажным домам - конторам, в которых, по слухам, было прекрасное отопление, множество бесперебойно работающих лифтов, надёжное электрическое освещение и пневматическая почта. Заходили и в модные конфекционы Бродвея, покупали жилеты для мужчин и платья для дам, но более всего Семёна Георгиевича интересовали витрины многочисленных часовых магазинов. Сами витрины были невиданно прекрасны: огромные стекла, яркие объявления скидок, а вот выбор часов оказался неожиданно скудным: ни одного «Вашерона» или «Фердинанда Бертольда», да и «Патек Филипп» попался лишь один раз и самый неказистый. Вечером в пятницу пошли в синагогу, и там Семён впервые увидел множество евреев в праздничных одеждах и радужном настроении, благословляющих наступающую субботу.

В воскресенье они выехали поездом в Чикаго. Первое время Сёма жил в доме двоюродной сестры, а потом снял квартиру неподалёку, так что частенько обедал у родственников, и там же бывал пятничными вечерами и на праздниках. За первый же год он освоился со всеми названиями праздников и ни за что не спутал бы Суккот с Шавуот. Вообще жизнь эта была как бы сшита по нему. Он познакомился с несколькими русскими и еврейскими семьями. Освоившись неожиданно легко с английским, он вложил свои деньги в часовой магазин, где и работал по десять часов в день, став партнёром хозяину и взяв на себя часть работы приказчика, все бухгалтерские дела и выбор новых товаров.

Тоска по Зосе всё ещё томила его. Летом, когда окна были открыты, он просыпался ночами от гудков паровозов и лежал до утра без сна, пытаясь понять, как она пришла в его жизнь и как из неё исчезла. Иногда он думал, что она, слабая и беспомощная, доверилась ему, а он не сумел

защитить её. Мог бы поехать в Варшаву вместе с ней, и тогда никакая беда с ней бы не случилась. А иногда ему казалось, что она покинула его по своему желанию. Он надоел ей своей невзрачностью и мелкой суетой, и она уехала в Варшаву к любовнику-гусару...

Утром он шёл в свой магазин, и мысли о потерянной жене рассеивались под напором повседневных обязанностей, трудных писем на английском, телефонных разговоров с поставщиками и привычной настойчивой любезности с покупателями.

Через полтора года Сёма посватался к Мине – милой вдове с сынишкой, подруге его кузины. Они легко договорились, что дети будут воспитываться в еврейском законе. Часовой магазин процветал, отлично работал и филиал в Детройте, так что Сёма купил для своей семьи удобную квартиру на третьем этаже и тщательно штудировал биржевые ведомости, чтобы доходы с его акций позволили дать достойное образование и старшему сыну, и тем, которые ещё только должны были появиться.

ЭПИЛОГ

Тысяча девятьсот сорок пятый год был для Семена Георгиевича на диво удачным. Когда девять лет назад он вложил почти все свои деньги в стоящий на пороге банкротства часовой завод «Хэмилтон» в Пенсильвании, над ним потешались все знакомые. Айзек Коган, муж его кузины, говорил, что лучше бы Семён подарил эти деньги ему, а Мина, жена Семёна, повторяла, что, если они разорятся, голод им не угрожает, она сможет заработать на хлеб шитьём. Но завод выжил, и когда поставки европейских часов из-за войны резко сократились, пошёл в гору.

С начала войны промышленность непрерывно набирала обороты. Сотни тысяч военных машин, танков и кораблей оснащались часами. А ведь завод освоил ещё и производство взрывателей по собственным патентам. Были

построены новые цеха, куплено первоклассное оборудование.

Год назад Семён продал часть акций и организовал инвестиционный фонд, которым очень успешно управлял его старший сын; младший после демобилизации изучал в Йельском университете общественные науки. Хотя Семён все ещё входил в советы директоров нескольких компаний и фондов, у него появилось свободное время, и он пристрастился к одиноким прогулкам. В одной из таких прогулок он набрёл на маленькую бедную православную церковь, познакомился с батюшкой и начал потихоньку помогать храму деньгами. «В память незабвенного родителя, да упокоится душа его на небесах», - объяснил он удивлённому священнику. Вот этот самый отец Никодим и познакомил Семёна с интереснейшим человеком.

Нового знакомого звали Петром Перфильевичем, был он лет на десять старше Семёна, но и выправка и память все ещё были у него отменными. Обычно Семён приглашал его в греческий ресторанчик, где кормили превосходно. За сытным обедом с бутылкой красного вина рассказывал Пётр Перфильевич свои удивительные истории.

В добрые старые времена занимал он должность заместителя полицмейстера города Варшава. Когда немцы захватили Варшаву в 1915 году, ему не удалось уйти с русскими войсками, потому что он упаковывал в это время самые важные дела из полицейского архива. Он считал, что сохранить документы – его первейший долг и обязанность. В конце концов, преодолев неисчислимые трудности и даже опасности для жизни, он оказался в Америке вместе с сохранённым, но, увы, совершенно никому не нужным архивом.

В одну из встреч Семён Георгиевич, в свою очередь, рассказал о своей первой жене-варшавянке, так неожиданно обрётённой и так странно исчезнувшей. Упомянул и поддельные векселя, и всё прочее. Бывший полицейский попросил описать Зосину внешность и обещал к следующей встрече принести что-то любопытное. Следующей встречи оба ждали с нетерпением.

- Я вам расскажу, - начал Пётр Перфильевич, - о Софье Станиславовне Боньковской, незаконнорождённой дочери графа Езерского. Отец, не признав её официально, позаботился о хорошем образовании девочки, но что-то пошло не так. В шестнадцать лет она самовольно покинула пансион при монастырской школе и исчезла. Мы не смогли восстановить её историю за последующие пять лет. А в тысяча девятьсот первом году она появляется в салонах Лейпцига как вдова польского графа и проворачивает несколько головокружительных афер с фальшивыми векселями. Через пару лет её встречают в другом обличье на водах в австрийском Бадене, затем у сернистых ванн в Иль-де-Франсе. У неё всегда отлично выправленные документы, безупречные наряды и шарм, сражающий стареющих мужчин наповал. При этом, заметьте, о проституции ни в каких рапортах не упоминается, только аферы с ценными бумагами. Впрочем, получением денег в долг, разумеется, без возврата, мадам тоже не брезговала. В конце концов, она попыталась обналичить весьма крупную сумму в берлинском Коммерческом банке, предъявив поддельные российские облигации. Там её полиция и прихватила.

Что произошло дальше, сказать трудно. Суда не было. Некоторые полагали, что Софьей заинтересовалась немецкая разведка, и она согласилась на них работать... Точно известно, что в начале одиннадцатого года она въехала в Россию под своим настоящим именем, а потом исчезла. Появляется она в отчётах варшавской полиции после начала войны. Под разными именами встречают её в клубах и частных домах, где развлекаются тыловые офицеры. Впрочем, ни в чём конкретном уличена не была. И кстати, было ей, когда вы познакомились с вашей Зосей, года тридцать два, никак не меньше. Такие дела, мой дорогой. Не хотите ли взглянуть, у меня ведь и фото её есть?

С этими словами бывший полицейский передал Семёну фотографию.

Старый еврей, отец большого семейства, член городского управления Чикаго, богач и благотворитель, внимательно рассматривал пожелтевшую карточку хорошенькой молодой женщины. Неужели это его Зося? А сам он - неужели тот Сёма, неуверенный, одинокий, бедный и робкий молодой человек?

- Нет, Пётр Перфильевич, - сказал он, вставая. - Благодарю вас за труды. Не она и даже совсем не похожа...

ПОСЛЕДНИЙ УЧИТЕЛЬ

Несовершенных – ну, что лукавить и оправдываться – просто сбрасывали со скалы.

Божественная бездна: массив стеклянно-радужного темного базальта, под ним красные слои песка, ниже холодные синие пласты глины – а дальше сверху не видно. Они-то, сброшенные, видели и другое: отражение звезд, вкрапления драгоценных камней: смех сердоликов, задумчивость хризолитов, ярость рубинов и мудрость сапфира. Но падали быстрее, чем могли оценить то, что видят.

Они гибли десятками и сотнями – в пропасти. Если складывалось неприлично большое число несовершенных, приходилось придумывать причину. Истории нужна причина. История – это инвестиции в будущее, это важно и окупается с процентами. Причин для массовой гибели немного: эпидемия (что лучше и удобней всего, но не всем летописцам везет жить в период эпидемий), катастрофы, война, в конце концов. Можете придумать что-нибудь новенькое? Вперед! Даже если придумка неубедительна, важна новизна.

С душегубством медийных персон – известных за пределами своей области – обстояло проще, но тоже хлопот хватало. И отсутствие интернета в то время – благо. Любая сеть (как учитель не могу не обратить вашего внимания на первоначальное значение слова «сеть»!) запутывает.

Для убийства Пифагора сочинили мятеж в Метапонте, плодородной греческой колонии. Мирной, сыто-сонной. Ох, уж эти мне простодушные ахейцы! Фантазия переписчикам истории отказала – какой мятеж там, где лоза, засунутая почкой в землю, плодоносит уже в первый сезон? Там, где еды больше, чем можно съесть и продать, где рабы ленивы, а женщины – напротив?

Александр Македонский, конечно, выдумщик, но ничего лучше тривиального отравления аконитом – в духе Агаты Кристи – не придумал для убийства своего учителя Аристотеля. Сколько же Шурятка на свидетелей потратил, страшно представить? Но – деньги у него были.

Ученики Платона оказались честными, причин не придумывали: в анналах так и значится – убит учениками. Но это – удел безупречно совершенных педагогов, гениальных. Обычных совершенных учителей убивали просто так, без политических памфлетов, без лжи и резонерства. Без толчка в пропасть (божественную бездну) – просто резали. Как Александр 1 своего отца и магистра Павла 1, к примеру.

Со мной у них, ученичков, не заладилось. Я ведь средний, не гений, но и не дурной учитель.

Думаете, что этот миф – убийство учителей учениками – сродни прочим фантазиям? Не верите, не стану настаивать. Но зерна истины в любом мифе, как водится, прорастают. Хотя вода в горшке, где проклюнулись зерна, дурно пахнет.

Начиналось всегда одинаково: собирали талантливых детей. Учителя впадали в энтузиастическое неистовство и спорили, кто лучше научит. Те, что похитрей, основывали собственные школы, дабы исключить сравнение, хотя бы, в стенах школы. Это не спасало, вспомните о Платоне, Пифагоре. У них-то как раз собственные школы... Были.

Я учил и вне школы, иной раз одного ученика от младенчества до зрелости; и в гимназиях, сообща с другими, такими же наивными учителями, как я – в то время. Пока учил детей, сам учился у них и заражался юной энергией. Но за энергию надо платить, хотя бы и не по квитанции. Я запустил свое хозяйство, виноградники. Мне стала неинтересна плата за обучение, хватало восхищения, а времени – нет, времени не хватало. Моя жена, типичная рабочая лошадка, устала тащить дом на своем горбу, сделалась сварливой, после откровенно злой. Родные дети смеялись надо мной. О детях еще расскажу... Жена не выдержала, ушла, то есть выгнала из дома меня.

Теперь уже надо мной смеялись другие дети – ученики, те, что посмышленей и понахальней.

А времена менялись. Человеческая мысль развивалась, куда-то шло человечество... Учить становилось интересней, конкуренция среди преподавателей росла. Появился термин «несовершенные учителя», открылась бездна, «звезд полна», как позже напишут. Впрочем, с этой божественной бездны я и начал...

Учителя начали убивать «несовершенных» из своей среды сами. Это была первая волна. «Плохих» учителей наивно сбрасывали со скалы. После перепишут: дескать, в бездну летели несовершенные младенцы, младенцев историкам сбрасывать не так стыдно, прецеденты есть.

Позже за учителей взялись ученики. Они выросли, богатели, получали высокие должности и даже заделывались правителями. Новым владыкам мешали свидетели их нерасчетливых ошибок отрочества. А божеству государственности требовались смышленные крепкие жрецы без старых привязанностей, что тянут назад и призывают к бессмысленной раздаче благ кому-то неважному, оставшемуся в смешном детском прошлом.

Несмотря на риск и страх перед смертью, чей образ заведомо напоминает черты талантливого ученика, существовало много школ и учителей. В те времена государства частенько жили мирно, но именно тогда начали переписывать историю, придумывая войны, эпидемии и катастрофы, чтобы скрыть неловкие массовые убийства преподавателей. Вы уже поняли, к чему клоню? Так просторная воздушная античность сменилась ржавчиной средневековья. Да-да, именно из-за нехватки учителей. Империи ослабели от недостатка авторитетов и дисциплины. Гунны, возвращенные суровыми, отрицающими фантазию учителями, оседлали Европу. Но меж детей гуннов (дети – есть дети) тоже встречались талантливые. Они торопились, эти пришлые подростки-недоучки – утверждать свое и завоевывать. И убивать учителей. А поскольку торопились, убивали и чужих учителей тоже.

Собственно, мракобесие средневековья именно от дефицита классных руководителей.

Итак, учителей стало мало, и вышло нам послабление. Не всем, лишь посредственным.

Я привык прятаться под попоной посредственности, да и был посредственностью, наверное. Я выжил.

Я учу детей не только добру, или наукам, или искусствам, я учу их жизни. А она – разная. Цветная, пахучая, опасная. Я соблазняю, как положено учителю, так бывает соблазнителен кентавр: не только для женщин, но и для кобылиц, детей и правителей, бесконечно соблазнителен самой своей двойственностью.

Я, кентавр Хирон, обучая, меняю суть учения, меняю тезисы, но оставляю направление – к свету. Точно так неразумные божки коровки всегда ползут по направлению к солнцу, потому их называют – божки.

Я усвоил уроки детей и учу их хитрости и обману в числе прочих дисциплин. Улисс по прозвищу Одиссей обнаружил в этих науках особенные таланты, но оказался добрым мальчиком и ни разу не посягал на мою жизнь – приятная неожиданность. Но я регулярно меняю образ, от школы к школе, от века к веку – меня еще зовут Протеем. Раньше звали. Пусть это не родное имя. Но время умалается, моя милая античность занимала более половины того, что случилось после – сами видите. Хотя бы по объему ссылок в интернете.

Я вынужден постоянно менять места обитания, имя, учеников – это само собой! Но я счастлив! Несмотря на одиночество, риск, неблагодарность!

Сколько было талантливых учеников! И это многое искупает.

Но вот родных детей учить не довелось. Мой первенец – дочь Гиппа – пошла в лошадиную породу, родилась четырехногой, хотя мать ее была крайне привлекательна в человеческом обличье. О, эти стройные сильные бедра! Чувственные ноздри! Не будем о прочем... Как всякая нимфа, она не умела удержать ни облик, ни честь. Облик меняла на лошажий – это если со мной. Честь потеряла с

пастухом Эвером, праправнуком известного Ноя. А чего еще ждать от переменчивой нимфы? Но я не в обиде, в нимфах понимал... Моя наука дочери-первенцу была ни к чему: пытался учить, пока бегала стригунком, тщетно. Зато девочка удачно вышла замуж. Пригодилась-таки, если не наука, хотя бы статус образованной (лошадки). Следующие дети, можно сказать, родились на конюшне. Жена, сходяв налево, догадала, что жеребят рожать легче. И грудь не портится – козы тут как тут. Ведь в Греции как? Коз хлебом не корми – дай ребеночка взрастить! Детки не говорили даже на койне, только ржали – надо мной, уже жаловался. Кроме состязаний колесниц и качественной травы их ничего не интересовало.

Но я учил других. Асклепия, вот – медицине. Сын Аполлона, не какой-нибудь пацанчик из степных племен! Он еще только осваивал высокий греческий язык, с трудом удерживался на моем крупе, цепляясь за шерсть розовыми безволосыми пальчиками левой руки, а правую уже тянул к белене, траве воскрешения. Даже в младенчестве его волновала тайна бессмертия. Асклепий – из первых учеников. Он не пытался меня убить, в те времена об этом еще не задумывались. Он, напротив, хотел оживлять умерших и преуспел (в чем и моя заслуга). Убили как раз его – Зевс, конечно. Почему «конечно» - не объясняю, понимающему достаточно. Об учителе, кентавре Хироне, не вспомнили, межгалактического авторитета у учителей не было, что говорить, еще и созвездия наши не определились!

О следующем ученике - по медицинской науке – и вспоминать стыдно: Патрокл. Любитель афродизиаков, в знании их свойств он превзошел меня. Первое убийство совершил еще мальчиком, не справившись с ароматом сельдерея, вызвавшим несоразмерное влечение к товарищу по игре в кости. Да, этот убил бы меня, если бы его не манила любовь к Ахиллу и убийствам вообще, на меня Патроклу просто не хватило времени. Ахилл тоже мой ученик... Но мальчика погубила любовь к струнным инструментам и женским тряпкам.

Первые ученики – самые любимые. Почему моим первым так не везло? Ведь решительно все были настоящими героями, и многие – талантливы.

Актеону преподавал охоту. О, тот узнавал ход зверя по движению листа на дереве! Понимал язык гончих! Но теми гончими разорвала его Артемида. Чего ждать от завистливой девственницы! Такая сублимация. Девственность-то потерять не может, Зевс запретил, вот и ярится.

Учил географии Диониса и Ясона. С первым отправился в Индийский поход, чтобы мир показать, ради второго (силы у меня уже не те были, чтобы на палубу с пирса прыгать) изобрел глобус. Гениальные мальчики! Но Дионис спился, а Ясон неудачно женился и пропал в браке, как кашалот в мелком заливе. Оба забыли и географию, и учителя за своими проблемами. Не убили.

Братья Диоскуры – отличные наездники и лошадей понимали. Чуть не породнился с ними, надо же младших дочерей пристраивать, но чересчур были задиристы. Неудивительно, что пали в случайной драке. Знал, чем дело кончится, судьба-Тюхе шепнула (любила иной раз на мне поскакать, ну и как у женщин водится, не сдерживала во время скачки своих предсказаний).

Наблюдая такую горестную статистику, я бросил обучение наукам и взялся за искусства. Но первый же мой новенький золотой мальчик Орфей отразился старой неудачей: повторил судьбу географа Ясона, на свой певческий лад. Выбрал не ту жену и сгинул вслед за ней, не успев посягнуть на жизнь учителя.

По-хорошему убил меня любимый ученик, ставший настоящим другом – когда подрос, разумеется. Геракл, племянник, сын моего авторитарного братика Зевса. Но все мы, герои и мыслящие боги - родственники, стоит чуть ковырнуть родословную. Обиднее всего то, что убил племяш не за науку, не из обиды за пережитые унижения, а случайно – как стрела поражает цель. Не собирался убить именно меня, стрелял, на кого Зевс пошлет: хандра напала. Ох, как обидно! Не выношу шутики богов – они бестактны и

точные. Пришлось менять облик, путать следы через созвездие Стрельца-Кентавра, возвращаться в ином облики. С тех пор скрываюсь.

Иной раз подумаешь: может, лучше пьянствовать, впадать в буйство, как прочие кентавры? Но я давно не кентавр. К чему жеребьячество? Так учеников не догонишь...

Увы, не всегда вовремя узнаю, кто из вчерашних детей достиг цели – далеко спрятался, так далеко, что иные новости приходят с опозданием на человеческую жизнь. Кто-то из моих учеников правит миром... Государством, имею в виду, извините греческий диалектизм. И я легко прощу им казнь воспитателей – хотят изменить мир к лучшему, а в лучшем из миров нет места истории. Забудьте, что утверждал в начале – это профессиональная деформация. Истории нет и не будет. Только мифы. Отголоски, переложения. История – это прошлое. К чему оно? Интимное прошлое... Чтобы утолить жажду интимности, хватит жены, покинувшей меня.

Но свою жену Харикло я лично – и давно – перевез через Лету. Догадались? Хирон – Харон – невелика разница. Если быть точным, а учитель обязан быть точным, даже посредственный учитель, Хароном я стал на обратном пути, оставив на полях асфodelий не только жену, но и букву из своего первого имени.

Не ищите, сейчас у меня совсем другое имя. И новые ученики.

ЗЕЙД

1.

- Ты когда-нибудь трахал осла?

- Нет, но слышал, что у вас это принято.

Зейд не унимался.

- Вот ты женат, а зачем тебе жена? Ты ее содержишь, а толку? Одна головная боль. С ослом проще, ему денег не надо, только сено. Дашь ему еду, подойдешь сзади, пока он жует, поднимешь хвост, и ...

- Хватит чушь нести! За дорогой следи! Еще подорвемся все здесь из-за тебя...

Шел шестой день операции "Литой Свинец". Я – тридцатилетний сержант-резервист - сидел за рулем бронированного джипа "Суфа". Тяжелый армейский внедорожник медленно рассекал промозглый январский туман. В паре метров от меня, в молочной дымке рассвета проплывали металлические столбы, провода под напряжением и бесконечные ряды колючей проволоки забора безопасности на границе с сектором Газы. На заднем сиденье дремали трое солдат-срочников бригады «Кфир». Зейд, следопыт-контрактник из бедуинов, сидел рядом со мной. Вел беседу.

- Дай мне свою куртку.

- Не дам, она мне дорога.

Каждый раз, когда мы выезжали на дежурство, я проклинал судьбу за то, что мне выпало несчастье быть его постоянным напарником. Зейд выводил меня из себя своими бесконечными подколками, животной грубостью, а главное, редкой, фантастической, азиатской наглостью. Вот и теперь он не прекращал будить во мне бесов:

- Дай, тебе она не нужна, я тебе свой флииз взамен отдам, он теплый.

- Моя куртка теплее. И чище, чем твой флииз. Я тебе уже сказал, что не хочу меняться. Как мне тебе еще объяснить, чтобы ты понял? Следи за дорогой!

Куртка на самом деле была для меня дорога. В ней я чувствовал себя уверенней. Предмет армейского шика, американский фасон времен вьетнамской войны. Точно такая же, какая была у Сильвестра Сталлоне в фильме "Первая кровь". В семидесятые годы эта экипировка была послана в Израиль в рамках военной помощи США. Выдавали ее только старослужащим. Куртку, которую я во времена моей срочной службы, по знакомству, выменял на красновато-бурые десантные ботинки, придавала мне брутальность героя голливудского блокбастера. Во всяком случае, так я полагал.

- Сам посуди, ну какой из тебя Рембо?

- Что?!

Зейд не ответил. Прищурившись, он напряженно глядел сквозь лобовое стекло, затем резко отчеканил:

- Останови машину!

В свете фар перед нами виднелся тонуший в тумане участок разбитой, кое-как асфальтированной, дороги. Он был испещрен трещинами и выбоинами, покрыт нанесенными дождем гравием песком и ветками. Я остановил джип.

- Что случилось?

Зейд молчал, продолжая напряженно щуриться вдаль. У меня застучало в висках.

- Что ты увидел?

- Мотор не глуши, фары не выключай.

Не взглянув на меня, Зейд вышел из машины. Каску оставил на сиденьи. Небрежно забросив автомат за спину, поправил под флизом бронезилет. Бойцы-срочники продолжали похрапывать сзади. Пройдя метров пять, Зейд остановился как вкопанный. В свете фар он неподвижно, смотрел себе под ноги. Не отрывая взгляд, присел на несколько секунд, продолжая глядеть в одну точку. Затем резко встал, два раза странно шаркнул каблуком

армейского легкого ботинка, подошел вплотную к забору и начал его осматривать.

«Идеальная мишень для снайпера, - подумал я. - Я его еще и фарами подсвечиваю. Вот попадут в него, мы выбежим из машины, не бросать же сослуживца, и тут нас всех и положат»...

Тем временем Зейд направился обратно к джипу. Сел на место, захлопнув пуленепробиваемую дверь.

- Все, поехали на базу. Нас через десять минут нас должны сменить.

- Все в порядке?

- Да, показалось.

- Что показалось?

- Неважно.

- А зачем ты ногой шаркал?

- Это я для себя особые знаки оставляю, долго объяснять...Ты никогда не думал, почему у вас в армии все следопыты - бедуины? Поехали, светает уже.

2.

Всего в нашем подразделении служили пять или шесть следопытов. Я запомнил троих. Командиром у бедуинов был Ахмад - огромный, под метр девяносто, широкоплечий, лет тридцати, хотя выглядел на все сорок. Квадратное рябое лицо, мощная нижняя челюсть питекантропа, оттопыренная нижняя губа, широкий приплюснутый нос и выступающие надбровные дуги. Одним словом, Кинг Конг. Кисти рук, покрытые цыпками, были у Ахмада непропорционально большими. Пальцами он мог завернуть болт на колесе от машины.

Второго звали Юсуф. Среднего роста, к тридцати годам уже с нависающим над пряжкой ремня животом. Грушевидная голова, толстые круглые щеки хомяка, длинные, отвисшие книзу, черные казацкие усы. Недельная щетина Саддама Хусейна. Крупные передние зубы. Темные, круглые, всегда широко раскрытые глаза удивленного грызуна. Говорил Юсуф тонким голосом с ласковыми, убажывающими интонациями. Как персонаж

советского мультфильма "Маленький Мук": «Какой такой павлин-мавлин? Не видишь, мы кюшаем».

Зейд, двадцати четырех лет, был самым младшим среди следопытов. Смуглый, коренастый, с черными курчавыми волосами, орлиным семитским носом, тонкими, всегда поджатыми губами, колким, надменным и лишенным эмпатии взглядом.

3.

"Литой свинец" грянул за день до прибытия нашей группы из шести водителей-резервистов на военную базу недалеко от кибуца Кисуфим. Мы и вещи толком не успели разобрать, как нас вызвали на инструктаж. Проводил его лейтенант-срочник в вязаной кипе, лет двадцати. Рыжий ежик на голове, веснушчатое лицо. Сказал, что согласно разведанным, ХАМАС готовит крупный теракт на нашем участке патрулирования. Группа смертников планирует подорвать забор безопасности. В образовавшийся проем должна проникнуть другая группа террористов с целью захватить заложников и вернуться вместе с ними в Газу. Поэтому всем нам нужно быть начеку.

- Вы находитесь на переднем крае обороны. Повторения истории с Гиладом Шалитом мы допустить не можем. Прикрытие вам будет обеспечивать "Хаммер", внедорожник с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Если ХАМАС попытается взять вас в плен, будет открыт огонь на поражение. Пулеметчики у нас хорошие, но все может быть. В крайнем случае, отстреляют вам ногу... или руку, - резюмировал лейтенант. Проговаривал он все это ровным спокойным тоном. В конце чуть улыбнулся.

После брифинга нас разделили на группы, и мы выехали на участок патрулирования. Инструктором у меня был Ахмад. Путь к забору безопасности лежал через поле, которое после дождей превратилось в чавкающую грязь. В нескольких метрах от забора, в большой ложбине, она немного подсохла. В буром, будто пластилиновом месиве можно было разглядеть глубокую колею от колес. Но я

почему-то решил свернуть влево от колеи. Думал, так будет быстрее проскочить. В итоге джип увяз в грязи. Я судорожно выжимал сцепление и давил на газ. Ахмад орал:

- Ты дороги не видишь?! Слепой?!

Я с трудом выворачивал руль. Трехдневного ускоренного курса обучения для водителей в Цеэлим, перед началом "Литого свинца" (тогда я впервые в жизни сел за баранку армейского джипа), оказалось явно недостаточно. Машина продолжала реветь, в салоне запахло гарью.

- Сцепление так сожжешь! Передачу "четыре на четыре" включи!

- Так я... вот же рычаг... я...

- Да не эту передачу включай, вот эту! Откуда вы беретесь такие, где вас находят?! Не можешь водить, так сказал бы, нашли бы тебе другое занятие на сборах!

- Меня никто не спрашивал, когда сюда направляли!

Вывернув руль, я из всех сил вдавил в пол педаль газа. Машина дернулась, нас качнуло назад; мы вырвались из вязкого месива. Тем временем по радиации передали, что второй джип, выехавший вместе с нами, поломался прямо у забора. На помощь экипажу выехало подкрепление.

4.

Вернувшись на базу, я впервые увидел Зейда. Пока солдаты выгружали боекомплекты из джипов, он, держа руки в карманах, с небрежно закинутым за спину короткоствольным М-16, неспешно прогуливался между машинами. Поравнявшись с нами, бросил короткую реплику на арабском Ахмаду. Я тогда подумал: где еще в Израиле араб может получать зарплату, ходить в форме, с оружием, давать указания евреям, да еще и покрикивать на них? Пожалуй, только в израильской армии...

- Зейд, посмотри на эти руки.

Прежде чем я успел среагировать, Ахмад схватил своими шершавыми клешнями мои ладони и развернул их к Зейду.

- Смотри, кого к нам прислали.

Я резко вырвал руки. Ахмад даже не посмотрел на меня. Глядя на Зейда, он давился хохотом.

- Это еще что! А вот водитель Юсуфа, ха... ну, негр (резервист Абаба эфиопского происхождения, который прибыл на базу в нашей группе), тот вообще колесо потерял... Хахаха... У забора!.. ...Хаха... Там же все простреливается...

Обращаясь к Зейду, Ахмад говорил на иврите. Специально, чтобы я понял.

- Негр... Хаха... Колесо не закрепил... О-о... Хотели уже вертолет вызывать... Он домкрат найти не мог. Два часа у забора простояли, пока все колесо прикручивали. Сейчас они вернулись, грязные...

Я, не зная, как на все это реагировать, стоял молча. Сказать было нечего. О том, как я позорно запутался в управлении джипом, вспоминать не хотелось. Немного успокоившись, Ахмад примирительно хлопнул меня по плечу и зашагал прочь, бросив напоследок:

- Понабрали вас...

Зейд, глядя на меня, все это время ухмылялся. Затем снисходительно вымолвил:

- Ничего, весь этот балаган скоро закончится. А как закончится, я в Америку на работу поеду.

- Кем работать собираешься?

- Следопытом-инструктором в армии США.

- То есть как? У тебя что - гражданство, виза рабочая? Ты же в другой армии служишь.

- Да вот так! У меня троюродный брат тоже следопытом здесь служил. Его армия направила в Аризону, в командировку на полгода, тренировать американский спецназ. Это было в две тысячи третьем, когда американцы в Ирак зашли. И платили ему нормально, и за границей побывал. Нас там ценят.

5.

Поселили нас отдельно от бойцов-срочников, в асбестовый вагончик, разделенный на половины. Водителям-резервистам выделили три двухрусные

железные кровати в тесной комнатухе, с двумя металлическими тумбочками с облупившейся краской. В комнате было не протолкнуться. Проходы между кроватями оказались забитыми сумками с гражданскими вещами и вещмешками.

Обстрелы из Газы не прекращались. Сирена тревоги звучала примерно раз в час. Укрытие, где мы должны были прятаться от падающих снарядов, представляло собой три бетонных плиты. Две из них были врыты в землю, третья служила крышей. П-образное бомбоубежище располагалось примерно в двухстах метрах от нашей комнаты. По инструкции, с момента начала обстрела нам было предписано добраться до укрытия за пятнадцать секунд. На деле, особенно посреди ночи, чтобы добежать туда, требовалось, как минимум, около двух минут, даже если спать в одежде.

Первое время я вскакивал, судорожно пытался просунуть ноги в ботинки. Все это занимало время. Я хватал куртку, автомат, каску, бронежилет, разгрузочный жилет, и с дурной головой, пересохшим ртом, диким сердцебиением, как раненый бегемот, путаясь в незашнурованных шнурках, бежал к убежищу. Потом быстро понял, что мои метания бесполезны - шанс получить осколок на открытой местности выше, чем в вагончике. Поэтому во время сирен я оставался в кровати.

К обстрелам привык быстро. Услышав сквозь сон сигнал тревоги, я тут же засыпал. Хотя и помнил, что рыжий лейтенант в кипе предупреждал – в случае попадания минометного снаряда наше жилище наверняка разлетится в щепки.

6.

Бедуины жили через стенку, во второй половине вагончика. В отличие от нас, у них был телевизор. Израильские новости, впрочем, как и новости вообще, они не смотрели, предпочитая им музыкальные каналы, что-то вроде арабского MTV. Под бесконечные завывания, техно-бит и дарбуку, следопыты в перерывах между обстрелами

и дежурствами сидели на складных пляжных креслах у входа в свою комнату. Варили кофе на газовой горелке.

В один из вечеров, после дежурства, я курил на крыльце у входа в вагончик. Витя и Виталик, мои соседи по комнате, спали перед сменой. Толя, Итай и Абаба заступили на дежурство. Бедуины сидели вокруг примуса метрах в пятнадцати от меня. Вдруг от их группы отделилась фигура и направилась в мою сторону. Это был Зейд. Приблизившись, он пристально поглядел мне в глаза и деловито вымолвил:

- У тебя знакомые девушки есть?

Я, заподозрив подвох, бросил взгляд на бедуинов. Но они не смотрели в нашу сторону, продолжая неторопливо переговариваться о чем-то.

- Ну, есть... Возможно. А, тебе зачем?

- Я с русской хочу познакомиться. Русские красивые.

«Да-да, - подумал я, - о тебе, арабе, только и мечтают». А я, значит, должен выступить в роли сутенера. Мало того, что я вынужден терпеть от тебя унижения, сидя за баранкой, два раза в сутки по четыре часа подряд, так теперь мне еще "выпало счастье" заботиться об удовлетворении твоей первобытной плоти... Я почувствовал злорадство.

- А ты с ослом попробуй, сам же говорил, как это здорово; что вдруг случилось?

Зейд не реагировал, как будто меня не слышал. Без тени улыбки, глядя перед собой, он настойчиво продолжал:

- Хочу с Мариной познакомиться... или с Наташей. Познакомь меня. Ну, что тебе стоит?

Зейд посмотрел на меня. Было видно, что он не шутит. Я немного растерялся.

- Не знаю... Я - женат. Мои друзья тоже... А что, у себя в деревне ты не можешь кого-нибудь найти?

- У нас с этим сложно...

Зейд продолжал глядеть перед собой.

- Три недели назад, еще до начала всего этого балагана, я получил увольнительную. Мы поехали с двоюродным братом в Безр-Шеву, хотели попасть на дискотеку. Думал,

что там можно будет с девушками познакомиться. Но нас не пустили. Сказали, что закрытая вечеринка.

«Ну да, - пронеслось у меня в голове, - вы, небось, еще и по-арабски между собой на входе разговаривали...» И тут я вдруг понял, что мне выдался шанс. Если я стану полезным для Зейда, то, может, он перестанет меня донимать и подкалывать, станет, наконец, уважать. Я ведь ему нужен. А мы, как-никак, команда, зависим друг от друга...

- Знаешь, я проверю. Есть у меня одна... Оксана из Ашдода, недавно из армии освободилась. Мне нужно сделать пару звонков.

- Проверь, - деловито вымолвил Зейд и зашагал прочь.

Ни с какой Оксаной я, конечно, знаком не был. Просто пытался выиграть время. Теперь всякий раз, когда мы выезжали на дежурство, Зейд только и делал, что спрашивал о мифической Оксане: какие у девушки глаза, волосы, какая у нее грудь, хорошо ли она готовит... Я что-то выдумывал на ходу, говорил, что Оксана нашла работу и не берет трубку, что телефон у нее отключен и мне надо позвонить ее тете, которая тоже редко отвечает на звонки.

Так продолжалось пару дней. Бедуин от меня не отставал. В результате, когда я понял, что далее так продолжаться не может, сообщил Зейду, что у Оксаны появился друг, и пока со знакомством ничего не получится. При этом пообещал, что попробую проверить другие варианты. Зейд ничего не ответил, лишь покачал головой.

7.

В ходе операции "Литой свинец" основные боевые действия шли на севере и на юге Сектора Газы. Мы же патрулировали участок границы рядом с Кисуфим, который считался относительно спокойным. Однако ракетные обстрелы не прекращались и у нас. Во время дежурств у забора я то и дело слышал сообщения по рации, что наши наблюдатели в очередной раз засекли по ту сторону границы группу вооруженных боевиков. В итоге, наше командование решилось провести ночную операцию по зачистке палестинской территории – послать туда роту

солдат-старослужащих и трех офицеров. Следопытом у них был назначен Ахмад, другие бедуины остались на базе.

Вечером, вернувшись с дежурства, я увидел у нашего вагончика Ахмада. В свете фонаря, под морозящим дождем, он, как всегда в расстегнутой куртке, грузил с солдатами боекомплект в подогнанный грузовик. На лицо бедуина был нанесен камуфляж, широкие черные и зеленые линии, отчего его и без того неандертальская физиономия выглядела еще более устрашающе.

Зайдя в комнату, скинув с себя бронежилет и разгрузку, я упал на кровать. Заставил себя стянуть ботинки, сунул автомат под матрас и, не раздеваясь, укрылся спальником. Спать хотелось безумно.

Спустя какое-то время, сквозь дрему, я вдруг услышал голос. Это был голос Ахмада, но не тот, глухой и хрипловатый, а неожиданно по-детски высокий. Ахмад молился, молился навзрыд. За тонкой гипсовой стенкой он, всхлипывая, жалостливо произносил непонятные мне слова, как нашкодивший ребенок, просящий прощения у грозного отца.

Голос Ахмада все больше и больше отдалялся, меня обуревал сон. На несколько часов, среди душной вонии прелого спальника, ношенной формы, машинного масла, гуталина, грязных носков и завалявшегося в тумбочке заплесневелого печенья, я погружался в небытие.

8.

О событиях ночного рейда я узнал наутро, из газет, которые нам ежедневно доставляли. На одной из полос была помещена короткая заметка о том, что в ходе контртеррористической операции в Секторе Газы погиб капитан бригады «Кфир», его фотография, где он в пятнистом берете, информация о месте похорон. Офицеру было двадцать семь лет, месяц назад он женился.

Я не был знаком с погибшим, даже ни разу его не видел. Солдаты-срочники ничего не рассказывали о том, что случилось в Газе. Жизнь текла своим чередом, как будто ничего не произошло. Лишь спустя какое-то время один из

них коротко обмолвился, что рота во время пешего рейда попала в засаду и была обстреляна из гранатомета. Капитан шел впереди и погиб на месте.

К вечеру того же дня я увидел Ахмада, который как ни в чем не бывало неторопливо беседовал с Юсуфом. Тот вернулся из увольнительной на своей машине, которую подогнал прямо к нашему вагончику. Автомобиль - старенькая, двадцатилетняя "Субару", - был свежевыкрашен в светло-голубой цвет с металлическим отливом. Колеса представляли собой литые диски ярко-красного цвета, которые, возможно, стоили столько же, сколько и сама машина. Резервисты, от нечего делать, то и дело подходили поглазеть на это "чудо". Юсуф был явно горд. Он довольно улыбался, обнажая крупные резцы, и приговаривал:

- У брата в гараже только что ремонт сделали, корпус я сам красил.

- Где ты на ней ездить собрался? - обратился к Юсуфу один из водителей.

- А у нас под Арадом земли много.

- Так ведь там пустыня, тебе джип нужен.

- Эта машина хорошо тянет, я проверял. По дюнам, конечно, не проедет. Но я знаю обходные дороги, - лепетал бедуин.

Из вагончика вышел Зейд. Сосредоточенно, без тени улыбки, он молча оглядел машину Юсуфа, а завидев меня, направился в мою сторону. «Начинается», - подумал я. Подойдя ко мне, серьезно сдвинув брови, Зейд вымолвил:

- Вот ты сколько получаешь?

Я постепенно привыкал к бестактным вопросам сослуживца.

- На жизнь хватает.

- Нет, ну сколько?

- Восемь тысяч в месяц.

Это было не совсем верно, я немного приврал, для солидности. На самом деле, за работу в туристической компании я получал семь с половиной. Трудился шесть дней в неделю. Соблюдал дресс-код, что большая редкость

для Израиля. Рубен, хозяин фирмы, запрещал приходить в офис в джинсах. Вот я, как Гарри Поттер, с умным видом носил брюки и итальянский свитер.

- Восемь тысяч?! И что, в Тель-Авиве работаешь?

- Ну да, в самом центре, там у нас турфирма.

Знал бы Зейд, чем мне приходилось заниматься... Я принимал по телефону заказы от туристов на английском языке, записывал номера их кредитных карточек на бланках, заказывал группам гостиницы, посылал бесконечные факсы... И это с моим университетским образованием... Мне уже четвертый десяток, а жизнь так толком еще и не началась...

- Да... А я вот зарабатываю четыре с половиной.

Я знал, что зарплата у контрактников небольшая. Но получать немногим более одной тысячи долларов за то, чтобы маячить у забора, как утка в тире, каждый день рискуя жизнью... Не густо. Хотя, с другой стороны, живет он здесь на всем готовом, семьи у него нет, на что ему деньги тратить...

- Найди мне работу! Может, в вашей фирме есть места?

Зейд перестал смотреть перед собой, теперь он глядел на меня, глаза его горели.

- Кем? Что ты умеешь делать?

- Я призвался в армию сразу после школы, и до сих пор тут. Когда-то в магазине у дяди подрабатывал. Права у меня есть, и на грузовик тоже, пару лет назад мне от армии курс бесплатный дали. В механике понимаю.

Похоже, что мне еще раз выдался шанс. В фирме, где я работал, хозяин держал автопарк из двадцати туристических микроавтобусов в южном Тель-Авиве. Раэд, начальник автопарка, араб из Джальджулии, заведовал автохозяйством в одиночку. Он занимался починкой, мойкой, оформлением документации и другими организационными делами. Рабочий день у Раэда начинался в шесть утра, заканчивался в восемь-девять вечера. За неделю до моего призыва я слышал в коридоре, как он просил хозяина взять ему человека в помощь. «Зейд

вполне мог бы подойти», - подумал я. При том, что он тоже араб.

- Значит, права у тебя есть... Хорошо, я спрошу, может, в автопарке есть место. Только ездить на работу тебе будет далеко.

Зейд явно приободрился.

- Ничего, я в Тель-Авив перееду.

- Ладно, спрошу.

9.

На следующий день я вышел в долгожданную увольнительную на два дня. Думал, отдохну. Но еще сев в автобус, почему-то, только и думал о том, что сейчас происходит на базе. Вернувшись, домой, я первым делом позвонил Раэду. Старался говорить бодро.

- Привет, Раэд. Слышал, что тебе в автопарке помощник нужен. У меня есть парень знакомый, способный...

Раэд даже не поздоровался. Лишь отрезал:

- Нет работы.

- Но подожди..., Рувен же говорил, что...

- Босс не хочет платить еще одному работнику, в автопарке нет места. Давай, мне работать надо, - отчеканил Раэд и бросил трубку.

Такого поворота событий я не ожидал; несколько секунд стоял молча, не понимая, что делать. Тут мое внимание привлек работающий телевизор. Шел дневной выпуск новостей. На экране ярко красными буквами появился титр: "Обстрел на юге". Я сделал звук погромче.

«Сегодня утром, в результате ракетного обстрела одного из населенных пунктов на юге страны, пострадали двое военнослужащих. Они получили ранения средней и легкой степени тяжести и были доставлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне».

Черт... Интересно, где это произошло... А не у нас ли?

Меня бросило в жар, возникло чувство легкой тошноты. Я взял телефон и позвонил на мобильник Вите, он остался на базе.

- Але, Витя? Привет! У вас все нормально?

- Ну как... нормально? - недовольно буркнул Виктор. - Двое раненых. Снаряд разорвался на плацу, рядом с палатками молодых. Одному из них осколок грудь пробил, другому пальцы на руке оторвало...

- А вы-то целы? Плац от нашей комнаты метрах в тридцати...

- Да... Все целы... Грохоту было... Я как раз заснуть пытался... Ладно, давай, мне на смену через пять минут.

Следующие два дня я был прикован к телевизору, почти каждый час смотрел новостные выпуски. В перерывах я что-то ел без особого аппетита, курил на балконе, машинально готовил бутылочки с детским питанием шестимесячному сыну Даничке. Подолгу сидел у его манежика в большой комнате, пока жена была на работе.

О том, где конкретно я прохожу службу, я ей не говорил. Так что супруга была уверена, что я остался водителем в Цеэлим. Она только все время удивленно спрашивала, все ли со мной в порядке. Я говорил, что да, ссылаясь на усталость и недосып.

10.

Вернувшись на базу, кинув вещи в комнате, я первым делом пошел на плац. Там на асфальте были отчетливо видны следы от взрыва. Небольшая обожженная выбоина с длинными, расходящимися лучистыми следами от осколков. Метрах в десяти от места взрыва находился чуть покосившийся деревянный фонарный столб с прикрученной к нему металлической коробкой с проводами. Дверца коробки была вспорота во многих местах так, как будто ее долго наотмашь кололи консервным ножом. Острые металлические края рваных отверстий лезвиями бритв поблескивали на солнце. Тут я заметил, что ко мне движется Зейд. Свое общение со мной, он, как всегда, сдвинув брови, начал по-деловому.

- Ну что, ты узнавал насчет работы?

- Да, знаешь, я звонил Раэду, начальнику автопарка, к сожалению, пока работы нет.

- Раэду?! Он что, араб?

Зейд заметно напрягся.

- Ну да, араб из Джальджулии...

- Из Джальджулии?! Ты что, с ума сошел!? Там же одна мафия, бандиты! Ты что-то сказал про меня, кто я, как меня зовут?!

- Нет... Ничего я не сказал, - удивленно промямлил я. - Просто сказал, что у меня есть один знакомый, который ищет работу, вот и все.

Зейд бросил на меня свой колкий взгляд, и горько и презрительно усмехнулся.

- Ну вот, какой от тебя толк?! Что бы тебя не попросить, ничего не можешь!

Такой наглости я не ожидал. Знал, с кем приходится иметь дело, но чтобы вот так?! Сразу я не нашелся, что ответить.

- Вообще-то я хотел тебе помочь...

- Да, да! Помочь!

Тут я не выдержал.

- Знаешь, что?! Да пошел ты!

В этот момент завывала сирена тревоги. Я увидел бегущего к нам рыжего лейтенанта в кипе.

- Зейд! Поедешь в первом джипе, вместе с Озом. Ты - во втором джипе, - обратился ко мне офицер. - Быстрее! Прорыв границы. Вы - подкрепление, выезжайте на "Мемфис". Солдаты уже вас ждут. Бегом!

11.

Я давил на педаль газа. Выехав за ворота базы, мы промчались по грунтовке через эвкалиптовую рощицу и оказались в открытом поле, поросшем густой травой. Впереди был виден забор безопасности. Машина Зейда неслась впереди, метрах в пятидесяти от нас. Почва, к счастью, немного подсохла, но джип сильно трясло, нас подбрасывало на ухабах. Я крикнул одному из бойцов, чтобы тот надел каску. Уже у забора я увидел метнущуюся от нас газель. Выехав на асфальтированный участок, мы помчались в северном направлении вдоль ограждения.

Участок "Мемфис" представлял собой песчаный пригорок у забора безопасности. Там на возвышении было установлено укрепление, сложенное из огромных бетонных блоков, с башней с узкими наблюдательными отверстиями. Верх конструкции покрывала камуфляжная сетка.

Приехав на место, я резко свернул вправо от дороги, на пригорок. Сделав полукруг на его вершине, чуть поотдаля укрепление, и подняв тучу пыли, я остановил джип. Машина Зейда заняла позицию метрах в семидесяти к северу от нас. Теперь нам нужно было ждать приказа о дальнейших действиях от командования. Рация молчала.

С пригорка, сквозь лобовое стекло, открывался удобный обзор палестинской территории. Сектор Газы тонул в белесом полуденном мареве. Почти до самого горизонта беспорядочно теснились некрашенные хибары, построенные из грубых бетонных блоков. Вместо крыш – торчащая вверх ржавая арматура и набросанные листы шифера, придавленные камнями. Рядом с жилищами можно было разглядеть убогие огороды, загоны для коз и ослов, пыльные пальмы. Замусоренные переулки уходили чуть вверх, по направлению к покосившейся мечети, с разрушенным в ходе недавнего авиаудара минаретом. Совсем вдалеке просматривалась узкая, подсвеченная лучами январского солнца полоска - Средиземное море.

Мы ждали команду. Четверо бойцов в салоне джипа, не сговариваясь, достали телефоны и принялись молча играть в «тетрис». Минуты через полторы так же дружно задремали. Спать им приходилось часа по три-четыре в сутки. В отличие от нас, резервистов, у этой девятнадцатилетней пехоты каждый день были построения и наряды. И это не считая боевых выездов и патрулирований...

«Войны... защитники, - думал я. - Ведь совсем еще дети. А я, значит, у них за старшего остался...». Мне очень хотелось курить, сердце стучало, бронезилет давил на грудь. Я напряженно всматривался вдаль. Рация издавала напряженное эфирное шипение. Команды все не поступало.

Вдруг в нескольких десятках метров от меня, на палестинской стороне, я увидел движущуюся фигуру ребенка. Мальчик, на вид лет десяти, изо всех сил бежал в нашу сторону, к границе. Забор проходил по краю оврага, так что ребенок скоро исчез из моего поля зрения, скрывшись на дне ложбины.

Что он делает у забора? Ведь приближаться к нему запрещено, палестинцам это известно... Лейтенант про теракт говорил... «Ну и что, что ребенок?» - думал я. Несколько лет назад взрывать КПП с солдатами в районе Шхема ХАМАС послал четырнадцатилетнего школьника. Надели на него пояс шахида с взрывчаткой, обещали ему, что в рай к девственницам попадет. К счастью, горе-террориста вовремя обезвредили, все живы остались. Парня уложили на землю, послали к нему робота, который через пару часов сумел разминировать заряд. Меня бросило в жар.

- Але, всем подъем! - заорал я.

Солдаты встрепенулись от сна.

- Что случилось?!

- Там, у забора - пацан палестинский; не знаю, что он там делает.

- Где он?

- Не видно пока... А, вон, смотрите, прямо перед нами!

По откосу оврага поднимались две фигуры, мальчика и взрослого мужчины. Ребенок держал его за руку. Палестинцы быстро шли вверх по тропинке между огородами, по направлению к хибарам, все дальше отдаляясь от нас вглубь сектора.

- О! Мы их сейчас положим! Конец вам, палесы! - радостно завопили солдаты.

Боец, сидевший на переднем сидении, передернул затвор. «А ведь и правда, пристрелят», - подумал я. Солдат позади меня уже связывался с командованием по рации.

- Рут, я - лесная белка, вижу двух грязных у линии, они идут обратно в улей.

- Подождите, подождите, какие террористы?! – я пытался образумить солдат, в висках у меня стучало. – Может, это

местные, отец с сыном. Ребенок увидел нашу машину у забора, испугался и побежал предупредить папу. Так нельзя!

Бойцы меня не слушали. Только один из них, Менаше, в очках и кипе, внимательно смотрел на меня через зеркало заднего вида, затем, чуть улыбнувшись, вымолвил:

- Не волнуйся. Если это на самом деле отец с сыном, никто их убивать не будет.

В это время по рации прозвучал приказ:

- Разрешаю одиночный выстрел в воздух.

Солдат, сидевший справа от меня, вышел из машины. Затем зачем-то несколько секунд целился в небо. И наконец, когда палестинцы уже были у самого входа в одноэтажную покосившуюся хибару, нажал на курок. Раздался выстрел. Отец с сыном, пригнувшись и испуганно втянув головы, забежали в жилище, быстро захлопнув за собой белую обшарпанную дверь.

Я вдруг вспомнил сына Данечку. Еще сегодня утром я сидел у его манежика, а он, поддергивая ножками, глядел на меня и улыбался своим беззубым ротиком и синими глазками. Каждый раз, выезжая на дежурство, я думал о том, что, возможно, больше не увижу своего ребенка. Внезапно, у меня ком подкатил к горлу, из глаз брызнули слезы. Я сделал вид, что закашлялся.

- С тобой все в порядке? - обратился ко мне Менаше.

- Да, в порядке, - ответил я, хлюпая носом и нарочито кашляя. - Аллергия на пыль, наверное.

- Отбой, возвращайтесь на базу - поступил приказ по рации.

12.

Подъезжая к стоянке на базе, я заметил скопление солдат у запаркованной машины Зейда. Когда вышел из джипа, увидел картину: Оз, долговязый, смуглый и горбоносый сержант-срочник, подойдя вплотную к Зейду, орал:

- Я здесь командир, и своим солдатам приказы отдаю я, а не ты! Ты меня понял?!

«Бедуин и его достал, - мелькнуло у меня в голове. - Наконец-то кто-то дал отпор этому первобытному... Только я все рефлексирую... Так с ними и надо, по-другому не понимают...»

Зейд удивленно глядел на сержанта, пятился назад и тихо бормотал что-то неразборчивое. Оз напирал на бедуина, повторяя одно и то же:

- Ты меня понял?! Ты понял меня?!

Солдаты молчали, я с удовольствием наблюдал за разворачивающейся сценой. И тут Зейд резко остановился и прокричал в ответ:

– Да что ты можешь?! Что вы здесь все можете?! Без меня ты ноль, вы все здесь нули!

Затем резко повернулся и быстро зашагал прочь.

«Небось к нашему вагончику пошел», - подумал я. Сталкиваться с бедуином лишний раз мне не хотелось. Да и вообще было желание побыть одному. Поэтому я решил помыться. В армии у меня всегда были два сокровенных желания: лишний раз сходить в душ и поспать.

Убедившись, что душевая рядом с нашим жилищем закрыта на замок, я зашел к водителю-контрактнику Шмуэлю за ключом. Всегда флегматичный Шмуэль меня успокаивал своим невозмутимым видом и скептическим взглядом поверх очков. У него можно было разжиться рыбными консервами и хлебом. В свободное время Шмуэль постоянно сидел у себя в отдельной комнате, оборудованной обогревателем и самодельными книжными полками с религиозной литературой. Вот и теперь он полулежал на кровати в армейских штанах и ботинках. В черной кипе и талите поверх белой футболки контрактник штудировал "Ялкут Йосеф".

- Полчаса назад наши поймали перебежчика, - вымолвил Шмуэль, лениво передавая мне ключ от душевой. – Палестинец, совсем молодой, лет шестнадцати, пытался перейти границу у Кисуфим; говорят, в Израиле работу пытался найти.

- Ну и славно, хоть не зря нас по тревоге подняли, - ответил я.

Тем временем клонившееся к закату солнце заволокло тучами. Подул холодный ветер. Я быстро зашел в душевую и первым делом закрыл дверь изнутри на ключ.

Наконец-то я был один. Я включил обогреватель, он работал, лампочки на потолке также, на удивление, горели исправно. Зайдя в дальнюю кабинку, я открыл кран с горячей водой. Комната медленно наполнялась туманом, зеркало над раковиной запотело, желтый теплый свет успокаивал, струи горячей воды приятно обволакивали тело. За окном стучал холодный январский дождь.

В голове моей всплывали картинки из детства. Мне лет пять, и я с бабушкой возвращаюсь из садика, где строил замок в песочнице. Заходящее осеннее солнце тонет в грозовых облаках. На улице становится холодно и неудобно. Мы спешим домой, где меня ждет ужин: любимые сырники с малиновым вареньем и чай. Потом бабушка приготовит мне ванну - такой же желтый успокаивающий свет, пар, осевшие капли на зеркале и теплые струи воды. Уют и счастье. А за окном будет так же шуметь дождь.

Помывшись, надев штаны и майку, я еще какое-то время сидел на скамейке в душевой и смотрел на пустые душевые кабинки, наслаждаясь тишиной.

Мою нирвану прервал грохот. Кто-то изо всей силы молотил в закрытую дверь душевой, она буквально ходила ходуном. Схватив ключ, я метнулся к входу в одних носках, при этом наступив в лужу, и матерясь, повернул в замке ключ. На пороге, насупив брови, стоял Зейд.

- Ты чего запираешься?!

Похоже, бедуин меня преследовал. Как же он меня достал!

- Давно не виделась, решил от тебя отдохнуть! Чего ты дверь ломаешь, совсем с ума сошел?!

- А что, другим помыться не надо?! Душевая - теперь твоя собственность? Дай пройти!

Проходя мимо меня, Зейд легко задел меня плечом. Я изо всех сил старался держать себя в руках.

- Небось еще и всю воду горячую израсходовал, - бормотал бедуин, проверяя кран в душе. Я не ответил,

сидел на лавке и пытался как можно скорее зашнуровать ботинки. Сволочь, урод, все настроение испоганил!

Тем временем Зейд стремительно разделся, и его голая волосатая задница замаячила в полуметре от моего лица. Господи, да когда же все это закончится?! Наспех кое-как завязав шнурки, схватив куртку и автомат, я поспешил на выход.

Заходя в кабинку, Зейд крикнул мне в спину:

- Дай куртку.

Я не ответил, лишь швырнул ключи от душевой на скамейку.

- Шмуэлю занесешь.

Захлопнув дверь, я вышел на морозящий дождь, в сумеречную, холодную хмарь.

13.

Последнюю неделю "Литого свинца" на границу я выезжал в джипе сопровождения, за машиной Зейда, чему не мог нарадоваться. По радио в новостях то и дело слышал сообщения о готовящемся соглашении с ХАМАСом о прекращении огня. Обстрелы со стороны палестинцев стали заметно реже. Я считал часы до завершения службы.

В предпоследний день, вечером, я вышел покурить на крыльцо комнаты. На рассвете мне предстояло в последний раз выехать на смену. И тут краем глаза я заметил, что ко мне неспешно приближается Зейд. Я продолжал глядеть перед собой, делая вид, что его не замечаю. Подойдя ко мне, бедуин какое-то время стоял и напряженно молчал.

- Знаешь, - наконец вымолвил Зейд, - сегодня в Хан-Юнисе был обстрел с нашей стороны. Пострадала трехлетняя девочка. Ей ноги оторвало.

Я не знал, как на это реагировать, лишь удивленно обернулся к Зейду. Видимо, бедуины смотрели у себя по телевизору не только музыкальные каналы, но еще и новости палестинской стороны...

- Я не понимаю, что я здесь делаю, - продолжал Зейд, грустно и задумчиво глядя перед собой.

Я молчал. А что я мог ответить? О чем ты думал, когда добровольно призывался в израильскую армию, хотя мог в нее не идти? О том, что тебе не придется воевать против таких же арабов, как и ты сам? Сказать, что на войне всякое случается? Посоветовать Зейду уволиться из армии, найти работу? Пойти учиться? Найти жену, построить дом?

Я молчал. Зейд стоял рядом, рассеяно смотрел вдаль. В этот момент он был похож на растерянного подростка. Мне вдруг показалось, что бедуин подрагивает от холода.

- Знаешь, возьми мою куртку, - сказал я, поднимаясь. - Она теплая.

Зейд удивленно взглянул на меня.

- Ты это серьезно?

- Бери, пока я не передумал. В конце концов, она тебе сейчас больше нужна, чем мне. Давай мне свой флииз, надеюсь, я в нем не замерзну.

- Нет, он теплый, удобный.

Я передал куртку Зейду, тот отдал мне флииз.

- Скажи, а у тебя дети есть? - спросил меня бедуин.

- Есть сын.

- А можешь его фотографию показать?

Я включил телефон и передал его Зейду. На фотографии Данечка сидел в манежике, тянул ручки вверх и улыбался.

- Симпатичный малыш, - грустно улыбаясь, вымолвил Зейд. Впервые за всю службу я увидел улыбку на его лице. Глаза его блестели, привычная колкость и надменность во взгляде на какое-то время исчезли.

- Так, запиши мой телефон, - вдруг по-деловому, привычно насупив брови, скомандовал бедуин. - Завтра мы не увидимся, с утра ты едешь на смену с Юсуфом. Звони, если что.

Из вежливости я записал телефон Зейда на клочке бумаги, хотя мог забить его номер в память телефона. Я вдруг вспомнил, что за все время нашего знакомства бедуин ни разу так и не назвал меня по имени.

14.

Утром на следующий день вступило в силу соглашение о прекращении огня. Операция "Литой свинец", длившаяся почти месяц, завершилась. Правда, палестинцы уже после объявления о перемирии выпустили по израильской территории две ракеты. Затем наступила долгожданная тишина.

Погода была ясной и солнечной, я в последний раз выехал на смену к забору безопасности. Юсуф всю дорогу с удовольствием, прямо из коробки, уплетал яблочный пирог, купленный в магазине в соседнем кибуце, и довольно жмурясь, потягивал кофе из бумажного стаканчика.

Вернувшись на базу, наша группа водителей быстро сдала оружие и обмундирование, предварительно сфотографировавшись на память на фоне джипов.

Мой сослуживец Толя предусмотрительно вернулся из недавней увольнительной на своей машине. Так что теперь мне и Абабе не пришлось возвращаться со сборов на автобусах. Уже через полтора часа я был дома, в Тель-Авиве.

Эпилог

Через два дня после окончания «Литого Свинца» прозвучала новость о том, что на границе с Сектором Газы произошел теракт. Сидя дома, в вечернем выпуске новостей, я увидел кадры, снятые телевидением ХАМАСа из сектора Газы: поврежденный взрывом забор безопасности, скопление израильских джипов и солдат у границы, машины медицинской службы, и санитаров с носилками.

Теракт произошел на нашем участке патрулирования. На заднем плане было видно то самое поле, поросшее высокой травой, и знакомая эвкалиптовая роща вдалеке. Среди солдат я отчетливо разглядел лица рыжего лейтенанта и Оза.

Когда я выезжал на дежурство, то старательно объезжал все неровности, камни и выбоины. Мне казалось, что только там можно спрятать мину. Мысль о том, что можно заложить шестнадцатикилограммовый заряд в нескольких метрах от забора с палестинской стороны, и взорвать его, как только с ним поравняется джип, мне почему-то не приходила в голову во время службы.

В результате взрыва трое солдат, находившихся в джипе, получили легкие ранения, водитель-резервист – ранения средней степени тяжести, сидевший рядом с ним следопыт скончался по дороге в больницу. Я наверняка знал погибшего, ведь бедуины продолжали нести службу на границе и после окончания «Литого свинца». Однако имя его в новостях не сообщили. Имена погибших солдат-бедуинов вообще не сообщают в новостях, по соображениям безопасности их родственников.

Смятый клочок бумаги с номером Зейда по-прежнему лежал в кармане армейского флиза, который я так и не успел постирать. Но Зейду я не позвонил. Если бы даже он и взял трубку, то я не знал, что ему сказать.

НОЧЬ САНИТАРА

Глава из книги «Сны под стеклом»

Есть в ночных сменах своя прелесть. Например, ночью больные спят (в основном), и намного меньше трахают мозги усталому персоналу. Утром, когда все нормальные люди приходят на работу, ты уходишь с работы. И весь день у тебя впереди. Это при условии, что тебе не вклепили вечернюю смену, разумеется. В больнице на ночных сменах особенно не расслабишься — есть масса рутинной работы по наведению чистоты и порядка, сортировке инвентаря, и прочая и прочая. Кроме того, всех «лежачих» больных нужно поворачивать с боку на бок каждые два часа. А если старшая по смене хочет выслужиться перед начальством (на спинах подчинённых, заметьте), то под утро, часиков в шесть, начнется помывка в «лежачих» палатах. Шоб служба мёдом не казалась! Интересно, а если её, ретивую старшую смены, если её саму в шесть утра выдернуть из теплой кровати, да голой жопой на холодный пластик кресла-каталки, да под душ... И не тот это душ, под которым можно стоять и париться, и кайфовать. Это скоростной, бодрящий душ. Раз — окатили водичкой. Два — намылили. Три — смыли. Так что, со временем, вся эта ночная романтика мне изрядно поднадоела. Ночь. Нож! Три кастета! Нет, это из другого жанра.

Ночь. Мы, не спеша, переходим от палаты к палате. Старшая вечерней смены торопливо рапортует около каждого пациента. Она торопится «сдать» смену — и домой. А время-то уже — двенадцатый час. Пока она доберётся домой, горемыка, пока помоется, смоет с себя миазмы... Первый час ночи... А потом — приступ

обжорства. За несколько секунд уничтожит плитку шоколада и большую коробку конфет. А потом — раскаяние, мысли о лишних килограммах и килокалориях. Рвота над унитазом... Второй час ночи... А в 7 утра она помятая, как мочалка, опять идёт тем же курсом, по тем же зловонным белым отсекам, и те же родные лица вокруг... Но это будет утром, а сейчас...

В 4-й палате, прямо у двери в кресле сидит лысоватый мужик. Его глаза выпучены, рот открыт буквой «О», он пытается выдохнуть и сипит так, что его слышно из коридора. Старшая заглядывает в его файл.

— У него записана сейчас ингаляция.

Зарядили ингаляцию. Меня ожидают груды инвентаря, который нужно разложить, рассортировать, привести в порядок для утренней смены. Что-то добавить, долить. Разложить бельё в кладовке. Между делом, каждые два часа ходим с сестричкой ворочать молодцов-огурцов, вегетативных пациентов. Сестричка — молодая африканка. В тёмном коридоре белеет её халат и улыбка. Халат и улыбка вдруг приближаются ко мне:

— Ой, а ты знаешь, я боюсь темноты!

Меня берут за руку. Я «включаю тупого»:

— Да ты не бойся, щас у старшей фонарик попросим...

Через пару часов я вспомнил про астматика. Подумал, что хватит ему уже дышать воздухом из компрессора. Лекарства-то в ингаляторе хватает на несколько минут. Медсестра вообще забыла про него. Подошел к 4-й палате, отдернул занавесочку. Астматик сидел в кресле слегка ссутулившись и сжимая двумя руками подлокотники. Компрессор бесполезно тархтел на всю палату. Ингалятор валялся у астматика на коленях, и дыхательных движений заметно не было. Лицо его было как маска Павора — открытый рот, выпученные остекленевшие глаза.

На мой зов, кряхтя и охая, пришаркала медсестра. Делать кардиограмму не было необходимости. Его путь в Сансаре завершился. Пришёл заспанный дежурный доктор. Потребовал всё-таки сделать кардиограмму. Протокол и порядок. Я закрепил электроды на холодных и твёрдых

конечностях бывшего пациента больницы. Бывшего астматика. Электрокардиограф безропотно зарегистрировал электрический потенциал с поверхности брэнной оболочки. Я принёс результаты эксперимента — полоску бумаги с прямой линией — на сестринский пост. Пока медсестра говорила по телефону с семьей усопшего, врач лихорадочно строчил что-то в истории болезни. Эпикриз или катамнез. Официальный Эпилог.

Даже разговаривая по телефону, медсестра красиво жестикулировала свободной рукой:

— Я советую вам приехать... состояние больного внезапно *ухудшилось* (куда уж хуже?) ...значительно ухудшилось... мы делаем всё возможное (да-да, даже, вот кардиограмму сделали!), но состояние очень тяжёлое... На самом деле, откуда нам знать — ухудшилось ли его состояние? Просто закончился некий окислительный процесс длиною в 60 лет.

До конца смены оставалось 2 часа. Медсестра зевала и, поглядывая на часы, фантазировала, что родственники усопшего за оставшееся до конца смены время приехать не успеют. И объясняться с ними придётся старшей сестре следующей, утренней смены. Врач вчитывался в строки назначений, надеясь заметить и исправить ошибку, если таковая была. Было бы забавно, если бы он, например, нашёл бы выписанную по ошибке смертельную дозу препарата. Исправил бы запись, и тут, как результат исправлений, покойник оживёт. Но задачей доктора было защитить пока-ещё-живых от бытовых неприятностей. Необратимые биохимические явления грозили пока-ещё-живым административно-бюрократическими рикошетами. Вот вам параллельные миры. Через час пришёл батюшка-раввин и забрал труп в больничный холодильник. Я помогал ему, толкая каталку сзади. В утреннем полумраке чёрная фигура раввина с развевающимися пейсами напоминала гигантского жука. В холодильнике несколько ячеек были уже заняты. Лязгая стальными дверцами, раввин искал свободную ячейку. «Ищет ему подходящую нишу» — подумал я.

Хотелось спать. Спать, кстати, в больнице категорически запрещалось. Среди персонала ходили страшные истории, о том, как медсестра и санитарка уснули на ночной смене, и пришёл Чупакабра... То есть, дежурная старшая сестра больницы... И всех уволила. Сразу и навсегда. Поэтому, с четырех часов утра начиналось самое мучительное для меня время. Я засыпал стоя, засыпал, стоило мне лишь на мгновенье остановиться. Мыли лежачих больных. Я поворачивал клиента «на себя», удерживая его в положении на боку, и успевал увидеть сон, пока медсестра намыливала клиенту спину.

Уже в более поздний период, когда я стал «матёрым» санитаром, я брал дополнительные ночные смены в доме престарелых. Там было три этажа, на первом — лобби, кухня, кладовка с заветным холодильником. На втором и третьем — комнаты старичков. Ночи там должны были быть легче, но... В первый раз я дежурил там с медсестрой Даной. Это была высокая, ухоженная блондинка, не старше тридцати. На дежурство её привозил муж, которого я никогда не видел. Дана намекала, что он довольно богат, и мне было непонятно — за каким чертом ей, в таком случае, нужны ночные смены? Уже в 12.00 с делами было покончено, и мы с Даной расположились на диване в лобби, напротив телевизора. Кто-то постучал в дверь. Дана жестом приказала мне оставаться на месте и впустила какого-то бледного субъекта. Они уселись рядышком, взявшись за руки. Бледный по-хозяйски переключил на футбол. Я было поднялся, чтобы оставить их вдвоем, но Дана вновь остановила меня:

— Не уходи.

— Ты ж с другом?

— Да надоел мне этот козёл... — сказала Дана задушевым голосом, и я вдруг сообразил, что бледный козёл, должно быть, не понимает по-русски. Иностранец. Иди вот, пойми душу женщины. А тем более, медсестры. Однако смотреть футбол мне было тягостно. Я завалился на диван в двух метрах от влюбленной парочки и собрался

почивать, как вдруг мерзко задрезжал колокольчик вызова.

— Это Мирьям...

Мирьям, толстая сгорбленная старушонка, жила на втором этаже.

Бегу на второй этаж. Мирьям сверлит меня взглядом и брюзжит:

— Можно было умереть 10 раз, пока вас дождёшься!

— Чего пожелаете?

Мирьям молчит. Я стою перед ней, ощущая жжение в натруженных на утренней смене пятках. Жду. Мирьям молчит. Выражение лица у неё такое, как будто её заставили скушать свежераздавленную жабу. Я молчу. Она молчит. Мы молчим. В конце концов, мне надоело и я поворачиваюсь к выходу.

— Стой!

— Да?

— Поправь мне подушку.

Я поправляю подушку.

— Да не так же, Господь всемогущий!

Я поправляю подушку. Ещё чуть-чуть! Ядвигаю подушку ещё на миллиметр.

— Ты что?! Ты меня так с постели сбросишь! Варвар!

Ещё пять минут нелепой игры с брюзжащей старушонкой и с подушкой. Болят пятки, и очень хочется спать. Преодолевая искушение положить подушку ей на лицо, спрашиваю:

— Ну что, так нормально?

Мирьям молчит. Когда я уже дошел до двери — выстрел в спину:

— Я хочу в туалет, помоги мне! Всё вам скорей-скорей! Лишь бы не работать!

Пытаюсь помочь ей встать с кровати. Беру за плечо и за руку и пытаюсь сначала усадить...

— А-а-а!!! А-а-а!!! Ты мне чуть руку не сломал!

Слышу из-за спины ангельский голос Даны:

— Мирьям, сука старая... Когда ж ты сдохнешь?

Мирьям неожиданно резво поднимается с кровати сама. От испуга я хватаю её под руку.

— Да ты что так давишь?! Хочешь мне кости переломать?! Медленнее! Ещё медленнее!

Миллиметр за миллиметром мы продвигаемся к унитазу. До унитаза метра два, мы проделываем это расстояние за несколько бесконечных минут. С ахами, охами и стонами.

— Жди меня здесь! Не уходи!

Но мне приходится оставить её — Дане нужна помощь на третьем этаже.

— Мирьям, посиди пожалуйста на унитазе, я вернусь за тобой.

— Вернётся он! Куда пошел?! Завтра пожалуюсь на тебя! Жди здесь, сказала!

Бегу на третий этаж. На третьем этаже взбесились супруги Твикс — «сладкая парочка». Это были высокие, дородные люди, похожие, как брат и сестра. Они занимали номер-люкс и очень элегантно одевались днём. А сейчас они шлялись по этажу голышом, причём муж напялил галстук, а жена была в какой-то игривой комбинации. Муж держал спутницу жизни под руку и высокомерно объяснял Дане:

— У нас самолет в Брюссель через два часа!

Элегантный галстук его заканчивался на уровне голого пупка. Дана, преграждая супругам путь к лифту, пыталась уговорить их вернуться в комнату. Твикс разом отвернулись от неё и двинулись к лестнице. Там я их и встретил.

— Куда же вы ...без чемоданов...

— Чемоданы! Чемоданы!

Обнимая супругов за бледные старческие плечи, я стал направлять их к комнате. Оба шатались из стороны в сторону, как пьяные, ковыляя на трясущихся ногах. В комнате нас ждал сюрприз — пол был обильно залит мочой (спасибо диуретикам!). Сладкая парочка начала скользить, как пьяные на катке, падать, цепляться за меня мокрыми от мочи руками. Вся эта сцена напоминала скульптурную группу «Лаокоон с сыновьями». Утихомирив сладкую

парочку, вернулся к Мирьям. Та всё ещё «куковала» на унитазе.

— Пожалуюсь на тебя завтра, бездельник!

Опять стоны и причитания, миллиметровые шажки... Бегу вниз, предвкушая отдых... Звонок. Второй этаж... Мирьям.

— Дай мне воды!

Бутылка с водой на тумбочке, на расстоянии тридцати сантиметров от старушки. Подаю ей бутылку.

— Помоги мне сесть, я же не могу пить лёжа! Да осторожнее, варвар!..

— Она может так по десять раз за ночь тебя дёргать. Хватит к ней бегать! — вдруг решает Дана. Сестра отключает шнур электрического звонка от стены. — Только утром — не забудь включить.

Мирьям сжимает в кулаке импотентный звонок и щёки её трясутся от негодования.

В лобби тьма сменяется предутренним полумраком. Долгожданные диваны кажутся уже не такими уютными. Дана выглядит помятой, усталой женщиной. Темнота многие вещи изменяет, да и вообще, всё в нашей жизни лишь вопрос освещения, не так ли?

Дана зевает и, не глядя в мою сторону, плюхается на диван. Я опускаюсь в кресло и кладу ноги на журнальный столик. Закрываю глаза. Трезвонят сразу несколько звонков из разных комнат. 6 утра. В комнате старушки Товы я открываю окно. Холодный утренний воздух, солнце, тяжёлые тучи, запах дождя. Ничего прекраснее того рассвета я не видел.

— Оставь окно открытым! — просит Това.

— Тебе что-то нужно?

— Ничего!

Маленькая, сухонькая, с румяными щечками, старушка Това кажется мне ангелом.

До конца смены ещё целый час.

Электронную и бумажную книгу «Сны под стеклом» можно приобрести по адресу: www.limonova.co.il.

МОЛОТШТЕЙН И РИББЕНСНОБ

*Отрывок из четвертого тома эпопеи
«Буриданы»*

август 1939

Молотштейн

День обещал быть жарким, и не только в переносном смысле, но и самом прямом, начало августа – пора душная. Сейчас хорошо бы отдыхать в Крыму, кататься на лодке, играть с Анастасом в теннис или в кегли, но что невозможно, то невозможно; работы было столько, что не каждый вечер удавалось даже добраться до дачи, просто не хватало сил; сидеть на двух стульях было делом очень уж утомительным. Литвинов не справился с внешней политикой, полный провал, как в Лиге Наций, так и на переговорах с Англией и Францией, вот Коба и вывел из своей конюшни самую крепкую – вятской породы лошадь, и водрузил ей на шею еще один хомут – тпру, бери и тащи, Вячеслав!

Роль хомута в образном смысле играл галстук. Летом в косоворотке, конечно, удобней, но Полине не нравилась простонародная одежда, и она отучила от нее мужа. Помаленьку и сам Молотов привык иметь представительный вид и даже стал испытывать от этого некоторое довольство. Все-таки он был дворянского рода, пусть в новой обстановке и не стоило это подчеркивать. Для кого-то другого сомнительное происхождение могло бы представлять опасность, но его заслуги перед партией были слишком велики, чтобы бояться за столь далекое

прошлое. Намного важнее был, к примеру, тот факт, что в ЦК его в свое время рекомендовал сам Ленин.

Первый узел получился малоудачным, пришлось распустить его и начать сначала, такое уж это искусство, упражняешься, упражняешься, а совершенства не достигаешь. Каждый галстук имел свою душу, один был шире, другой уже, третий длиннее, четвертый короче, и каждый требовал индивидуального подхода. Например, темно-серый в горошек, с которым он сейчас возился, был коротковат, потому узел приходилось закладывать очень высоко, под самым горлом, иначе конец потом не дошел бы и до пупка. И допускать такое никак не следовало, дипломатический корпус сразу замечает подобные детали, потом какой-нибудь посол напишет в своих воспоминаниях, что министр иностранных дел СССР Молотов одевается небрежно, галстука - и того толком завязать не может, вот будет срам.

Из спальни вышла Полина, она, как всегда, торопилась, поднимались-то они в одно время, но жене на работу дальше добираться. Остановившись рядом с Молотовым у большого зеркала, она поправила прическу, и тотчас Молотова окутало одурманивающее облако духов; Полина не сэкономила их и имела на то моральное право, ведь это она, его Жемчужина, создала в Советском Союзе парфюмерную отрасль... «И лучше бы она там и осталась», - подумал Молотов мрачно, руководила своей «Новой зарей», ибо что знала Полина о рыбной промышленности? Если честно, то не больше, чем он, Молотов, о внешней политике, однако если за него все важные решения принимал Сталин, то желания углубляться в технологию консервирования икры у Кобы не было, Полине приходилось разбираться с рыбками и банками самой – и что в итоге? Перл стала нервной, даже более нервной, чем год-два назад, когда это было бы куда легче понять. Молотов пытался как можно меньше вспоминать то время, но кое-что, хочешь не хочешь, неотступно стояло перед глазами, например, заседание, на котором Ежов, сообразив, что настал его черед, стал вдруг прямо там, на

Политбюро, мастерить бумажные самолетики и пускать их по комнате, словом, попросту свихнулся.

- Ну как, решил? – неожиданно спросила Полина.

- Что решил?

- Как что? Какой город выбираешь?

- А, вот ты о чем! Еще нет. Время есть.

После того как Молотов безропотно позволил навязать себе вторую должность, Коба в порыве небывалой щедрости обещал, что в порядке подарка к юбилею назовет по его фамилии какой-нибудь город. Это был дар немалый, до сих пор подобной чести удостоивались только или покойники, как Ленин, Свердлов и Фрунзе, или герои гражданской войны, и те не все, Клим и Буденный - да, а вот Тухачевский - уже нет, он выслужил другое, и Молотов прекрасно знал, за что – Сталин не забыл, как тот пытался свалить на него вину за провал польской кампании. Что Царицын уже в двадцать пятом стал Сталинградом, - история отдельная, вызвавшая тогда серьезное недовольство среди старых большевиков, после чего прижизненные переименования были на некоторое время отменены. Однако теперь настала другая эпоха.

- Смотри, не скромничай, - сказала Перл наставительно, – если предложат Вятку, откажись.

На Вятку Молотов, конечно, соглашаться не собирался, если честно, он предпочел бы Нижний Новгород, но его незадолго до смерти заполучил Горький. Он хотел ответить, что колеблется между Казанью, Пермью и Иркутском, но не успел, Полина, которая в течение всей этой беседы усердно припорошивала нос, защелкнула пудреницу, бросила ее в сумку и в последний раз посмотрелась в зеркало.

- Как я выгляжу?

- Умопомрачительно.

Это был не просто комплимент; даже сейчас, непонятно взвинченная, Полина выглядела величаво. «Не зря ее называют первой леди государства», - подумал Молотов с гордостью, после смерти Нади она стала таковой даже формально, но и до того Надя не могла составить Перл

серьезную конкуренцию, она была хорошая девочка, но без шлифовки, Полина же блистала в любой компании, блистала даже без бриллиантов, носить которые ей не позволяли принципы пролетарского государства.

Ответ, кажется, успокоил Полину, она даже поцеловала Молотова на прощание, чего обычно не делала, не из-за недостатка нежности, а чтобы не испачкать мужа помадой; улыбнулась, увидев, что это таки случилось, вынула из сумочки платок, вытерла ему щеку и выбежала в коридор.

Эта милая маленькая семейная сценка подняла и настроение Молотова. «Как бы то ни было, - подумал он, снова занявшись галстуком, - мы – хозяева жизни».

Второй узел получился лучше, он остался доволен и пошел к гардеробу за пиджаком, чтобы успеть добраться до своего кабинета прежде, чем прозвонят куранты на Спасской башне.

Сев за письменный стол, Молотов первым делом прочел материалы, привезенные с площади Воровского – курьерам приходилось изрядно побегать, доставляя документы из наркомата иностранных дел в Кремль и обратно. Наибольший интерес у него вызвал отчет Астахова о встрече с Риббентропом, ничего принципиально нового в этом, правда, не было, Шуленбург тоже неоднократно пытался убедить Молотова, что Германия за улучшение межгосударственных отношений, да и у самого Астахова был недавно в кабинете одного берлинского ресторана основательный разговор на эту тему с торговым советником Шнурре, однако же из уст министра иностранных дел подобные предложения прозвучали впервые. Риббентроп довольно ясно дал понять, что Германия скоро нападет на Польшу, и что в связи с этим следовало бы каким-то образом предупредить конфликт, который мог возникнуть из-за советско-польского пакта. Еще, по его мнению, надо бы обговорить проблему балтийских стран, при этом Германия якобы понимает, что для Советского Союза данные территории важны с точки зрения безопасности, ну, а что касается поведения Японии,

то тут Германия готова повлиять на своего азиатского партнера, чтобы тот прекратил провокации против СССР.

Это все было очень мило, но Молотов ни на йоту не доверял Риббентропу. Межгосударственные отношения не могли улучшиться сами собой, для этого необходим был политический базис, так он сказал и Шуленбургу – ну откуда возьмется то, чего не существует в природе? Разве Гитлер уже в своей книге не выдвинул тезис, что коммунизм следует уничтожить? Разве он не продолжал клеветать на Советский Союз и после прихода к власти? А что он сделал с немецкими коммунистами? И что с испанскими, вместе с Муссолини поддерживая Франко?

Нет, практика показывала, что коммунизм и фашизм - это не просто два разных мировоззрения, – это два смертельных врага. Астахов - человек сообразительный, но дипломат молодой и неопытный, после отзыва Мерекалова на его плечи лег тяжкий, может, даже непосильный груз; и, страстно желая чего-то достичь, он взял да и выдал желаемое за действительное. Советский Союз уже в 1933 году, сразу после прихода к власти Гитлера, предложил Германии совместно гарантировать независимость балтийских стран, тогда Гитлер холодно это предложение отклонил, так с какой стати сейчас он должен думать иначе? Наоборот, все указывало на то, что Германия сама точит зубы на эти страны. Разве в день рождения Гитлера балтийцам не были выделены почетные места на парадной трибуне? Разве генерал Гальдер не посетил недавно Ригу, Таллин и Хельсинки? И разве всего лишь пару недель назад Таллин не навестил немецкий военный корабль, матросам которого, как сообщил Устинов, позволено было даже сойти на берег и там развлекаться?

Риббентроп хитрил, играл в какую-то одному ему известную игру, то ли пытался сколотить новый Мюнхен, то ли просто тянул время.

Несмотря на скепсис, Молотов положил доклад Астахова в ту кожаную папку, с которой он ходил в кабинет Сталина – ибо Сталин хотел быть в курсе всего, о чем докладывали дипломатические представители, и пересказам он не

доверял, даже если таковые исходили из уст наркоминдела.

Молотов собрался уже заняться сельским хозяйством, Лазарь сообщил вчера, что возникли проблемы с заготовками семенного зерна, но тут постучался Пушкин, доложивший, что прибыли Сидс и Наджияр. Молотов отложил папку с таблицей сортов пшеницы и велел пригласить послов.

Когда все сели, Молотов соответственно указаниям Сталина начал с того, что сделал Сидсу выговор за выступление Батлера в парламенте. Батлер сказал, что Советский Союз требует гарантий для балтийских стран только для того, чтобы их оккупировать. Это, конечно, была подлая клевета, которая ни в коей мере не углубляла доверие между странами, и особенно достойным сожаления, подчеркнул Молотов, было обстоятельство, что она попала на страницы газет.

Когда он закончил, Сидс стал что-то многословно объяснять, и Молотов вытащил из коробки сигарету. Он ненавидел разговоры с послами, поскольку не знал иностранных языков и всегда был вынужден, как дурак, ждать, пока Пушкин не переведет ему сказанное; сигарета помогала скрыть неуверенность, он почти не затягивался, так, дымил.

Как и можно было ожидать, Сидс оправдал происшедшее в парламенте демократическими порядками Англии и свободой слова, заявил, что выступление Батлера не отражает официальную точку зрения его правительства, и выразил надежду, что оно не повлияет на ведущиеся переговоры нежелательным образом.

Далее последовало главное, для чего Сталин ему и велел вызвать послов в Кремль: военная конвенция. Боннэ ранее сообщил, что Англия и Франция в принципе согласны заключить такую конвенцию и отправят в самое ближайшее время в Москву делегации, чтобы обговорить детали. Вот теперь Молотов и хотел знать, когда это самое ближайшее время настанет – именно так вопрос оформил Сталин. Сидс ответил, что английская делегация отправится в

дорогу уже завтра. Это была хорошая новость, осталось только уточнить, в котором часу она прибудет. В ответ Сидс опять стал что-то длинно и нудно излагать, и Молотов вынул следующую сигарету.

- Мистер Сидс говорит, что он не может назвать точное время прибытия, так как оно зависит от погоды на Балтийском море, - перевел в конце концов Пушкин. – Дело в том, что по соображениям безопасности делегацию решили отправить на пароходе. Мистер Сидс полагает, что не позже, чем через неделю, они доберутся до Ленинграда.

Молотов ужаснулся при мысли, что ему придется явиться к Сталину с подобной новостью. Кобу и так злило, что англичане тянут с заключением пакта, если он услышит о новой проволочке, он будет в бешенстве, и кому тогда достанется, Сидсу? Нет, ему, Молотову.

Он поинтересовался еще, утвержден ли состав делегации. Да, сообщили послы смущенно, и когда Молотов попросил список, неохотно передали ему его.

Молотов не стал изучать бумагу, все равно фамилии ему ничего не сказали бы. Он задал последний вопрос, уточнил, как приказал Сталин, какими полномочиями наделена делегация, услышал неопределенный ответ, что это зависит от каждого вопроса в отдельности, и быстро закончил встречу.

Едва Сидс и Наджияр вышли, как зазвонила вертушка.

- Ну что, воздух чист? – спросил голос, который Молотов узнавал бы с первого звука, даже если бы ему каждый день звонило сто грузинов.

- Только что вышли.

- Ну тогда шагай сюда, - велел голос.

И трубку положили.

Сталин был в обычном своем мрачноватом настроении, еще лет десять назад это отнюдь не было чем-то само собой разумеющимся, но после смерти Нади Коба утратил последние остатки жизнерадостности. Не то чтобы он так уж любил жену, Молотов знал, что брак Сталину навязало ЦК, но он переживал самоубийство Нади с другой точки

зрения – престижа, рассматривая его как предательство, как удар ножом в спину. Когда международное положение с приходом к власти Гитлера ухудшилось, и Сталин стал готовиться к войне и во имя этого укреплять единство страны, Молотов иногда думал, что будь Надя жива, кто знает, может, тогда Сталин обошелся бы с внутренними врагами менее сурово. Близость женщины, несмотря на постоянные ссоры, все-таки действовала на Сталина как-то смягчающе, делала его милосерднее, теперь же он был словно айсберг, который никогда полностью не растает.

- Ну что, все в порядке? Когда делегации прибудут?

Заикаясь, Молотов пересказал суть разговора – когда он держал речь или общался с подчиненными, дефект почти не давал о себе знать, но стоило ему явиться пред грозные очи Сталина, к тому же с плохими новостями, как у него сразу возникали трудности с артикуляцией.

Чем ближе к концу доклада, тем больше он чувствовал, как кабинет заполняется электричеством. Семейная жизнь есть семейная жизнь, случалось, Полина выпускала когти, но что ее раздражение по сравнению с бешеным гневом, которым иногда буквально исходил Сталин. Однако на сей раз Коба сумел овладеть собой.

- Понятно, - буркнул он, когда Молотов закончил. – Продолжают тактику затягивания.

Молотову оставалось только согласиться. Сталин всегда находил самые точные слова для характеристики создавшегося положения, это плюс знание людей и делало Кобу незаменимым, никого другого во главе страны Молотов представить не мог. Если бы эту должность в свое время занял Троцкий, была бы полная катастрофа, если бы Бухарин или Зиновьев - тоже, только иначе, оно было бы смеху подобно! О себе как о возможном преемнике Молотов вообще не думал, он знал пределы своих способностей.

- И что мы теперь делать будем? – спросил Сталин.

- А что тут делать? Придется подождать, - ответил Молотов и добавил, поддавшись внезапному шутивому

настроению: - Или отправим им подводную лодку навстречу?

Сталин даже не усмехнулся.

- А состав делегаций они сообщили?

Молотов молча подал оба списка Сталину. Тот взял их, стал изучать, и Молотов увидел, как в нем снова просыпается гнев.

- Они что, издеваются над нами? – прорычал Сталин, швырнув списки обратно, да так, что листки упали на ковер и Молотову пришлось их подбирать. – Ты вообще заглянул в них? Ты, Мистер-Твистер, внешний министр? Здесь нет ни одного значительного человека, только захудалые адмиралы и жалкие профессора военных школ, которым надо спрашивать разрешения из Лондона и Парижа даже на то, чтобы сходить в сортир.

Молотов был привычен к вспышкам ярости Сталина, после смерти Нади он, Молотов, стал громоотводом для Кобы. Сносить эти припадки было нелегко, но Сталина тоже можно было понять, груз его ответственности был огромен.

- Да я понял, - соврал Молотов привычно, - но что я мог поделаться? Не я же составил эти делегации. У нас просто нет выбора, придется говорить с теми, кого сюда посылают.

- Да, выбора у нас действительно нет, - согласился Сталин неожиданно легко – слова Молотова как будто отрезвили его, вернули на землю.

- Ну что ж, - продолжил он после короткой паузы, - по крайней мере, мы должны сделать все от нас зависящее, дабы не возникло промедления потом. А что для этого нужно? Нужно, чтобы к прибытию делегаций проект договора был уже готов. Очень конкретный проект, где были бы точно обозначены все принципиальные моменты. Садись, бери ручку и записывай.

Ручка у Молотова всегда была при себе, Сталин часто диктовал ему свои указания. Бумагу Сталин дал ему сам, вынув несколько листов из ящика своего стола, затем встал и принялся ходить по кабинету. На некоторое время воцарилась тишина, Сталин размышлял, потом начал.

- Если Германия и Италия нападут на Францию или Англию, то Советский Союз выставит... – он секунду подумал... – два миллиона человек. Я думаю, этого достаточно.

- Вполне, - прокомментировал Молотов. Сталин любил жесты, можно было назвать и меньшую цифру.

- Но чтобы эта помощь дошла до места назначения, необходимо оговорить два условия: во-первых, наша наземная армия должна иметь возможность пройти через территорию Польши, уточни там, что мы имеем в виду только Галицийский коридор, и, во-вторых, нам нужен контроль над балтийскими портами.

- Относительно Галицийского коридора они наверняка скажут, что это зависит не от них, а от Польши, - вставил Молотов. – Что Польша независимое государство, и ей самой решать, пропустит она чужие войска через свою территорию или нет.

- Ничего, надо будет, объяснят Польше, что и как. А если Польша не послушается, тем хуже для нее. Не придем мы, придет Гитлер. Он разрешения спрашивать не станет.

Молотов вздохнул: Сталин мог требовать чего угодно, ему-то что, переговоры ведь вел не он.

- С балтийскими портами то же самое, - продолжил Сталин, – как мы можем воевать с Германией на море, если нам не выбраться из Финского залива? Англия, как морское государство, должна бы это понимать.

- Англичане боятся за независимость балтийских стран, - возразил Молотов.

Сталин только буркнул презрительно:

- От этой независимости все равно скоро и запаха не останется, Гитлер приберет к рукам всю эту мелюзгу за полдня. Чего мы позволить не можем. – Он кивнул в сторону Ленина, читавшего на стене газету. – Ильич был человек мудрый, но в одном он ошибся: отдавать прибалтийские провинции было нельзя. Это плацдарм, с которого на нас легко напасть. Крепкий человек может из-за Наровы помочиться на стены Смольного.

Молотов даже вздрогнул – Сталин иногда выражался очень грубо.

Сталин диктовал еще довольно долго, так что к концу у Молотова онемела рука, но зато, вынужден был он признать, получился вполне приличный проект, подписать который можно хоть завтра; предусмотрено оказалось все, даже что последует в случае, если Германия нападет на Польшу и Румынию, ну и, естественно, выдвигалось условие, что Англия и Франция должны прийти на помощь, если Гитлер атакует Советский Союз с территории Финляндии, Эстонии или Латвии.

Спрятав ручку, он вручил Сталину доклад Астахова и уже выходил из кабинета, когда его неожиданно окликнули:

- Молотштейн! На, тут что-то для тебя.

Молотов взял протянутый лист бумаги и хотел сразу же начать читать, но Сталин не дал.

- Иди, иди, считаешь у себя.

В коридоре Молотов встретил нервного Ворошилова, которого вызвал Сталин. Клим остановился, его интересовало, зачем он понадобился, Молотов не стал долго объяснять, сказал только, что вызов, скорее всего, связан с будущими переговорами – Клим, как нарком обороны, был назначен руководителем советской делегации. Успокоенный, Ворошилов пошел дальше, Молотов же отправился напрямик в свой кабинет. В приемной сидело несколько посетителей, директор семенного фонда, кто-то еще, но Молотов не стал их вызывать, он хотел сначала прочесть бумагу, которую ему дал Сталин и на которой он успел заметить подпись Берии.

Сев за стол и открыв кожаную папку, он сразу почувствовал, как кровь хлынула ему в голову. Интуиция не обманула его, он сразу распознал оттенок злорадства в голосе Сталина, да и Молотштейном его назвали не случайно – Сталин дразнил его так тогда, когда хотел подчеркнуть национальность Полины. Не то чтобы Сталин был антисемитом, нет, как и Молотов, он не имел ничего против старых большевиков-евреев, по крайней мере тех,

кто не поддержал авантюры Троцкого или Зиновьева с Каменевым; но что верно, то верно: после победы революции евреи – новые евреи, те, которых в дни борьбы не было ни слышно, ни видно – заняли в комиссариатах, да и других учреждениях, например, банках, непропорционально много ответственных должностей. Молотов хорошо помнил, как прошлой осенью на совещание были вызваны два заведомо комиссариата иностранных дел, одного звали Вайнберг, а другого Вайнштейн. Который из них курировал Англию, который Францию, Молотов забыл – но помнил, как Сталин потом буркнул:

- Этот литвиновский кибуц надо разогнать.

И скоро наркоминделом назначили его, Молотова.

Но какое к этому имела отношение Полина? Уж Перл-то никак нельзя было отнести к «евреям-карьеристам», в молодости она работала на папиросной фабрике - занятие тяжелое и вредное для здоровья, потом кассиршей в аптеке, участвовала в гражданской войне, училась на рабфаке, да и с происхождением у нее, в отличие от мужа, был полный порядок: дочь портного. Тому, что она потом стала директором парфюмерной фабрики, таланты Перл способствовали не меньше, чем положение Молотова; она была очень умной женщиной, и Молотов часто думал, что своим восхождением в Председатели Совнаркома он во многом, если не всецело, обязан Полине – он имел обыкновение обсуждать с Перл каждую хоть в какой-то степени сложную проблему, и советы жены неоднократно помогали ему выбраться из затруднений. Однако некоторые слабые места у Полины, конечно, были. Во-первых, сестра-сионистка, которая не придумала ничего умнее, чем бежать во время гражданской войны в Палестину создавать там еврейскую колонию, а во-вторых, Карп, братец, который добрался аж до Нью-Йорка, начал с нуля и каким-то образом разбогател. Имея такую родню, надо бы быть поосторожнее, и Молотов неоднократно пытался жене это внушить, но Перл то ли из тщеславия, то ли от чрезмерной убежденности в своей

неприкосновенности как первой леди страны, не выбирала круг общения - или, вернее, выбирала, но не тех, кого предпочла бы, следуя она велению совести партийца, а всяких подозрительных субъектов из интеллигенции и театральных деятелей, в первую очередь, конечно, евреев.

Молотов снова вперил взгляд в черные машинописные строчки. «Нарком рыбной промышленности Полина Жемчужина (Перл Карповская) поддерживает сношения с шпионскими элементами...» Кого Берия мог под этими элементами подразумевать? Мейерхольда? Возможно, что его, но не исключено, что и кого-то другого, театр - заведение опасное. «Будь осторожна, они ищут твоей дружбы, потому что надеются на твою поддержку», - предупреждал Молотов жену всякий раз, когда ту приглашали на очередную премьеру, но разве Перл слушалась? Перл нравилось разыгрывать из себя патронессу, помогать то одному режиссеру, то другому, и вот результат.

Теперь стало понятно, почему Полина утром была взволнована, наверно, она уже слышала от кого-то, что на нее стряпают донос (на Лубянке тоже хватало евреев, хотя за последние пару лет многих оттуда выгребли). Просто жена не хотела ему об этом говорить, надеялась, что все утрясется само собой. Как она могла быть так глупа? Ничто не утрясалось «само собой», ни во времена Ягоды, ни Ежова, ни сейчас, при Берии. Сколько ему, Молотову, пришлось подписать расстрельных списков? Сто? Двести? Нет, больше, намного больше – далеко за триста.

Он хотел снять трубку и позвонить Полине, но сдержался: было очевидно, что телефон Перл прослушивается, и не исключено, что его тоже. Страх охватил его с новой силой – в самом деле, почему он счел, что это касается только Перл? Они же были неразлучной парой, Сталин даже дразнил Молотова его моногамией, пару раз и вовсе пытался всучить ему своих бывших любовниц, так что, если Полину арестуют, на следующий день могут прийти и за ним. Кто знает, может, на столе Сталина лежала еще одна докладная Берии, касавшаяся

его, Молотова, просто ее ему не показали? С ужасом Молотов вспомнил, что Сталин давеча назвал его Мистером-Твистером. В тот момент он пропустил реплику Кобы мимо ушей, но сейчас понял – ну, конечно же, «Мистер-Твистер, *бывший* министр». Сталин никогда и ничего не делал и не говорил просто так, каждое его слово имело тайный смысл.

Руки Молотова затряслись, им овладела паника. О Господи, почему он не остался у родителей, с чего ему взбрело в голову поехать в Казань? Там в реальном училище все и началось, там его заманили к большевикам – его, совершенно обычного, далекого от политики парня из хорошей семьи. И завертелось – подпольщина, ссылка, революция – кому это было нужно? Пошел бы он по стопам отца, был бы сейчас... да, и кем же он был бы? Купцом, как дед? Но купцов давно перебили. Так что выбрал он таки правильно, и все было бы превосходно, если б не необходимость готовиться к войне. Лет десять назад дни текли совсем по-другому, спокойно и приятно, жизнь была удовольствием. А потом как началось... Конечно, он понимал необходимость многих шагов, надо было усилить государственную власть, надо было, чтобы народ не роптал, хотя из-за производства военной техники прочие нужды оставались неудовлетворенными, да и единство следовало крепить, слишком много развелось болтунов-критиканов – но обязательно ли все это должно было принять столь ужасный вид? Неужели нельзя было действовать как-то помягче, меньше казнить и больше отправлять в лагеря, рабочие руки все равно ведь были нужны? В один момент дошло до того, что в страхе были все, даже сам Сталин не чувствовал себя в безопасности, не говоря о нем, Молотове. Потом наступило затишье, на мартовском съезде Сталин публично оповестил, что с чисткой покончено – неужели все начнется сначала? И по кому теперь нанесут первый удар, не по нему ли? Разве его спасет то, что он второй человек в государстве – мало ли этих «вторых лиц» отправили на тот свет? Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, никто не уцелел, один Троцкий

затаился где-то в Южной Америке, но настанет и его черед, Молотов был в этом убежден. Сталин не щадил тех, кого числил своими врагами.

Но он – он же про Сталина никогда дурного слова не сказал? Неужели Коба отправит и его туда, откуда нет возврата? Граница между жизнью и смертью была так тонка; Молотов даже не очень хорошо помнил, кто из старых товарищей еще по одну сторону, а кто уже по другую. Пятаков, Рудзутак, Енукидзе – живы они или мертвы? Нет, мертвы, расстреляны. За что? Одни за оппозиционную деятельность, другие из-за того, что вообразили, будто советская власть дала им право устроиться в дачах с десятками комнат. Сталин правильно поступал, искореняя мелкобуржуазный образ жизни – да, но опять-таки, при чем тут он, Молотов, человек с самыми скромными потребностями?

Он почувствовал, что еще немного, и сойдет с ума. Имена и лица мелькали перед глазами: расстрелян, расстрелян, расстрелян – десятками, сотнями, тысячами, кровь выплеснулась из чернильницы и залила стол, утопив писульку Берии, в воздухе летали бумажные самолетики Ежова. Кто мог за него заступиться на заседании Политбюро? Каганович? Лазарь был первым мужем Полины, правда, брак этот длился так недолго, что многие о нем даже не слышали, но они-то сами знали, потому относился Лазарь к своему преемнику неоднозначно. С одной стороны, своей карьерой он был обязан именно Молотову, разве мог иначе подобный абсолютно невежественный человек чего-то достичь, но с другой, Лазарь наверняка понимал, что в Нижний его отправили, чтобы, так сказать, не путался под ногами. Ворошилов? Клим никогда в жизни не осмелился бы сказать хоть слово в поддержку, у него самого дома была его Голда. Анастас? За расстрел Микоян точно не проголосует, он человек мягкосердечный, стоило немалого труда навязать ему десяток, не больше, расстрельных списков, отбивался, говорил, что «некомпетентен»; да, все так, но надеяться,

что партнер по теннису и кеглям возьмется его защищать, Молотов не стал бы.

В конечном результате все зависело от Сталина. Как Коба скажет, так и будет. Захочет - поставит их с Полиной к стенке, захочет - скомкает донос Берии и бросит в корзину.

Именно в ту минуту, когда он гадал, какие выводы сделает старый товарищ по поводу «сношений» его жены «со шпионскими элементами», зазвонил телефон, и до тошноты знакомый голос сказал:

- Молотошвили? А ну-ка топай сюда еще раз.

- Сядь, - скомандовал Сталин, и когда Молотов выполнил приказ, спросил без вступления: - Скажи, что ты об этом думаешь? Можно им доверять?

Сначала Молотов вовсе не понял, о чем идет речь. «Кому можно или нельзя доверять, Берии, что ли?» - подумал он судорожно. Но почему Коба пользуется множественным числом? Или он имеет в виду Лубянку в целом? Только когда он заметил лежащий перед Сталином доклад Астахова, до него стало доходить.

- К-кому доверять? Ас-Астахову?

- Гитлеру и Риббентропу, дубина!

От ругательства была та польза, что Молотов пришел в себя и смог более или менее четко оформить свои мысли: немцы, сказал он, уже несколько месяцев болтают, необходимо, мол, улучшить отношения, но верить им не стоит, поскольку фашизм это фашизм, и возник он именно с целью уничтожить коммунизм и коммунистов, в чем Гитлер, кстати, немало и преуспел.

- Это все я знаю, - сказал Сталин с досадой, - меня интересует другое. Неужели они действительно готовы заключить такой пакт, который дал бы нам свободу рук в отношении Прибалтики и снял японскую проблему?

Молотов задумался. С одной стороны, он не верил ни одному слову Гитлера, ни устному, ни письменному – разве тот торжественно не клялся, например, ограничиться Судетами? Но, с другой стороны, он не хотел выглядеть чересчур уж пристрастным – ведь, как «Молотштейн», он

должен был относиться к антисемиту Гитлеру со страхом и предубеждением.

- Ну, что касается Японии, то это может даже так и быть. Что им стоит сказать макакам, чтобы те на какое-то время оставили нас в покое.

Он хотел еще добавить, что другое дело, захотят ли внять этому совету «макаки», но Сталин опередил его.

- Именно, - щелкнул он пальцами. - Это им действительно ничего не стоит. А для нас это важно. Не говоря уже о Прибалтике.

Сталин встал и снова принялся ходить по кабинету.

- Подумаем трезво, - сказал он, - мы уже какое-то время стараемся сколотить антигитлеровскую коалицию с Англией и Францией. Почему мы это делаем? Потому ли, что эти страны - наши естественные союзники? У пролетарского государства союзников нет, только враги. Англия и Франция ненавидят нас точно так же, как и Германия, они только хитрее, не показывают этого столь явно. Все время переговоров они отстаивали собственные интересы. Но разве мы филантропы какие-нибудь; у нас что, нет своих интересов?

На этот вопрос Молотов ответ имел.

- Наш интерес состоит в том, чтобы война не началась до того, как мы будем к ней готовы.

Этот разговор, несколько варьируя его словесное оформление, они вели уже много лет – ибо в том, что однажды война разразится, сомнений не было давно. Если не с Германией, то с Японией, если не с Японией, то хотя бы с Польшей, но с кем-то когда-нибудь непременно завяжется драка, так сильно все боялись и ненавидели Советский Союз. Боялись, ибо знали, что это не обычное государство, а модель нового миропорядка. Все их с Кобой свершения последних лет, индустриализация и коллективизация, борьба с вредителями и шпионами, - все имело целью укрепление оборонной мощи. Даже чистка среди генералов, как ни парадоксально, служила тому же, поскольку сильной может быть только та страна, в которой царит железная дисциплина, Россия, по крайней мере,

могла быть сильной только в таком варианте. Надо было убрать с дороги не только троцкистов, но вообще всех явных и скрытых врагов, а на остальных навести такой страх, чтобы никому не пришло в голову саботировать строительство оборонной промышленности - искушение безусловно имеющее место быть, ведь в стране не хватало даже предметов первой необходимости. В какой-то степени они этого добились, государство за это время набралось сил, но далеко не настолько, насколько необходимо.

- Верно, - согласился Сталин. – Но если мы хотим создать коалицию только для того, чтобы выиграть время, какая тогда разница, с кем именно мы ее создадим? Чем пакт с Германией хуже, чем с этими лордами и лягушатниками?

Молотов задумался. Можно было опять-таки очень эмоционально возразить, мол, как же так, разве коммунисты могут пойти на сговор с фашистами, но что-то внутри подсказало ему, что Сталин ждет иного ответа.

- Принципиально, конечно, большой разницы нет, - сказал он наконец. – Проблема в другом. Всякий раз, когда Шуленбург приходил с разговорами об улучшении отношений, о сближении позиций, я спрашивал, как он конкретно себе это представляет, на каком политическом базисе такое сближение должно основываться. Но он так и не сумел мне ничего внятного сказать. Распространялся о тезисе Бисмарка, мол, у Германии все пойдет хорошо тогда, когда она будет в хороших отношениях с Россией, и плохо, когда в плохих, но это же нельзя принимать всерьез. Мир со времен Бисмарка очень уж изменился. Как мы можем заключить договор с немцами, когда они не готовы признать право коммунизма на существование? Народ нас не поймет.

- Да, такая проблема есть, - согласился Сталин неожиданно легко. – Но, я думаю, главное не это.

Он остановился перед маленьким столиком, на котором, накрытая стеклянным колпаком, лежала посмертная маска Ленина.

- Благодаря чему мы с тобой сейчас тут, в Кремле? Благодаря тому, что Ильич не презрел помощь немецкой разведки. Он брал у них деньги и к тому же, говоря бюрократическим языком, воспользовался их транспортными средствами, чтобы добраться до родины. И это в ситуации, когда между Германией и Россией шла война. Что мы можем из этого вывести? Что цель оправдывает средства.

Он снова стал ходить по кабинету.

- Главное, чтобы дело имело смысл, - продолжил он, - а это зависит от того, что произойдет после заключения пакта. Одно уже, кажется, ясно, Гитлер нападет на Польшу. Ладно, Польша это заслужила. Я думаю, долго она не продержится. А это означает, что если мы примем предложение Риббентропа и выведем свои войска на линию Керзона, тогда у нас примерно... примерно через месяц будет общая граница с Германией. Это очень опасно – но только в одном случае: если на Западе воцарится мир. В подобном случае Гитлер может напасть на нас хоть будущей весной. И если это произойдет, то мы будем в таком дерьме, что и вообразить трудно. Но если англичане сдержат слово и объявят Германии войну, как обусловлено их договором с Польшей, и если к ним присоединятся еще и французы, тогда мы выиграли. Тогда...

Сталин умолк и даже остановился, как будто ему в голову пришла какая-то особо важная мысль. Что именно, спрашивать не стоило, Коба все равно не ответил бы, его скрытность была выше всякой меры.

- Англичане никогда не смирятся с тем, чтобы Германия расширилась за счет Польши, они уже историю с Чехословакией проглотили с трудом. Это против их принципов – они не могут позволить чрезмерно усилиться ни одной континентальной стране, - сказал Молотов.

Сталин поднял взгляд и долго смотрел на Молотова.

- А ты, Молотошвили, вовсе не такой простак, каким кажешься, - сказал он вдруг весело.

Он вернулся к столу и сел, и по тому, как именно он это сделал, спокойно и уверенно, Молотов понял, что Коба пришел к какому-то решению.

- Вот что, - сказал Сталин, - вызови-ка в Кремль Шуленбурга. Поговори с ним, попытайся выяснить, как Риббентроп представляет себе этот пакт. И пожалуйста, не очень официально. Будь человечнее.

«Будешь человечным, когда Берия точит на тебя зубы», - подумал Молотов мрачно и поднялся. По интонациям Сталина он заключил, что совещание завершено.

Коба словно учуял его мысль.

- Молотошвили! – позвал он и, когда Молотов остановился и обернулся, продолжил с усмешкой: – Я забыл спросить, что ты думаешь о докладной Берии?

«Он играет на мне, как на мандолине», - подумал Молотов с ужасом. На лбу его выступил холодный пот, он не знал, что ответить. Защищать Полину? Доказывать, что она невинна, как ангел небесный? А если кто-нибудь на допросе сказал про Перл что-то эдакое?

После быстрого, но сверхнапряженного взвешивания он нашел, по его мнению, достаточно нейтральный ответ.

- Товарищ Сталин, мне трудно сформулировать точку зрения, поскольку я в этом вопросе не беспристрастен.

Сталин поднял взгляд, и Молотов заметил в его карих глазах что-то похожее на плохо скрываемое презрение.

- Ну, кто из нас может быть беспристрастен, если речь идет о судьбе любимой жены, - сказал Сталин с издевкой. – Я бы тоже не мог. Но лично мне кажется... Я, конечно, очень субъективен, но все-таки. По-моему, обвинения товарища Берии – как бы поточнее выразиться? – надуманы. Я не верю, что товарищ Жемчужина могла вступать в сношения с иностранными шпионами. Или как?

- Я тоже не верю, - поспешил согласиться Молотов.

- Но это решать, конечно, не нам двоим, а Политбюро. Завтра и послезавтра у нас на такие вещи времени нет, но, допустим... – Сталин заглянул в настольный календарь. – На следующей неделю поставим этот вопрос в повестку дня. Можешь так и сказать товарищу Жемчужине.

«Обошлось», - подумал Молотов с бесконечным облегчением. По крайней мере, на этот раз обошлось.

- Благодарю, - ответил он лаконично, понял сразу, что само слетевшее с языка слово неуместно, но поправлять себя не стал, просто повернулся и вышел.

Риббенсноб

Добравшись до Вильгельмштрассе, Риббентроп сразу велел соединить себя с Чиано.

- Галеаццо, друг мой! Очень извиняюсь, но приехать в Бреннер я не смогу.

Он выдержал короткую паузу, надеясь, что Чиано спросит, почему, но зять Муссолини, молодой олух, сделать это то ли не догадался, то ли не осмелился, и Риббентроп вынужден был пояснить сам:

- Через час я вылетаю в Москву.

Эффект, несмотря ни на что, был полный; Чиано в ответ смог только пробормотать нечто невразумительное. Попросив передать дуче свои «наигорячие приветствия», довольный Риббентроп завершил разговор.

Дальше следовала менее приятная часть союзнических отношений: Осима. Риббентроп велел позвать посла и после обычных формул вежливости – при общении с японцами следовало тщательно соблюдать церемонии – объявил новость. Лицо Осимы, и так напоминавшее маску, окаменело совсем и стало гранитно-серым, в его маленьких карих глазках появился безмолвный вопрос.

- Япония уже полгода тянет с подписанием тройственного пакта, поэтому Германии ничего больше не остается, как гарантировать свою безопасность иначе, - объявил Риббентроп нервно.

Это, конечно, была демагогия, и Риббентроп стеснялся своих слов уже тогда, когда их выговаривал, но делать было нечего, во имя интересов государства порой приходилось поступаться принципами. «Когда-нибудь в

будущем я извинюсь перед ним», - решил Риббентроп, выпроваживая Осиму.

Приемная была полна мужчин с портфелями.

- Все собрались? – спросил Риббентроп, когда дверь за послом закрылась.

Наступила тишина.

- Шнурре еще нет, - сообщил кто-то.

- Пошел за зубной щеткой, - прокомментировал другой.

- А Шмидт?

- Здесь! – немедленно ответил взволнованный голос.

Риббентроп бросил презрительный взгляд на молодого человека, наверно, кого-то из журналистов, которому не пришло в голову, что его никчемная личность никак не могла вызвать такого внимания министра иностранных дел.

- Я имел в виду переводчика, - сказал он ледяным голосом.

- Я тут, господин министр.

Шмидт, как всегда, скромно держался у стены, поэтому Риббентроп его сразу не приметил.

- Гут, - сказал он и посмотрел на часы. – Через пять минут выезжаем. Если Шнурре к тому времени не явится, пусть пеняет на себя.

На самом деле Шнурре свою работу уже завершил: торговое соглашение было подписано вчера.

Он вернулся в кабинет и стал поспешно запихивать в портфель бумаги, которые могли понадобиться в Москве.

В Темпельхофе они проехали прямо на бетонную полосу, где ждал готовый к вылету «юнкерс». Рядом с самолетом потела под послеобеденным солнцем группа мрачных плечистых людей в штатском.

- Это еще что за компания? – спросил Риббентроп недовольно.

Голиафы, как один, вскинули руки вверх.

- Хайль Гитлер!

Риббентроп ответил на приветствие и выслушал объяснение командира.

- Нас послал Гиммлер. В список нас внесли как технических работников, но на самом деле мы должны гарантировать вашу безопасность в большевистской столице.

- Да, я знаю, - сказал Риббентроп с легким оттенком скуки. – Но почему вас так много?

- Таков приказ, - лаконично ответил эсэсовец.

- Ну ладно, - снизошел Риббентроп, - может, это даже хорошо. Произведем более внушительное впечатление.

Это не соответствовало истине; ничего внушительного в эсэсовцах не было, без униформы они скорее смахивали на банду преступников – но в смысле безопасности это могло быть даже полезно.

Из «юнкерса» вылез пилот с озабоченным лицом.

- Господин штандартенфюрер, можно ли поинтересоваться, сколько в итоге будет пассажиров? – спросил он после того, как оба они пожелали здоровья Гитлеру.

- Сколько нас? – переадресовал Риббентроп вопрос Шнурре, который прибежал-таки в последний момент.

Шнурре пересчитывал делегацию добрую минуту.

- Тридцать шесть.

Пилот что-то сказал, но Риббентроп не слушал его, он, как замороженный, следил за машиной, которая бешено мчалась прямо к самолету – он узнал лимузин Гитлера.

«Да ведь фюрер остался в Бергхофе», - удивился он.

Мистика рассеялась, когда машина затормозила и из нее вылез худой и длинный человек с порочным лицом, с фотоаппаратом на шее и штативом подмышкой.

«Только его тут не хватало», - подумал Риббентроп зло. Он терпеть не мог Гофмана, как вообще не терпел шайку Гитлера времен мюнхенских пивных залов, этих подозрительных типов темного происхождения и без признаков образования, занявших все тепленькие местечки вокруг фюрера и, по мнению Риббентропа и не только его, оказывавших на Гитлера дурное влияние.

- Фюрер попросил, чтобы я лично запечатлел историческое событие, - сообщил Гофман высокомерно.

- Абернаторлих, герр Гофман, - ответил Риббентроп сладко – ссориться с личным фотографом Гитлера было почти то же самое, что ссориться с самим фюрером.

- Вместе с Гофманом тридцать семь, - констатировал Шнурре.

Пилот кашлянул, и Риббентроп снова заметил его.

- Мне очень жаль, господин штандартенфюрер, но столь тяжелый груз самолет не поднимет, - сообщил пилот.

- Что же делать? - занервничал Риббентроп.

- Можем лететь на двух «кондорах» - предложил пилот.

- Ну так летим! Только, пожалуйста, побыстрее! До темноты мы должны быть в Кенигсберге. Шнурре...

Шнурре понял его без слов; понял мимику Шнурре и Риббентроп.

- Эй, вы! – окликнул он шофера Гитлера, который готовился уехать. - Окажите услугу, мы очень спешим.

Когда лимузин со Шнурре и пилотом свернул к зданию аэропорта, Риббентроп закурил сигару и огляделся.

- Гаус! – окликнул он.

Гаус вздрогнул и подошел.

- Гаус, в самолете сядете рядом со мной. Нам надо подготовить проект пакта.

- Русские прислали нам свой стандартный текст, с которым они уже работали в других случаях, это должно годиться, с небольшими уточнениями, конечно, - начал Гаус, но Риббентроп нетерпеливо прервал его:

- Я знаю! Речь идет о дополнительном протоколе.

Профессор спал с лица.

- Что он должен содержать?

- Примерно те же пункты, которые мы обсуждали весной на моей вилле, - объяснил Риббентроп снисходительно и отвернулся.

- Да-да, понимаю, - пробормотал Гаус, отходя.

«Бедняга, - подумал Риббентроп, - ну почему он женился на еврейке. Отличная карьера, заведующий юридическим отделом министерства иностранных дел – а покоя нет».

Со стороны здания аэропорта показалась машина, - уже не лимузин Гитлера, а открытый джип. Когда он доехал, из

него, кроме Шнурре, вылез лысый человечек, в котором Риббентроп узнал директора Темпельхофа.

- Хайль Гитлер! – заорал директор, целясь рукой в безоблачное небо.

«Майн готт, когда это кончится», - подумал Риббентроп со скукой, небрежно отвечая на приветствие. После того, как вся английская пресса подняла его на смех за то, что он вскинул руку на церемонии коронации нового короля, он уже терпеть не мог этот украденный у итальянцев жест.

- Господин штандартенфюрер, поезжайте к вон тем самолетам, - показал директор в дальний угол аэродрома. - Все готово, можете сразу стартовать.

Когда поднялись в воздух, и первый страх перед падением миновал, Риббентроп стал давать Гаусу указания.

- Фюрер сказал, что мы можем предложить Сталину столько, сколько понадобится, чтобы он подписал пакт. Но, - добавил он, – нет смысла отдавать больше, чем русские попросят. Как говорится в коммунистическом учении, каждому по потребностям. Поэтому мы должны подготовить несколько проектов. Если первый Сталина не удовлетворит, мы сделаем вид, что идем составлять новый, а на самом деле просто вытащим из кармана следующий вариант.

- Можно ли поинтересоваться, что именно мы собираемся Сталину предложить?

- Естественно, территории, - сказал Риббентроп нервно. Не хватало только, чтобы профессор по международному праву принялся бы ему здесь, в самолете, читать мораль. Но Гаус только покорно кивнул и открыл портфель.

- Я боюсь, что у меня нет с собой чистой бумаги, - сказал он, порывшись во внутренностях портфеля.

Риббентроп оглянулся.

- Хевель! Пожалуйста, отыщите где-нибудь шляпу и выньте из нее кролика, другими словами, достаньте пару листов бумаги.

Через несколько секунд Хевель просунул руку между спинками кресел.

- Прошу, господин министр!

- Еще бы нам пригодилась карта Европы, - добавил Риббентроп.

Карту передали столь же быстро.

«Если бы он был так же проворен у Гитлера», - подумал Риббентроп с сожалением; впрочем, он понимал проблемы Хевеля: иметь дело с Гитлером было нелегко.

- Первое предложение, самое скромное, будет такое, - начал он, открывая карту. – Советский Союз получит восточную часть Польши примерно до линии Керзона, Финляндию, Эстонию и ту часть Латвии, которая находится на север от Риги.

Гаус начал писать, но сразу же остановился.

- Господин министр, это не совсем согласуется с нормами международного права.

«Майн готт, - подумал Риббентроп, - начинается». Но Гаус быстро уточнил свою мысль:

- Я имею в виду слово *получит*. Нельзя ли это сказать как-нибудь завуалированно? Образно? Обе договаривающиеся стороны и так понимают, что на самом деле имеется в виду.

Риббентроп секунду подумал, и у него возникла гениальная идея.

- Напишите: те и эти территории *отойдут в сферу интересов* Советского Союза, - сказал он.

Он не стал говорить Гаусу, что услышал эту формулировку от Гендерсона в одну из тех последних встреч, когда английский посол приходил торговаться насчет Польши.

Какое-то время они возились с первым проектом, отыскивая реки, по которым проходила линия Керзона, и выписывая отдельно те острова и порты Балтийского моря, которые, как они знали, Сталин особенно желал иметь, чтобы обеспечить себе выход из Финского залива; потом, хладнокровно расчленив Румынию, набросали второе, весьма простое предложение, и, наконец, добрались до самой жирной наживки.

- Вообще-то фюрер полагает, что любой русский государственный муж уже должен был бы удовольствоваться предложенным, они ведь получают обратно почти все, что потеряли после революции. Но если Сталину этого покажется мало, я имею мандат фюрера отдать ему Дарданеллы и Константинополь.

И они снова зарылись в бумаги.

Вскоре стемнело, освещение в самолете было тусклым, и работу пришлось прервать. Риббентроп поглядел в иллюминатор, но увидел внизу только серые волны Балтийского моря.

- Не свинство ли, что добраться до города, расположенного на территории нашего государства, мы не можем иначе, как кружным путем? – сказал он громко. – Почему нам нельзя лететь прямо? Или, более того, ехать, если позволяет время, на машине или на поезде – и без того, чтобы нас унижали какие-то славянские пограничники. Фюрер прав: Версальский пакт - это преступный сговор, целью которого было не только поставить Германию на колени, но и уничтожить ее. Знаете ли вы, Клайст, - обратился он через проход к референту по восточным вопросам, - что меня назначили членом делегации, которая должна была ехать в Компьенский лес? Но когда я прочел текст договора, я порвал его и сообщил, что ноги моей там не будет.

- Да, господин министр, - кивнул Клайст, но Риббентроп так и не понял, что именно референт хотел этим сказать; то ли он одобрил поступок начальника, то ли просто пытался напомнить, что слышал уже эту историю раньше.

В Кенигсберге Риббентроп, к огорчению Коха, приехавшего на аэродром встречать делегацию, велел ехать прямо в гостиницу.

- Терпение, мой друг, - сказал он Коху в утешение, - ждать уже недолго, скоро две части Германии, большая и малая, воссоединятся.

В гостинице он позвал Гауса к себе в номер.

- Сейчас я найду машинистку, и мы все это отпечатаем в беловом варианте, - сказал он.

Профессор заморгал.

- Господин министр, не лучше ли, если работники канцелярии не будут знать о существовании дополнительных протоколов?

«Трус, - подумал Риббентроп, - трясется над своим престижем». Но спорить не стал.

- Как вам угодно, - сказал он холодно и пошел в коридор, где Клайст как раз отпирает дверь в соседнюю комнату.

- Клайст, - сказал он, - вы печатать умеете?

- Двумя пальцами.

- По мне, хоть носом. Раздобудьте где-нибудь пишущую машинку и приходите в мой номер.

Пока Гаус диктовал Клайсту текст протоколов, Риббентроп перебирал рапорты Шуленбурга, которые захватил с собой с Вильгельмштрассе.

- Не понимаю, как долго еще фюрер собирается терпеть этих бывших, - скорчил он гримасу, - это же не рапорты, а сентиментальный роман. Вы только послушайте, что пишет граф. «Сталин – мистическая личность». Какой мне толк от подобных сведений? Мистическая личность! Я не Гесс, я не собираюсь проводить с ним спиритические сеансы, я собираюсь вести переговоры.

Когда небо стало розоветь, все три проекта были готовы.

После трехчасового полета ландшафт внизу стал слегка холмистым.

- Какую замечательную площадку для гольфа здесь можно было бы устроить, - воодушевился Риббентроп.

И затылком почувствовал, как заухмылялись подчиненные. «Надо же было такое ляпнуть», - рассердился он на себя; он знал, что в министерстве за спиной его называют Риббенснобом.

Вскоре настроение на борту стало нервным, «технические работники» зашмыгали взад-вперед, поправляя спрятанные под пиджаками кобуры.

«Действительно, кто знает, чем все кончится?» - подумал Риббентроп. В отличие от Розенберга, он в России не жил и ни одного настоящего большевика не знал;

дипломатические работники не в счет, им - и этим, как и всем прочим, присуща мимикрия. Тому, что коммунисты совсем уж людоеды, он все-таки не верил, Геббельс любил преувеличивать.

Аэродром, на котором они приземлились, был маленький и почти пустой. «А что, если это ловушка?» - пронзила Риббентропа неожиданная мысль. Сейчас подъедут грузовики с красноармейцами и...

Мужественно он, взяв портфель, первым подошел к выходу.

- Вы уверены, что мы сели в правильном месте? – спросил он шутливо пилота, стоявшего в дверях кабины. – Мне это напоминает скорее лапландскую тундру.

Сомнения рассеялись только тогда, когда среди приближающейся к самолету группы мужчин он заметил массивную фигуру Шуленбурга. Но где Молотов? Риббентроп не встречался с новым министром иностранных дел России раньше, но видел фото и был убежден, что узнает его – тот напоминал ему учителя немецкого языка и литературы в гимназии, в которой он учился.

Увы, оказалось, что Молотов приехать их встречать не соизволил. Разочарованный Риббентроп пожал руку заместителю Молотова, некому Потемкину, а затем заметил Россо. «Итак, и Галеаццо узнает, на каком уровне меня приняли на аэродроме», - уныло подумал он, здороваясь с итальянским послом.

Бросился в глаза немецкий флаг, лопасти намалеванной на нем свастики смотрели не в ту сторону, Риббентроп чуть было не выказал неудовольствие, но сообразил, что флаг наверняка шили впопыхах. Он живо представил себе молодых русских женщин, которые всю ночь крутили ручки «Зингера», и его настроение улучшилось.

Машина, в которую его посадили, была большой и неуклюжей.

- Сталин для вашей безопасности послал за вами свой личный бронелимузин, - объяснил Шуленбург.

В этой стране тоже бояться покушений, подумал Риббентроп. Ему казалось, что он начинает понимать Сталина, который ликвидировал всех своих политических соперников, и даже хитрее, чем Гитлер, законно, в судебном порядке.

После весьма долгой поездки въехали в город. Риббентроп смотрел по сторонам, набираясь впечатлений, чтобы позже пересказать жене – Аннелиза обожала его «путевые заметки».

«Как они плохо одеты», - подумал он, разглядывая москвичей. В Германии подобных оборванцев он не встречал даже в самые страшные годы безработицы. И с транспортом в столице России, кажется, были трудности, трамваи битком набиты, люди в буквальном смысле слова висели на подножках. Однако сам город его удивил, улицы были широкие, дома высокие, во всем чувствовалось масштабное архитектурное мышление. «Шпееру тут было бы чему поучиться», - пришел он к выводу.

- У нас возникли проблемы с размещением, - объяснил Шуленбург, когда они, наконец, добрались до места. – Прошу прощения, но мы не ждали, что делегация окажется столь многочисленной. Я обратился к советскому правительству с просьбой помочь, но они тоже оказались неспособны найти для вас резиденцию так быстро. В итоге мы решили, что вы будете жить в бывшем австрийском посольстве.

- Ладно, пусть так, в этом есть даже нечто символическое, - согласился Риббентроп великодушно.

- С продуктами в России сложности, но мне удалось заказать все необходимое в Стокгольме, - продолжил Шуленбург, когда они вошли в зал, где стоял накрытый к завтраку стол.

Риббентроп подошел к окну.

- Что это за дом? – спросил он с подозрением, заметив на здании напротив французский и английский флаги.

- Это гостиница, где остановились военные делегации Англии и Франции, - объяснил Шуленбург, - но сегодня они

уезжают, вчера русские прервали переговоры на неопределенное время.

Это была хорошая новость, Кремль как будто не собирался играть в двойную игру.

- В котором часу начнется первый раунд? – поинтересовался Риббентроп, - и кто нас примет, Молотов или сам Сталин?

Начало переговоров было назначено на завтра, кто именно будет представлять русских, Шуленбург не знал.

Риббентроп всерьез рассердился.

- До завтра я никак не могу ждать! – повысил он голос. – Я же телеграфировал, что в моем распоряжении лишь двадцать четыре часа!

Все, казалось, полетит к черту еще до того, как началось. Не мог же он здесь во всеуслышанье сказать, почему так страшно спешит – да потому, что войска на польской границе уже приведены в боевую готовность. Неужели прав был Гитлер, который неоднократно говорил, что с русскими невозможно иметь дело; но с кем тогда можно? С англичанами? Три года он пожертвовал на то, чтобы вывести бриттов из тумана – безрезультатно.

Шуленбург пошел звонить в Кремль, а когда вернулся, сообщил, что их ждут там через час.

Успокоившись, Риббентроп сел завтракать. «Главное, что встреча состоится», - подумал он, дальнейшее уже дело техники. Он как-никак был виноторговцем и привык уламывать покупателей.

- Как тут зимой, очень холодно? – спросил Риббентроп Шуленбурга, когда они на машине ехали в сторону Кремля.

- Достаточно, чтобы понять, почему Наполеон повернул обратно.

Скрытый в словах Шуленбурга намек не понравился Риббентропу. Бывшие остаются бывшими, подумал он и решил преподнести послу небольшой урок.

- Так что на коньках кататься можно?

- Кататься на коньках? – Шуленбург, казалось, был весьма озадачен.

- О да. Когда я жил в Канаде, это было моей любимой забавой, - пояснил Риббентроп доброжелательно. - У нас там была даже своя труппа танцев на льду «Минто Сикс».

Он расположился на сидении поудобнее и продолжил:

- Вы же знаете, я чуть было не стал канадцем, уже и невесту приглядел. Но когда началась война, не удержался, потянуло на родину. Бежать удалось с большими трудностями, пришлось пробираться через Штаты, иначе бы меня интернировали. С моим братом именно так и случилось, он остался в Канаде, был интернирован и умер в 1918-м – здоровье не выдержало условий содержания, они были чудовищные. Видите, какая странная штука судьба. Я всегда был более болезненным, чем брат. Почки. Так что, по всем признакам, первым должен был умереть я, но получилось наоборот. Бедный Лотарь!

Он удовлетворенно умолк.

- Да, быть интернированным отнюдь не сладко, - согласился Шуленбург. – Вы, наверно, знаете, через некоторое время после Марны меня перевели в Турцию. Мы не встречались, потому что вы служили в Константинополе, а я был на фронте. Сперва офицером связи, а потом, когда в Москве пришли к власти большевики, командовал грузинским легионом. Так что, когда мы капитулировали, англичане меня интернировали. Я долго сидел на острове Принкипо. Только после подписания Версальского пакта мне удалось добраться домой.

Беседа приняла нежелательное направление, и Риббентроп решил ослабить напряжение.

- И теперь два кавалера Железного Креста сидят в машине, которая везет их на переговоры с правящим в России грузинским большевиком, - заметил он весело.

- И надеются, что им удастся предотвратить следующую войну, - добавил Шуленбург подчеркнuto.

«Бедный дурак, - подумал Риббентроп, - будто ты не знаешь, что Польшу уже ничто не спасет».

Риббентроп сразу узнал Сталина, несмотря на то, что представлял его заметно выше ростом. Молотов тоже был здесь, и Риббентроп с первых же секунд пустил в ход все свое обаяние, чтобы вовлечь этих двух людей в ту особую жизнерадостную атмосферу, которая, по его мнению, должна была характеризовать встречи сильных мира сего. Попросив после обмена приветствиями слово первым, он говорил длинно и эмоционально: напомнил речь Сталина на весеннем партийном съезде, из которой Шуленбург вычитал, что советское правительство ничего не имеет против улучшения отношений с Германией; подчеркнул добрую волю как накрепчайший фундамент международных договоров; не забыл упомянуть о садистском характере Версальского пакта, нацеленного на унижение обеих переговаривающихся сторон, и даже нашел подходящие слова о том, что Молотов назвал «политическим базисом», доверительно сказав, опуская идеологические разногласия, что Гитлер с большим интересом и вниманием следит за изменениями, происходящими в Советском Союзе, и восхищен тем, как Сталину за короткое время удалось централизовать государство, что так явно показывает преимущество сильной власти перед демократией. В итоге, заключил он, ни по мнению Гитлера, ни по его собственному, в отношениях между Советским Союзом и Германией нет ни одной проблемы, которую нельзя было бы разрешить.

Когда он закончил, Сталин сказал только одно фразу:

- Ладно, посмотрим, что у вас за предложения.

Риббентроп чуть было не покраснел – он понял, что вступление было лишним. Он открыл портфель и выложил на стол первый из трех подготовленных проектов.

Сталин сразу оживился, велел принести карту и стал водить пальцем по границам, предложенным Гитлером. Риббентроп боялся, что после этого сосредоточенного и свойственного истинному государственному мужу действия последует долгая и утомительная торговля, но ошибся. Сталин сразу согласился почти со всем. Единственное исключение составляла Латвия, которую Сталин хотел

получить целиком вместе с Либавским и Виндавским портами.

- В сущности, - добавил он, - Советский Союз заинтересован и в Литве, но это может подождать.

Риббентроп развел руками: относительно Либавы и Виндавы у него полномочий не было. Но он быстро нашел выход:

- Я предлагаю сделать короткий перерыв. Мы поедем в посольство, я свяжусь с Гитлером и передам ему ваши пожелания. Я убежден, что фюрер готов идти на компромисс.

Договорились продолжить переговоры через три с половиной часа, в десять часов вечера.

С Гитлером проблем не возникло. Когда согласие было получено, Риббентроп позвал Гауса в свою комнату и под влиянием внезапного вдохновения продиктовал к пакту короткую преамбулу, которая рисовала новорожденную дружбу Германии и Советского Союза в самых возвышенных тонах.

- Я думаю, Сталину это понравится, - сказал он, прочитав текст.

Потом поужинали и снова собрались в Кремль.

- Шуленбург, можете взять с собой кого хотите из сотрудников посольства, ваши ребята это заслужили, без них не было бы и пакта, - предложил Риббентроп великодушно.

Ехали на нескольких машинах, кроме Риббентропа, Шуленбурга и Шмидта еще Гаус, некий Хильгер из посольства и, естественно, журналисты и фотографы во главе с Гофманом.

С последними согласованиями управились быстро, единственное, что Сталин отклонил, была как раз риббентропская преамбула.

- Я думаю, мы должны быть осторожнее, - сказал он, - и немцы, и советские люди привыкли, что мы черним друг друга. Если мы теперь заговорим о великой дружбе, нас могут не понять.

Риббентропу было жаль отказываться от текста, который, по его мнению, удался как нельзя лучше, но, подумав, он пришел к выводу, что Сталин прав, и его уважение к этому государственному мужу выросло еще больше. «Шуленбург ошибся, - подумал он, - в Сталине нет ничего мистического, наоборот, он реалист».

Другое небольшое разногласие возникло в связи с дополнительным протоколом: Молотов хотел, чтобы о его существовании было упомянуто под основным текстом пакта в качестве постскриптума. По мнению Риббентропа, вопрос был не принципиальным, но тут внезапно вмешался Гаус:

- Господин министр, это очень опасно, - шепнул профессор, - по канонам международного права...

- Да, да! – прервал Риббентроп его нервно. Не хватало только, чтобы из-за какого-то там международного права договоренность сорвалась. Тем не менее, он пустил в ход все свое красноречие, и ему действительно удалось убедить Сталина, что будет лучше, если существование дополнительных протоколов останется тайной.

В два часа ночи в присутствии журналистов пакт был подписан.

После этого предложили шампанское.

- Откуда оно? – поинтересовался Риббентроп.

- Из Крыма, - объяснил Сталин.

- О, совсем неплохо! Можете довериться моей оценке, я все-таки специалист по виноделию.

Они чокнулись, и именно в эту секунду сверкнула вспышка в руках у Гофмана. Сталин, который до этого был в прекрасном настроении и даже обещал послать Риббентропу в Берлин ящик шампанского, вдруг нахмурился:

- Я не хочу, чтобы этот снимок был опубликован. Может создаться впечатление, что мы подписали договор в пьяном виде.

- Гофман! – скомандовал Риббентроп. - Выньте пленку из аппарата и отдайте господину Сталину.

Сталин смягчился.

- Достаточно, если фотограф даст честное слово, что снимок не будет опубликован, - сказал он. – Я же, со своей стороны, дам честное слово, что Советский Союз никогда не нарушит наш пакт.

В конце банкета Сталин поднял бокал во здравие Гитлера, чем полностью завоевал сердце Риббентропа.

- Вам надо как-нибудь встретиться, вам, двум великим людям! - провозгласил он на прощанье.

- Ничего невозможного на свете нет, - ответил Сталин, - но пока нам предстоит большая работа, чтобы претворить в жизнь договор, который мы сегодня подписали.

Рассветало, когда машина остановилась перед посольством. Первым делом Риббентроп позвонил Гитлеру.

- Все в порядке, мой фюрер, только что подписали, - сообщил он скромно.

Даже по телефону можно было понять, что Гитлер впал в восторг.

- Риббентроп, теперь весь мир у меня в руках! – выкрикнул он.

Закончив разговор, Риббентроп прошел в зал, где сопровождающие лица продолжали обмывать пакт. Все были в приподнятом настроении, один Шуленбург, мрачный, сидел в конце стола.

- Граф, что вас тревожит? – спросил Риббентроп, садясь рядом с послом. - Я только что говорил с Гитлером, он просил поздравить вас по случаю заключения договора.

Слова Гитлера о том, что у него теперь в руках, он, естественно, цитировать не стал – но Шуленбург как будто угадал их.

- Я долгое время работал на этот пакт, поскольку полагал, что он поможет укрепить мир, - сказал он печально, - но теперь я в этом уже не убежден.

- Если вы волнуетесь из-за поляков, Шуленбург, то зря, - утешил его Риббентроп. - Они заслужили эту войну. Из всех европейских народов они больше всего сделали для того, чтобы наш континент не мог жить в мире.

Он закурил сигару, встал и, оставив Шуленбурга в унынии, подошел к открытому окну. Москва просыпалась, первые плохо одетые горожане спешили на работу.

«Какое счастье, что я не остался в Канаде, - подумал он, - и какая удача, что я встретил Гитлера».

Усталости как будто и не было, наоборот, его захлестнуло упоение, когда он представил себе триумфальное возвращение в Берлин; да, со щитом, к огорчению всех недоброжелателей и завистников. Мало кто верил в успех этого предприятия, большинство не сомневалось, что оно с треском провалится.

Еще некоторое время он стоял, прислушиваясь, как дворник методично, как дворники по всему белу свету, метет улицу, потом зевнул, выкинул сигару в окно и прошел в свою комнату.

Постель была подготовлена, он разделся и лег на накрахмаленную простыню, от которой шел некий неизвестный, но приятный запах.

«Этим пактом я войду в историю», - подумал он, лежа на спине; блаженная улыбка не сходила с его лица, пока он не заснул.

Давид Шехтер

В. и М. Вайнштейн

КОРСАР ИЗ КВАРТАЛА МАРЕ

Еврейские заметки о Париже

Шальной апрельский ливень налетел на хабадскую синагогу Ришон ле-Циона. Его тугие холодные струи скатывались по куполу, крытому красной черепицей, клочкотали в водосточных трубах, стегали осыпающуюся штукатурку синагогальных стен, наброшенную еще во времена британского мандата.

Неурочный апрельский дождь, с вожделением ожидаемый измученной десятилетней засухой Землей Израиля, нарушил плавное течение урока по недельной главе Торы, который вел в синагоге рав Шнеур-Залман Ашкенази. Рав, молодой человек, в бороде которого еще не засветился ни один белый волосок, прервал объяснение, захлопнув полуоткрытое окно, через которое в синагогу хлестко врывались водяные струи.

- Гишмей браха (благословенные дожди), - сказал рав и бросил на учеников взгляд опытного лектора. Внимание слушателей улетучилось: они оживленно обсуждали, сколько воды принесет этот дождь, и на сколько сантиметров поднимется уровень озера Кинерет.

- Если уж мы заговорили о благословении, то я расскажу вам историю о нашем Ребе, Менахем-Мендле Шнеерсоне, - сказал рав. - Мой отец, раввин Шмуэль Ашкенази, принадлежит к потомственным хабадникам. Поэтому, когда после свадьбы жена родила ему подряд двух девочек, он занял денег у соседей в Кфар-Хабаде, и полетел в Нью-Йорк - просить у Ребе благословение на сына. Было это в 60-е годы прошлого века, ХАБАД еще не вошел в моду, и к Ребе можно было пробиться без труда. Отец подкараулил Ребе, когда тот выходил из своего дома. И, в молодости отличавшийся крупной комплекцией, отец преградил Ребе путь.

- Ребе, я не уйду, пока не получу браху на сына.

Ребе внимательно посмотрел на отца.

- Ты зря тратишь мое и свое время, реб Шмуэль. Езжай домой, в Кфар-Хабад. - Ребе усмехнулся и махнул рукой, - Здесь тебе делать нечего.

Почему Ребе усмехнулся, мой отец понял после того, как у него родился я - десятый сын.

- И Ребе видел далеко, на много лет вперед, - пробормотал по-русски Яков Вассерман, регулярный посетитель урока, сидевший за первым столом.

- Что ты сказал, реб Янкив?

- У Ребе был явный дар предвидения, - ответил Вассерман на иврите.

- А иначе он не был бы Ребе! - воскликнул раввин, хлопнул в ладоши, давая понять, что урок окончен, и повернулся к Вассерману.

- Реб Янкив, принесите мне молитвенник на Йом-Кипур из вашей замечательной библиотеки. Я хочу процитировать из него кое-что на следующем уроке.

- С удовольствием. Но на уроке присутствовать не буду - улетаю на неделю в Париж.

- О, Париж, Париж! - воскликнул Шимон-Вульф, сосед Вассермана по столу. Он поднял обе руки вверх, выворачивая ладони, и дважды смачно поцеловал губами воздух. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его

головы. Лысина Шимон-Вульфа заблестела, как глаза у невесты.

- Париж - это хорошо, - сказал Шнеур-Залман. - В еврейском квартале Маре есть синагога. В ней молился Ребе, когда после войны приехал забирать свою мать, отпущенную большевиками. Там до сих пор сохранился диван, на котором Ребе сидел, изучая хасидизм. Обязательно найди синагогу и посиди на том диване! Но помни - недостаточно того, чтобы человек размышлял о заповедях, ходил на уроки. Их нужно исполнять - во всех тонкостях и нюансах. Этому и учит нас Ребе!

Из записок Якова Вассермана

День первый

Никогда не вел записок в своих заграничных поездках. Зачем? Не сдавать же мне после этого экзамен - когда построено, кем, в каком стиле. Что увидел - увидел. Что запомнил - мое. А не запомнил, значит - не надо.

Но Париж... Я уже был в нем пару раз, но мельком, впопыхах - полдня максимум. Если и есть город, в котором бывший одессит и носитель остатков русской культуры чувствует себя дома - так это Париж. Одессу французские архитекторы строили - это известно. И маленьким Парижем её называют – тоже известно. Теоретически. Но когда своими глазами видишь, что это действительно так!.. Каждый элемент парижских домов был мне знаком: от формы окон и балконов до каштанов на бульварах и круглой чугунной решетки у их подножия. А названия улиц! Я был в Токио, в Сеуле - ходишь по ним как по Марсу. Названия улиц есть, но что тебе они говорят? Гурништ мит гурништ! А тут, куда ни глянь - куча ассоциаций. Вожирар - здесь Эренбург грузил по ночам на вокзале вагоны, Лафайет - вспоминаешь неусидчивого маркиза и знаменитую фразу полковника американского экспедиционного корпуса: «Лафайет, мы здесь!» Гранд Опера! Его я обошел по периметру и обнаружил все

элементы одесского оперного театра. Правда, одесский раз в два меньше. Но и красивее – парижский уж больно помпезен.

В Париже сразу видишь, что русская художественная культура базируется на французской. И мы - ее носители, тоже базируемся соответственно. Шесть дней в Париже - не то, чтобы вечность, но поток информации, сравнимый с Ниагарским водопадом.

Ха, каждый раз при упоминании Ниагары начинаю смеяться - в Израиле так называют сливной бачок. Это ж надо было такое придумать! Ниагара... Идиоты.

Короче - решил в первый раз в жизни записывать, что смогу. В конце дня буду кропать в этом блокноте. Если получится, конечно, и Гришка Векслер не утянет посидеть за бутылкой. Он на это мастак великий, еще с одесских времен.

Правда, с тех времен много воды утекло. В Одессе были мы не просто друзьями-товарищами, вместе тусовавшимися в киноклубе и на вечеринках. Гриша и Ритка были нашими близкими друзьями, с которыми я делился открытым для себя еврейским миром - впервые прочитанными Торой, которую мы тогда еще называли Пятикнижие, "Словом о полку" Жаботинского и другой классической сионистской литературой. Было это опасно, но распахнувшийся передо мной мир так отличался от совдеповской действительности, что я не мог остановиться, не мог не поделиться открывшимся передо мной чудом.

Грише с Ритой тоже было интересно. Но они боялись! А уж как боялись их родители! И все же, и все же, и все же... От нас они не отвернулись, и встречи, пусть и с меньшей интенсивностью, но продолжались. Чего нельзя сказать о подавляющем большинстве приятелей-интеллигентов, рванувших врасыпную после первого же вызова меня в гебуху. А уж после обыска у меня дома, посадки на 15 суток и передачи по областному телевидению, где показали мое фото – слабыхарактерного отщепенца, попавшегося на удочку сионистов - вокруг и вовсе пустыня образовалась. А Гриша с Риткой не отвернулись, нет....

А потом разнесла-развела нас судьба-злодейка. Я в конце 1987-го, как только стали вновь выпускать - репатриировался. А они спустя год рванули в Америку. Мне, конечно, было несколько обидно: вся моя сионистская агитация и пропаганда прахом пошли. Но хоть евреями они остались, эта звезда на моем фюзеляже все-таки сверкает. Впрочем, какими? Пообщаемся, посмотрим.

Но, главное, это не только наша встреча 20 лет спустя, «а ля Дюма-отец». Еду я не предаваться ностальгическим воспоминаниям, не развлекаться и не шастать по туристическим местам. Ну, право слово, что мне, ешиботнику со стажем, искать в Париже? Какое мне дело до его культурных ценностей и красот? Встретиться со старыми друзьями я мог бы и в Эрец-Исраэль. Они из своего Нью-Йорка по всему миру шлэндрают. А мне - как покинуть Святую Землю? Оставлять ее еврею можно только в строго определённых законом случаях - для изучения Торы, женитьбы, поправки здоровья. Вот, для изучения Торы я и еду. В условиях национального диалога со Всевышним, к которому евреи перешли после восстановления государства, надо готовиться к переработке всех гойских духовных ценностей и созданию нового учения, которое примет весь мир. Пришло время, как говаривал рыжий татарин, - учиться, учиться и еще раз учиться....

Вот для этого я и буду вести дневник. Что смогу - запишу. Постараюсь, впрочем, побольше. Чтоб потом читать о наших разговорах с Риткой и Гришей и размазывать уже самому, дома, сопли воспоминаний по тарелке времени. Но главное, вникать, вникать и вникать в эту культуру, в самое лучшее, что есть в ней... Вникать, чтобы аккумулировать, забрать и переработать!

М-да. Мой мальчик, не пиши красиво - это обо мне. Отличие дневника от компа - в нем уже ничего не сотрешь, не исправишь. Что написано - написано. Разве что все перечеркнуть, замарать. Но тогда каляки-маляки вместо дневника получатся.

Из дневника Риты Векслер

День первый

Я специально купила для своего парижского дневника красивую тетрадь в кожаной обложке. Хочу, чтобы мои записи о поездке в Париж и встрече с Вассерманами сохранились как можно дольше.

Какое-то странное чувство мною овладевает, когда представляю встречу с Яшей и Хавой через 20 лет после расставания на одесском вокзале. Не могу назвать их главными нашими друзьями, но мы были близки, это точно. Несмотря на давление наших родителей.

В начале 80-х годов прошлого века быть религиозными евреям в Одессе - значило очень многое. В том числе и постоянный надзор со стороны властей. Вассерманы были не просто религиозными, они держали открытый дом, куда приходили все желающие познакомиться с иудаизмом, с Израилем. У них был большой набор того, что в советской прессе называли «сионистской литературой» - книжки, открытки, альбомы про Израиль, кассеты с израильскими и еврейскими песнями. И они не боялись давать это всем и каждому, хотя Яшку уже как-то раз замели на 15 суток, вlepили парочку прокурорских предупреждений, а в доме провели несколько обысков.

Мне с Гришей это было и жутко интересно, и жутко боязно. Таких знакомых у нас больше не было, в наших глазах именно Яша с Хавой были символом еврейского возрождения. Особенно после того, как мы благополучно выбрались в Америку. А они - за полтора года до нас, в конце 1987-го, репатриировались в Израиль.

Мы поддерживали связь, хотя и не очень активную. Когда Яша несколько раз приезжал в Нью-Йорк к Любавичскому ребе, мы встречались. Перезванивались раз-два в год, когда появился Интернет, стали переписываться. И договорились провести вместе неделю в Париже. Вассерманы там еще не были. А мы с Гришей этот город очень любим и хорошо знаем. Вот мы и решили

встретиться и возобновить знакомство под музыку аккордеона и шелест листьев на парижских бульварах.

Решить-то решили, но меня в последние дни перед отъездом оторопь от волнения брала - как оно будет? Прямо Дюма - «двадцать лет спустя». Не знаю, как они, но мы изменились. И очень сильно. Кем я была в Одессе? По существу, девчонкой. Да еще измученной бесплодием. И Гришка мой, несмотря на всю свою начитанность и самоуверенность - тоже был еще пацан. Теперь, после рождения наших близнят - мальчишек, мы другие. И мудрее, и опытнее. И, кстати, зажиточней. Что ни говори, а свой дом в Квинсе, свой бизнес, приносящий немалый доход, стабилизируют человека, делают его более уравновешенным, что ли....

Что произошло с Вассерманами за эти годы? Они вроде остались религиозными, но насколько? Лишь внешне, или в них сохранился огонь, так привлекавший меня в Одессе - абсолютная уверенность в своей правоте и неготовность на компромиссы, к которым нас с самого детства приучали? Остались ли они сионистами? А может, жалеют, что не поехали в нашу процветающую, спокойную, с уверенностью смотрящую в завтра Америку? Без иранской атомной бомбы и ракет Хизбаллы? Они ведь выезжали первыми после раскрытия ворот, да еще и с ореолом борцов с советской властью. Их бы приняли где угодно.

А если изменились, то в какую сторону? И будет ли общение с ними так же интересно, как раньше? Сумеет ли Яша ответить на большие для меня вопросы, как это он делал в Одессе? А они ведь, как ни странно, остались теми же, что и там, на Украине. Хотя сейчас уже принято писать - в Украине. Правописание изменилось, а вопросы остались. Что это такое - быть евреем? Маршировать раз в году на израильском параде по Пятой эвенту, размахивая синим белым флажком? Вносить раз в году 300 долларов на счет Национального фонда «Керен Кайемет»? А весь остальной год и во всем остальном жить, подражая соседям-«васпам»? Или соблюдать кашрут, отмечать шабес и праздники в синагоге? Что такое двойная лояльность:

можно ли искренне любить Америку, в которой мы нашли свое счастье, но одновременно любить Израиль?

Не сделали ли мы глупость, вот так сразу заказав два номера в гостинице на шесть дней?

Из записок Якова Вассермана

День второй

Первый вечер - Елисейские поля. Со стороны Пляс де ля Конкорд они идут вверх - две черные шеренги деревьев, красное море задних фонарей машин посередине, и в конце ослепительно белый прямоугольник арки с полукруглым провалом посередине. На дне этого провала Вечный огонь. В отличие от привычного нам, советского Вечного огня, горящего 24/7, этот гасят, а потом торжественно зажигают каждый вечер, возлагая к нему свежие венки. В Одессе довелось мне школьником простоять несколько раз по неделе в почетном карауле у памятника Неизвестному матросу. Один раз попал на 9 мая. Хотелю майн татеню, какое там было столпотворение! Зато во все остальные дни – никого. Только дворничихи с метлами, да кошки бездомные....

Наискосок от арки, за железной оградой - конфета белофиолетовая. Натурально, завернутая в фантик, высотой метров десять. И тоже подсвеченная. За ней, на крыше дома, - странное знамя, не триколор. Присмотрелся к вывеске на фасаде - посольство Катара. Трудно даже себе представить, сколько стоит съём пятиэтажного здания в таком месте. Но кто в Катаре бабки считает? Они ведь дармовые, сами из нефтетруб текут. Можно и на десятиметровые конфеты возле Триумфальной арки выбрасывать. И на антиизраильские акции по всему миру. А если бы хоть часть денег, которые шейхи по ветру пускают, дали так называемым палестинским беженцам, давно этой проблемы бы не осталось. Но нет, их же специально в нищете маринуют, чтобы иметь джокер против Израиля.

Количество арабов на Елисейских полях поражает и тревожит. Девки молодые хоть в джинсах, до предела на попе натянутых, но в хиджабах. Я много лет хотел в Париж, и всегда меня отговаривали - там арабов, как в Газе. Из-за них и Парижа не видно. В этот раз из-за Гришки с Риткой решил плюнуть. Ой, как бы не ошибиться. Если их и дальше будет столько, как здесь, на хрена мне такой Париж? Хиджабов и в Израиле хватает.

Гриша успокоил: Елисейские Поля - эпицентр арабской оккупации Парижа. Ну, кроме, понятно, северных пригородов, превращенных ими в мусульманский заповедник. В центре города арабесок практически нет, разве только здесь. Почему они именно этот бульвар облюбовали, он не знает. Но его эмпирический опыт, - в Париже, как-никак, в восьмой раз, - гласит: такой концентрации больше нигде в центре не наблюдается.

Ну что ж, очень хочется верить, а то ведь вся поездка коту шариатскому под хвост! (Приписка на полях - Не соврал Гришка, не соврал! Подобного скопления хиджабов мы больше в городе Париже нигде не видели!!!)

Под конец - зарисовка с натуры. Почти голой. Проходили мимо «Лидо», аккурат когда сеанс закончился. Толпа из него валит, пройти не дает. Волей-неволей стою, выходящих из вертепа в упор рассматриваю. У мужиков на лице удовольствия не видно, одна озабоченность. Мало, что ли, перед ними голыми сиськами трясли? Или, может, слишком много? Вот им теперь только одного и хочется. Чего прямо сейчас, на бульваре получить невозможно?

Напоследок у нас с Риткой небольшой спор по поводу воровства и клептомании приключился. Я ей начал объяснять, как к этому иудаизм относится, но она меня быстренько оборвала - мол, напрасно ты эту философию разводишь. Частная собственность - самое святое, что есть в современном обществе. И поднимать на нее руку никому не дозволено, неважно - корысти ради, спортивного ли интереса, или попросту по болезни. На её уважении и защите Америка и весь западный мир стоят. Забери у людей право на собственность, перестань ее защищать -

всё рухнет. Поэтому философствовать тут ни к чему, все и так предельно ясно.

Из дневника Риты Векслер

День второй

Пока мы прилетели, пока все добрались и устроились, наступил вечер. Но терять его было жалко - даже нам, полусонным из-за разницы с Нью-Йорком. И мы решили поехать к Триумфальной арке. Много времен на нее все равно не уйдет, потом прогуляемся по Елисейским Полям – и со спокойной совестью, что первый вечер не пропал зря, вернемся спать в гостиницу.

Я собираюсь использовать наши прогулки по Парижу не только для разглядывания и обсуждения его красот. Тем более, что всё это уже видела, и не раз. Меня занимают духовные проблемы. В Одессе Яша был для меня символом возвращения к своей вере и своему народу. По большому счету, таким он для меня и остался. Пока. Задам ему парочку вопросов, и посмотрю.

Мы ведь с Гришкой не религиозны. А мальчики мои, наш свет в окошке, начали, уж не знаю под чьим влиянием, возвращаться к вере. С чего, почему? В Америке наоборот обычно происходит: кто религиозным приехал, быстренько ермолку в карман прячет. Уж больно соблазнов много в нашей Америке. Как устоишь? Но мальчики в ней родились. Может, этим и объясняются их духовные поиски? Короче, мы уже на такой стадии, что завели в доме кошер и даже посуду разделили – чтобы наши студенты, дом родной изредка навещая, могли маминой стряпней угоститься. Мы-то с Гришей, как все ели, так и едим. И пьем, конечно - я не могу отказать себе в хорошем французском коньяке.

Но дома – супер-кошер! Я сперва сопротивлялась, а потом поняла - их увлечение религией для меня лично

имеет одну важную сторону: внуки у меня будут евреями. Религиозный мальчик разве на шиксе женится?

Сели мы в такси на Рю Риволи, неподалеку от еврейского квартала Маре. Я там специально гостиницу подыскала, чтобы Грише с Хавой можно было где-то спокойно поесть. Сели, едем. У Яшки так это осторожненько спрашиваю кто он - ультраортодокс или как?

- Или как, - отвечает.

- То есть?

- В армию хожу, работаю. Государство Израиль не проклиная, а благословляю.

- А вот скажи мне, почему наши религиозные в Бруклине, которые в черных камзолах, в основном по ешивам сидят? Кто-то работает, конечно, жить-то надо. Но это - они говорят - вынужденно. А мечта - сидеть в ешиве невылазно. Зачем? Неужели нельзя учиться и работать?

Я-то ответы, чего греха таить, и так знала. Решила проверить - что он мне скажет. И тут мне Яшка целую лекцию закатил. Полчаса читал, пока до Триумфальной арки через все пробки на Пляс де ля Конкорд пробивались. И словно не было этих двадцати лет и Атлантического океана между нами. Словно ехали мы в одесском такси (если глядеть по сторонам, на окружающие дома, то ощущение дежавю просто стопроцентное) и, как когда-то, разговаривали о том, что тогда интересовало только его, а сегодня уже и меня.

«Ты, Ритка, поставила вопрос, который евреи решают уже тысячи лет. Черные, как ты говоришь, хотят только сидеть в ешиве и учить Тору. А некоторые хасидские дворы и, главное, ХАБАД, говорят иначе. Надо идти в этот мир, надо подвергаться искушениям, которых нет в стенах ешивы. Преодолевать их и вносить искры святости во все, даже самые нечистые, стороны этого мира, тем самым очищая и возвышая его. То же самое говорят и религиозные сионисты. И не просто говорят, а живут в соответствии с этим».

Запись получилась короткой, но в реальности разговор наш был длинный. Он не закончился в такси, а длился,

когда мы шли по подземному переходу к Триумфальной арке, у Вечного огня, обложенного свежими венками, на Елисейских Полях.

У входа в фирменный магазин «Картье» трое полицейских держали какого-то прилично одетого месье, с десяток любопытных столпились вокруг

- Вора поймали, - сказала я. - Похоже, искателя приключений. Кто-то занимается скалолазанием, а кто-то ворует в дорогих магазинах. Не сомневаюсь, этот тип может позволить купить себе часики в «Картье».

- Вот тебе наглядный пример, насколько заповеди помогают нам жить, - сказал Яша, - Сказано - не воруй. И всё. Хоть тресни, а не воруй. Без всяких скидок на то, что я, мол, на самом деле не ворую, это для меня спорт.

Могу привести еще один пример, когда моральные императивы заповедей снимают все вопросы. Помнишь, популярный в СССР фильм «Чучело»? Дебют Кристины Орбакайте? Он весь был построен на моральной дилемме - говорить главной героине правду или не говорить. И две серии Ролан Быков рассусоливал решение этой проблемы. А проблемы-то никакой не было. Есть заповедь - не лжесвидетельствуй. И точка. Тут и фильму конец. Но Быков, хоть и еврей, Тору, конечно, не читал. Вот и снял фильм ни о чём.

Из записок Якова Вассермана

День третий

Хотелось бы начать эту запись так: «Когда солнце встает над сонным Парижем, стрельчатая тень собора Сен-Поль Сен-Луи пересекает Рю Сен-Антуан. Остро вклинивается она в улицу Паве, безуспешно пытаюсь накрыть собою синагогу «Игуд кегилот», скрывающуюся за углом».

Но надо писать правду. А мысль у меня каждое утро одна - первый раз за границей я питаюсь как человек! Не

своими кошерными консервами, привезенными из Израиля, а французскими деликатесами. Кошерное кафе «Корсар» предлагает посетителям на завтрак бейгеле (бублик) с сыром, бублик с лососем, овощной салат нескольких сортов, яичницу с грибами, яичницу с лососем. И несказанное количество пирожных - от огромных, величиной с субботнюю халу безе, до залитых шоколадом эклеров, и еще каких-то немислимых, чрезвычайно аппетитных на вид кондитерских ухищрений. Я буду не я, если все это не попробую, «чорт подъери»!

В двух шагах от «Корсара» - музей истории евреев Парижа. Вылизанный до блеска! Располагается в особняке каких-то герцогов. На входе табличка - открывал музей самолично президент Жак Ширак. Ну да, самый антиизраильский президент Пятой республики решил показать, что он и не антисемит вовсе, а большой и личный друг своих еврейцев. А эти сразу сопли и пораспустили.... Тьфу!

Музей Родена – тоже дворец. Но с огромным садом вокруг. Здание не ухожено - французам, в отличие от евреев, похоже, мало дела до своей истории и своих гениев. Зато полная аутентичность. Огромные, до потолка, зеркала помутнели, на них проступили какие-то квадратные пятна. Но зато в эти самые зеркала смотрели и сам Мастер, и его знаменитые гости. А теперь я поотражался, и причастился к сонму великих.

Паркетные половицы старые, скрипят пронзительно - по ним наверняка ступали Роден и его нимфоманка Камилла. Кстати, на втором этаже выставлено несколько работ Камиллы. По-моему, работы её хоть и сделаны технически хорошо, идейно - копия роденовских. Тот же импрессионизм в камне или в чугуне. Главное - эмоция, чувство, всё остальное, что не работает конкретно на выражение этого чувства, не имеет значения.

У Ритки вдруг возникла парадоксальная идея. Подозвала меня к небольшой скульптуре – мужчина с мощным торсом держит высоко на руках, на уровне своих плеч, обнаженную девушку.

- Посмотри на надпись, - говорит.

Посмотрел. Ну и что? «I am beautiful» написано - я прекрасна.

- Это не девушка, - шепчет Рита, - приглядишься.

Пригляделся. Ну, в общем, фигура у нее не очень для женщины характерная, бедра узковаты. И лица не видно. А волосы собраны в пучок на затылке. Действительно, за парня принять можно.

- Нет, - говорю, - милая, Роден был, конечно, известным сексуальным маньяком, до глубокой старости ни одной юбки не пропускал. Но в гомосексуализме или в симпатиях к нему замечен не был.

- А по-английски «I am beautiful» не имеет рода, - упирается Ритка, - так что, возможно речь идет о мужчине.

Кончилось тем, что она позвала служительницу музея и спросила, в каком роде по-французски написано. И та объяснила - в женском. Ну да, когда тебя мужик, как богиню, на руках воздымает, и не то еще про себя скажешь. Теория Риткина прахом пошла, и снялось с Родена подозрение

В завершение спора я все же Ритке бросил, что, мол, гойским языкам не очень обучен, хватит с меня одного - русского.

- Ха, - сказала она, - ха! И еще раз - ха. Мы с первого дня жизни в Нью-Йорке решили читать только по-английски. И смотреть фильмы только по-английски. А когда родились наши мальчики, то говорить с ними стали по-английски. С первого дня. Мне как-то моя коллега на работе сказала - сразу видно, в доме ребёнка говорят на английском или нет. Мы не хотели, чтобы наши дети были, как и мы, эмигрантами. Нам такая доля досталась, и тут деваться некуда. А они пусть будут полноценными гражданами великой Америки. Они в ней родились, и должны говорить на ее языке как уроженцы, не эмигранты. Для мальчиков наших английский не очередной гойский язык, очередной страны еврейского хождения по мукам, а родной язык великого государства, в котором все нации свободны и равны. И никто мне не докажет, что это не так - я сама и

моя семья живое тому доказательство. Ну, не знают дети мои иврит, и что? Благословения, в случае необходимости, они прочитают написанные латинским шрифтом. А Тору учить прекрасно и на английском можно. Мне объяснил раввин нашей синагоги - практически все, что еврею нужно для нормальной религиозной жизни, переведено на английский. И молитвенники, и многочисленные комментарии, и даже ученые труды по каббале.

Не стал я с ней заводитьсь - у американских собственная гордость. Тем более, если бы не Рита, я бы мимо статуэтки той прошел и ничего не заметил.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад.... Ну, не после чаю, но вышли. Сад, действительно огромный, заставлен роденовскими скульптурами, кусты подстрижены с выдумкой - шары, пирамиды остроугольные. А деревья – в цвету. Вот и еще одна цитатка: «Бульвар Французский был в цвету». В самом что ни на есть прямом смысле...

Париж, Париж! Да еще весной! Прямо так и тянет на лирику. Конец апреля, все расцвело. И свет знакомый, узнаваемый до боли. Мучился пару минут, пока не скумекал - это же свет с картин любимых моих импрессионистов. И краски такие же. Они ведь с натуры писали. Может, прямо здесь, в этом саду.

Сквозь цветущие деревья проглядывал сияющий золотом купол Дворца Инвалидов. Он, оказывается, рядом. Это же надо – отдали Родену колоссальную усадьбу в самом центре Парижа. И денег, кстати, за съем не брали. Расплачивался он с парижской мэрией своими работами. Вот откуда это собрание, собственно, и взялось.

Чай в саду мы не пропустили. В центре сада - озеро небольшое, тоже статуями уставленное. И кафе. Ну, пусть не чай - дамам взяли кофе. А мне с Гришкой по бокалу холодного, пузырчатого бельгийского пива (французское - большая гадость). Вокруг - роденовские персонажи, над головой иссиня-голубой купол с длинными, узкими белыми облаками. И тишина....

Туристы почему-то музей Родена обходят. То ли дело - Монмартр. Съездили мы туда давеча. И сбежали. Там даже

не толпы бродят - одна большая толпа колыхается. По Монмартру надо идти, протискиваясь, как в трамвае. Покрутились пять минут, плюнули.

А тут, в доме Родена - оазис тишины, красоты, весны и счастья. Запомнить обязательно. Но, кроме прочего, он предоставил возможность сидеть спокойно и рассматривать не толпу, то есть не точеных японок вперемежку с толстозадными американками, а скульптуры, расцветающие завязи на деревьях, пить горькое пиво.

Черт, опять на цитату съехал. Короче, сидели мы в саду долго, лениво трепались о том, о сём. Уходить не хотелось. Да и куда нам было спешить? В этом, собственно, и состояла прелесть Риткиной идеи - встретиться в Париже, ходить куда хочется и куда глаза глядят. Без организованных экскурсий, гидов, опаздываний на автобус....

Дворец Инвалидов - через дорогу от музея Родена. Территория у него, оказывается, громадная - вовсе не только собор под куполом осиянным, как мне всегда представлялось. В соборе собачий холод - на кондиционер евро не жалеют. Собор, по существу, это большой могильник; кроме Бонапарта, там захоронены его маршалы, кавалеры ордена Почетного легиона, и даже какой-то мусульманин, с золотой арабской вязью на саркофаге.

Гроб Наполеона находится не на возвышении, как обычно в таких склепах, а под полом собора, на глубине метров десяти. Вокруг - круговая галерея, заполненная барельефной лепниной - великие дела первого консула, а затем императора. А на мраморном полу выбиты названия мест, где состоялись победные битвы Наполеона: Аустерлиц, Маренго. И - Москва. Вот так. Вся Россия может, конечно, недаром помнить про день Бородина, но у французов вопрос, кто победил в этом сражении, не возникает.

А разве не так оно и есть? Русская армия не могла продолжить сражение и отошла, сдав врагу на поругание древнюю столицу. Это называется победа? Это называется разгром. Наизусть помню еще со времен фильма

бондарчуковского - «стали приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным».

Армия, которая не в состоянии продолжить сражение и вынуждена отступить с поля боя, является армией, проигравшей это сражение. А что случилось потом с Наполеоном, что привело к его бегству из России - Барклай, зима иль русский бог, это уже другой вопрос.

Вчера на Монпарнасе видели памятник маршалу Нею. На мраморном постаменте выбито – «князь Московский». Вот вам и госпожа победа, русские патриоты, не надсаживайте грудь...

Все это очень похоже на отношение египтян к войне Судного дня. Они ее вероломно начали, напав на Израиль в самый святой для евреев день, они же ее и тотально проиграли. Через три недели танки Ариэля Шарона находились на расстоянии ста километров от Каира, и перед ними не было ни одного египетского подразделения. Вся египетская армия сидела в синайских песках, окруженная ЦАХАЛом. Разгром, позор! Но в Египте, оказывается, эту войну считают своей победой. И каждый год в октябре проводят по сему радостному случаю праздничный военный парад. Ну и что, что на самом деле проиграли? А мы поднапыжимся и будем щеки на весь мир раздувать - виктория, виктория!

И ведь самое интересное: десятки миллионов египтян сегодня действительно войну Судного дня своей победой считают. Как русские - Бородинскую битву. С одной лишь разницей - умные еврейские генералы не сунулись в Каир, хотя и могли без труда. Рассудили здраво - если всё равно не удержать, так зачем? А великий Буонапарте в Москву полез. И чем это для его армии закончилось, всем известно.

Из дневника Риты Векслер

День третий

Первым делом Яша захотел посетить еврейский музей, и мы после завтрака отправились в музей истории евреев Франции. Благо, расположен он неподалеку от квартала Маре. А от облюбованного нами кафе - пять минут пешком. Перед приездом я пошарила в Интернете и нашла список кошерных кафе и ресторанов в Париже. Их оказалось совсем немало.

Но, пока мы дожидались Вассерманов - они приехали на несколько часов позже - мы с Гришей пошли в Маре, посмотреть и разнюхать что, да как. Чуть ли не в первом же кафе очень любезный мальчик в кипочке объяснил, что далеко не все кафе и рестораны, находящиеся в этом списке, на самом деле кошерны. Во многих - «джуиш стайл», то есть не мешают мясное с молочным и не употребляют свинину. А всё остальное - как у всех. Кошерными являются только те, в которых есть удостоверение, выписанное парижским раввином.

Это была очень важная информация, поскольку Яша сразу сказал, что есть может только там, где висит удостоверение. В первое же утро мы обнаружили на Розье - главной улице квартала, с десятков кафе и кафешек. Удостоверения, действительно, оказались далеко не у всех. Мы остановились на очень милом заведении со странным названием «Корсар». Думаю, к пиратам оно никакого отношения не имело, просто так на французском писалась фамилия его основателя, наверняка какого-нибудь эмигранта из Польши или Словакии.

Место оказалось и уютным: небольшой зал на шесть столиков, и вкусным - это была одновременно и кондитерская. Все стены зала завешены портретами еврейских дедушек; мы облюбовали местечко под репродукцией знаменитой картины Готлиба «Евреи молятся в синагоге на Йом Кипур». Пока ждали заказанных салатов и булочек с лососем, Яша рассказывал, кто

изображен на портретах - в основном хасидские цадики из Восточной Европы и Хазон Иш, основатель ультраортодоксального течения в Израиле.

Еврейский музей мне понравился, в особенности два подлинника моего любимого Шагала. А Яша вышел разочарованным. «Это у меня уже второй случай, - сказал, - после еврейского музея Будапешта. Может, для кого-нибудь это и музейные экспонаты, а для меня - вещи, которыми я пользуюсь каждый день. Смотреть на самого себя мне пока еще не интересно».

Яша задержался надолго только возле коллекции ханукальных светильников. И так он их рассматривал, что я не выдержала - а что он, собственно, нашел в них особо интересного? У картин Шагала постоял пару минут, а возле достаточно примитивных восьмисвечников застрял.

- Как почему? - возмутился Яша, - Что общего между украинцами и арабами Туниса? Ничего. А евреи из украинской и тунисской общины зажигают светильники в один и тот же праздник, отмечаемый в одно и то же время. И при зажжении говорят одни и те же благословения на одном и том же языке. При том, что предки членов этих двух общин жили в одном государстве более двух тысяч лет назад. Иначе, как чудом, такое назвать нельзя. И как ты этого понять не можешь? Тут не светильники собраны, а свидетельства нашей связи с Творцом мира. А ты на поделки шагаловские кидаешься!!»

Яша так раздухарился, что другие посетители на нас, нарушителей святой тишины музейной, оглядываться начали. Только в такси мы немного успокоились, и лишь приехав в музей Родена, пришли в себя. Но и там нашелся повод для пусть и маленького, но спора. Поводом послужила скульптурная группа Родена, но заговорили мы про английский. Яшка так это свысока бросил - зачем мне, мол, очередной гойский язык? Тут я, конечно, крылья расправила. И ничего особо существенного он мне возразить не смог.

Ну да, как и у всякого советского образованца, с английским у него не очень. Как и все, он школе и в

институте «инглиш» проходил, даже «тысячи» успешно сдавал. Но, как и все, четко знал, что язык этот никогда ему не пригодится. Поэтому изучал спустя рукава. А как ивритом занялся - даже тот крохотный английский, что был у него, улетучился моментально. У иврита есть такое свойство – мне не раз и не один человек об этом рассказывал: он выбивает вчистую любой язык, кроме родного. Или очень хорошо выученного. Поэтому у всех образованцев, попавших в Израиль, от английского моментально оставались рожки да ножки.

«И не жалко, - сказал Яша, - Если он по работе не нужен - зачем? Дети мои по-английски свободно разговаривают, они и в школе еще знали, что пригодится. Но самое главное для меня, что родной их язык - иврит. После стольких поколений галута, терзаний и мучений среди других народов и их языков, мои дети стали первыми в цепочке, протянувшейся от моих предков, изгнанных римлянами из Земли Израиля, которые думают на "лошен койдеш" - святом языке. Не просто знают его; таких и в предыдущих поколениях было немало, а думают! Думают!! Только для этого стоило репатрироваться!»

Ну, это Яшка загнул, конечно. Язык, при всей его важности - средство, не суть. А суть - это оставаться евреем, соблюдать традиции, переносить дальше свою культуру. А на каком языке - это уж в зависимости от обстоятельств. Что, Всевышний не знает английского?

Остудила нас гробница Наполеона - и великолепием, и прохладой. Смотрела я на барельефы в этой гробнице и думала: а ведь не всё так уж и плохо было в королевской Франции, которую до основания смела революция. И не все дворяне были гнидами и мерзавцами. Взять того же маркиза Лафайета, уехавшего в Америку воевать за ее свободу. Спустя много лет Америка благородно вернула Франции долг. Когда экспедиционный корпус американских войск высадился в середине Первой мировой войны во Франции, то одному из полков устроили парад на Елисейских Полях. Командир полка, бравоый вояка, но невеликий оратор, должен был произнести речь. Вместо

нее он вышел на трибуну, отсалютовал в воздухе саблей и проорал во все горло: "Лафайет, мы здесь!"

Каждый раз, когда я эту сцену себе представляю, слезы на глаза наворачиваются. Америка - великая страна еще и потому, что умеет благодарить тех, кто сделал ей добро. Но и, слава Богу, умеет расплачиваться с теми, кто причинил ей зло. Поэтому она и стоит во главе западного мира, то есть - всего человечества. И как же нам повезло, что мы и дети наши – ее полноправные граждане!

Из записок Якова Вассермана

День четвертый

Площадь Вогезов была одним из обязательных пунктов моей парижской программы. Единственная площадь, полностью застроенная в XVII веке и сохранившая с тех пор свой вид. И как я был прав!

Меня привлекают подлинники. Сегодня могут скопировать что угодно, и копия будет выглядеть лучше оригинала. Но мебель, на которую садился Людовик Четырнадцатый, хранит тяжесть его тела; гобелен, висевший в его покоях, дышит его аурой. Да, у меня мания величия, но я чувствую вкус времени, я различаю его запах!

Площадь Вогезов! Вот эти стены из красного кирпича смотрели на парады мушкетеров, проходившие именно здесь. Они слышали ржанье их лошадей, впитывали запах конского пота и конских яблок. В тени этих стен настоящий де Тревиль отдавал команды, и шеренги вояк в бело-голубых накидках маршировали нестройными колоннами (это ведь мушкетеры были, а не прусские оловянные солдатики). Если и мог с восторгом воскликнуть д'Артаньян «На мне нет плаща мушкетера, но в душе я – мушкетер!» - так только здесь. Если где-то и сохранились остатки мушкетерской романтики, дальние отзвуки братства, воспетого папашей Дюма – именно здесь, на площади Вогезов. Не в Лувре, перестроенном сотни раз. И уж точно не на бульварах барона Османа.

Кстати, за Османа. В архитектурном смысле Париж меня несколько разочаровал. Я был во Франции раз десять, прежде чем обстоятельно добрался до Парижа. Французская архитектура - моя, я ведь вырос в Одессе, построенной французскими архитекторами. Из красного кирпича дом на улице Гоголя (не знаю, как она сейчас называется), с атлантами, держащими земной шар - самый, что ни на есть типичный образец французской архитектуры. Я думал, что увижу ее и в Париже, как видел во французской провинции. Увы и ах! Барон Осман железной рукой порушил центр города; не только прорубил бульвары, а и застроил Париж одинаковыми зданиями.

Что Монмартр, что Монпарнас, что бульвар Капуцинок - один цвет и один стиль! Разве что в Латинском квартале или еврейском Маре сохранились узкие улочки и дома другого стиля. Османовские дома красивы, нет спора. Но это - не Франция. Я объездил ее и потому утверждаю - не Франция. Барон Осман, строгий протестант эльзасского происхождения, выстроил город, напоминающий Страсбург, а не Орлеан или Марсель. В своем урбанистическом рвении Осман порушил больше половины домов Парижа. Но оставшаяся половина – все же французская, и потому так напоминает мне Одессу.

Площадь Вогезов выстроена в том же любимом мной стиле, что и дом на Гоголя и, как это ни смешно упоминать рядом - замки Луары. И даже из таких же красных кирпичей. Площадь обрамлена анфиладами арок, напоминающими Прагу. Хотя, наверняка, пражские арки - копия парижских. Под ними всегда играли музыканты. Даже сам Моцарт свой первый концерт в Париже дал именно здесь. И я удостоился - группа ребят совсем неплохо лабала джаз. Я бы им кинул пару евро, но шабес, шабес.

Обошел вокруг конной статуи Людовика Тринадцатого в центре площади. Возле статуи, на скамейке развалился мужик в кипе. Рядом - супруга в парике, греются на солнышке, расслабляются - шабес как-никак. А вокруг детки пейсатые бегают. Гляжу, в окнах одного из зданий ребята в ермолках и девицы в платочках тусуются. Подошел - точно,

синагога. Вот те на, месье де Тревиль, теперь и на вашей площади Вогезов евреи разместились.

В самом углу площади - дом Гюго. Большой плакат с портретом, вход заставлен железным заборчиком разборным, на толпы туристов рассчитанным. Шабес, мне войти невозможно – за вход платить не могу. А даже если и не шабес - тоже бы не пошел. Ни одного произведения Гюго я даже в детстве до конца не дочитал. Самое точное определение его творчеству дал Илья Ильф, одесский еврей Файнзильберг, которого антисемитизм заставил сменить фамилию, раздражающую русское ухо. Он написал в своих записных книжках: «Романы Виктора Гюго, как испорченный унитаз - много воды и мало действия». Точно! Чтобы, как выразился другой еврей, «дойти до самой сути» романов Гюго, надо затратить время, которого у нас попросту нет. Сейчас другой ритм, другой темп, другое дыхание. Диккенса с Гюго можно было читать, когда с закатом солнца площадь Вогезов погружалась в красноватую от кирпичей темноту, канделябры излучали дрожащий желтый свет, и заняться было особо нечем, кроме как, у этого канделябра пристроившись, глотать страницы бесконечного романа.

Правда, прочел я недавно «Войну и мир». Не перечитал, а именно прочел. Роман прошел мимо меня - как раз на мое детство, когда его в школе читают, пришлось экранизация Бондарчука. Я посмотрел ее несколько раз – и в кино, и по телевизору, и братья за два толстенных тома желания не возникло. А вот совсем недавно, уже за полтинник перевалил, как-то от нечего делать, взял первый том «Войны и мира». Начал читать, и не смог остановиться, пока не прочитал всё до конца, запоем. Действительно, великая книга - мудрая, тонкая. Всеобъемлющая. За жизнь, как она есть. Писатель он, без дураков, великий - Лев Николаевич...

Перечитал это всё - и в толк не возьму, с чего меня на рассуждения о литературе понесло? Толстой, Дюма, Гюго. Что мне Гекуба? Впрочем, понятно - флюиды. Париж, Париж!

Из дневника Риты Векслер

День четвертый

В субботу утром Хава «накрыла поляну» в лобби нашей гостинички. Комнаты в ней крохотные, едва умещается кровать, столик и платяной шкаф. Посидеть в номере всем вместе невозможно. Зато персонал смотрит сквозь пальцы, что мы каждый вечер устраиваем посиделки в лобби. В нем есть несколько столиков, два из которых расположены за углом, и портье из-за своей стойки не видно тех, кто сидит за ними. Вот мы и приловчились, сдвинув эти два столика, выпивать и закусывать. Хава навезла с собой из Израиля много кошерной еды, а в Маре мы нашли замечательную бакалейную лавочку с кошерными продуктами.

В пятницу вечером с нами случилась травматическая история, у меня пока просто нет сил ее описывать, как-нибудь потом. А утром Хава дождалась, пока официальный завтрак в гостинице закончился, и накрыла столы – вино, две халы, все, как положено. Яша пошел молиться в синагогу, вернулся часам к 11, сделал кидуш. Мы спокойно потрапезничали и отправились гулять.

«Локейшен» гостиницы идеальный (если учитывать цены) – до Лувра полчаса медленного ходу. Но Яша захотел пойти в другую сторону - на площадь Вогезов. По карте до нее было минут десять пешком. А в действительности оказалось еще меньше.

На Рю Сен-Антуан нам попался красивый, большой дом. Мы зашли внутрь, оказались в симпатичном внутреннем дворике с красиво ухоженным садом, прошли через арку и ... очутились в углу площади Вогезов. Яша остановился, чтобы посмотреть какую-то вывеску и вдруг, что-то ожесточенно шепча, вытащил из карманов брюк несколько бумажек, и положил на тротуар. Ну, мой Гришка, конечно, не преминул его поддеть.

- Чего мусоришь? Вчера ты назвал какого-то негра дикарем, за то, что он бросил на асфальт пустую пачку сигарет. А сейчас делаешь то же самое!

Яша вывернул карманы брюк, даже потряс ими в воздухе, чтобы убедиться, что они пусты. Потом радостно вздохнул и сказал Грише:

– Слушай, хабиби...

Повернулся ко мне:

– И ты, слушай меня, девочка. Слушай внимательно.

Я привожу Яшин рассказ не дословно, а основные его моменты. Что-то могла и упустить, я ведь не конспектировала, мы гуляли по площади, рассматривали чугунного Людовика Тринадцатого.

- По поводу дикаря. Однажды некий хасид после посещения Москвы приехал в Любавичи, к Ребе Дов-Беру. «Ну, как Москва?» - спросил его Ребе. «Москва? – задумался хасид, - Я навестил реб Шлойме, реб Мойше и реб Нусна...» «Все, больше не говори! - воскликнул Ребе. - Москва - это, действительно, реб Шлойме, реб Мойше и реб Нусн. Этот город имеет право на существование только потому, что они живут в нем и выполняют заповеди». О чем, бишь, мой рассказ несвязный? Да о том, что моё сегодняшнее действие, хотя внешне, действительно, особо не отличается от поступка этого негра, имеет совершенно иную духовную суть и предназначение. Сегодня у нас шабат, не так ли? Один из субботних запретов - это перенос чего бы то ни было за пределами твоего владения. Даже бумажки. Когда я выходил из гостиницы, то проверил все карманы. И как-то пропустил задний карман джинсов. Но когда у входа на замечательную площадь Вогезов обнаружил, что в нем лежат бумажки, я тут же их выбросил, поскольку не хотел и дальше нарушать законы шабата. Кто знает, может быть именно для этого я и оказался в Париже? Я выполнил одну из заповедей, ради которых создан этот мир. И дал тем самым Парижу еще одну причину для существования».

Из записок Якова Вассермана

День пятый

В Консьержери я вспомнил немецкий Оснабрюк. Меня там провели по узкому проходу, через который осужденных ведьм выводили на городскую площадь, к костру. Я реально услышал их крики, ощутил муку этих женщин - ужас предстоящей боли, отчаяние от беспомощности, бессилия. Злые люди ведут тебя умирать ни за что, а ты не можешь доказать свою невиновность! Не можешь объяснить им, как же это несправедливо и страшно, когда тебя - молодую, сильную, любящую жизнь, через несколько минут обглодает огонь...

Этим ужасом пропитаны и стены внутреннего двора Консьержери, где якобинцы держали женщин. А закуток, огражденный до сих пор высокой решеткой, где перед отправкой на гильотину собирали каждый день 12 женщин, просто вопиет.... В других казематах Консьержери, где сидели мужики, этого не чувствуется. Женские флюиды - великая сила. Даже через века.

Запомнить – ведь здесь большевики вдохновение черпали, создавая ЧК. И не понимали, что Консьержери не только пример для подражания, но и провозвестник их личных судеб. Ха! Дантон перед отправкой на казнь сидел в камере, соседней с камерой Марии-Антуанетты. А Сен-Жюст и Робеспьер сидели чуть ли не в той же, что и Дантон. Палачи сменяли палачей в созданных ими же застенках. И шли из них на казнь. Ну, точно как у товарища Сталина: Ежов казнил Ягоду, Берия - Ежова. И на Лаврентия Павловича нашелся бы свой кат, да он, похоже, успел подсуетиться и траванул гения всех времен и народов прежде, чем тот приставил своего верного маршала к чекистской стенке.

С Ритой и по поводу Консьержери поспорили. Впрочем, спором это не назовешь. Просто ассоциации у нас теперь разные. Мне эти казематы напомнили о наших израильских тюрьмах-санаториях для палестинских бандитов. Каждый

раз, когда я об этом думаю, долго потом не могу успокоиться. Смертной казни в Израиле нет. Поэтому убийцу невинных детей помещают в тюрьму, где он - ну как же, мы ведь цивилизованное государство! - пользуется всеми правами заключенного. А в израильской зоне этих прав порой больше, чем за ней. Бесплатное медицинское лечение, в том числе и стоматологическое, возможность получить высшее образование в израильском же университете. Регулярные встречи с семьей и женой. А уж про питание я и думать не хочу, мать их! Палестинские заключенные как-то устроили голодную забастовку в знак протеста, почему им стали давать творог только пятипроцентной жирности, а не десяти, как было раньше. И что же – получили десятипроцентный – мы же цивилизованное государство!

Вот так и получается, что какой-нибудь душегуб Самир Кунтар, разбивший о скалу голову маленькой девочки, отсидел тридцать лет, был обменян и вышел на свободу, сияя белоснежной улыбкой, с дипломом бакалавра израильского университета. Ну, так почему бы им нас не убивать? Чем они рискуют - в израильской тюрьме уровень жизни выше, чем в их деревнях и трущобах!

А Рита заговорила о Полларде. Мол, вот бедненький, почти тридцать лет отсидел, хотя никакого удара по интересам США своим сливом Израилю секретной информации не нанес. Если бы нанес, тогда любая мера наказания была бы оправданна – двойной лояльности у американских евреев быть не может. Но Поллард сообщил Израилю только сведения о его врагах, а не об американской армии. Поэтому беспрецедентное наказание Полларду, многократно превышающее наказания всем шпионам, пойманным на территории США, несправедливо. Говорила она с запалом, не сбиваясь, сыпала цифрами и фактами - многократно обдуманная и болезненная, видать, тема....

Гуляли по набережной Сены, мимо Нотр-Дам. Всё абсолютно узнаваемо. Причем даже помню, где видел, в

каком фильме. Вот тут, прямо под лавочками букинистов прогуливался Смоктуновский, играя Чайковского....

Добрели до букинистической лавки «Шекспир и компания». Я несколько раз видел ее фото изнутри и всё в толк не мог взять - чей портрет висит на стене выше всех. Сартр не Сартр, да и не Камю, вроде. Вот меня это многие годы и занимало. Ну, не так чтоб очень, но все же - кто ж удостоился такой чести? Спрашиваю у продавщицы - кто такой, почему не знаю? Она называет имя, ничего мне не говорящее. Пожимаю плечами. Девица снимает с полки книгу и суёт мне под нос. Какой-то писатель нью-йоркский, третьестепенный. Который, похоже, провел юность в Париже и был приятелем хозяина лавки. Подозвал Риту с Гришкой, они же только по-английски вот уже 20 лет как читают. Им тоже эта фамилия ничего не говорит. Вот тебе и на.... Везде надо правильных знакомых иметь!

А общее ощущение от этой лавки знаменитой, с благоговением Хемингуэем описанной – "альте захен". Никому, кроме фанатов, эти пылесборники уже не нужны. Носители информации теперь другие, в том числе и книжной. Еще с десятков лет и книгу брать в руки будет только такая хрень старая, как я и поколение мое... И это - не забыть. Новое поколение ешиботников выбрало айпад, и молится не по сидуру, а мобильнику - там тебе и весь молитвенник, и недельная глава Торы, и даже ежедневный лист Талмуда. Что предусмотрительно: действовать-то им придется через социальные сети. Иудаизм бежит в ногу со временем: "Явне и ее мудрецы" - это вам не "Шекспир и компания"...

В музее Орсе я немного потусовался на первых этажах, но быстро понял - тут можно провести неделю и не увидеть того, что мне действительно интересно. Поехали на этаж импрессионистов. Попав в залы с их картинами, я, как сладёна, оказавшийся в кондитерской «всё включено», бегал от одной картины к другой - Сислей, Писарро, Ренуар. Многие картины я никогда не видел. Подойдешь, уставишься, а краем глаза видишь - рядом что-то привлекательное. Бросишь взгляд, и уже оторваться не

можешь. Да, когда время придет - я по картинам этим специализироваться буду! Поскорей бы только!

Усталые, но, как справедливо утверждается, – довольные, мы пошли дальше, через Пляс де ла Конкорд к Вандомской площади. Возле Оперы издали увидел – кафе «Де ла Пе». В Ришоне у нас есть кондитерская дорогих и вкусных тортов с таким же названием. Хозяйева молодцы, обыграли – «де ла пе», то бишь «в рот» на иврите. Я думал, что это их придумка. Восхищался. Более того, одна местная литературная дама мне даже «по секрету» поведала, что она участвовала в сочинении этого названия. А ни хрена, какая там придумка - вот оно, кафе «Де ла Пе», прямо напротив Гранд Опера!

Ну, вошли мы, сели. Заказали. Кофе - дамам, нам - пиво. Хорошее, «Леф», бельгийское. Чистый Маяковский. А собственно, может, он как раз в этом кафе и вдохновился? Отведал старинного монастырского пива и вдохновенно расшифровал – "Левый фронт"?

Вытащили бутерброды, вкушаем. Официант вертится, носом крутит, что бутерброды не ихние. Но молчит. Кстати, только один раз нам запретили есть наши бутерброды; в остальных кафе - промолчали. В том, где запретили, Гриша даже пошел объясняться. Мол, они у нас кошерные. Не помогло. А здесь, только напоследок, уже получив деньги по счету и убирая посуду вместе с обертками от бутербродов из «Корсара», официант прошипел: «Эти обертки не мои». Ну, прошипел и прошипел, пусть будет здоров и счастлив....

Хотя возмущение мне не очень понятно было. Мы ведь заказали и пиво, и кофе. А напротив нас сидел какой-то старичок. Курил. Одну сигарету, другую, третью. Читал газету. Только через полчаса, когда мы уже завершали свой скромный перекус, старичок заказал чашечку кофе. И никто ему слова не сказал...

Я на него не так просто пялился - прямо над плечом левым старичка, на фасаде здания Оперы, золотая фигура воздымалась. Франция, тонкий вкус, фа-фа, ля-ля, аристократы духа. А, по-моему, это золотое чудище на

фронтоне Гранд Опера - а их два, по обеим сторонам - образец безвкусицы и вульгарности.... Не забыть!

Из дневника Риты Векслер

День пятый

В этот день мы много гуляли. Пешком – вдоль Сены, через Консьержери и магазин «Шекспир и компания» к музею Орсе. Там покрутились несколько часов, и снова пешком, через сады Тюильри и Вандомскую площадь к Опере. Возле Оперы засели в кафе, достали наши бутерброды кошерные и под пиво с кофе умяли. На Яшу музей явно произвел сильное впечатление. Говорили мы про импрессионистов, тут я возьми да и скажи что-то про аристократизм французской культуры. Яшка аж подскочил:

- Французские аристократы? Вот ты, Ритка, мне все про аристократизм французской культуры втолковываешь, про изысканность кухни, литературы, театра и прочих милых прелестей французской, как они сами говорят, цивилизации. И тут, естественно, возникает вопрос: а что сие, собственно, означает - аристократизм, голубая кровь? Подразумевается, что многие поколения предков аристократа умели читать и писать. То есть были приобщены к культуре. И приобщение это не могло не сказаться на их уровне интеллекта и морали. По Лотману: у интеллигента побуждающее начало - стыд, а у раба - страх. Князь Волконский на Бородинском поле крикнул офицеру, прилегшему на землю, когда возле них упала французская граната: «Стыдно, господин офицер!» Пусть даже ценой собственной жизни, но офицеру стыдно демонстрировать испуг. Князь Андрей - это символ аристократа, несомненный обладатель той самой голубой крови, свидетельствующей о наследственной культуре ее носителя.

Короче говоря - аристократия на деле означает грамотность в нескольких поколениях. И тут я хочу обратить внимание, что в этом самом городе Париже,

несколько сот лет назад многие дворяне, даже самые титулованные, не умели читать и писать. А в средние века и короли европейские бывали неграмотными. Потому и брали себе в советники умных евреев.

В ТАНАХе описывается, как еврейский герой Гидон, разгромив войско мидьянитян, преследует двух их царей, оставшихся в живых. Вместе со своими тремястами воинами (история о том, как он их выбрал, когда они лакали воду из Иордана, не выпуская из рук оружие, всем известна), Гидон просит у жителей деревушки Сукот, повстречавшейся ему на пути, несколько ковриг хлеба для бойцов. Но эти неблагодарные людишки, которых Гидон и его воины только что спасли от мидьянского порабощения, отказывают – мол, кто ты такой, знать мы тебя не знаем. У Гидона нет времени на разборки, он уходит, но обещает, точно, как Шварценеггер, вернуться. И возвращается. Захватывает мальчика из Сукот и требует, чтобы тот составил ему список правителей и старейшин этой злополучной деревеньки. Мальчик составляет список, насчитывающий 77 человек. И Гидон, как написано, проучил их колючками пустыни. Что это в точности означает – неизвестно. Да и не важно. Важно нам другое, что эта история произошла в начале десятого века до нашей эры. То есть когда по территории будущей Франции мамонты еще бродили в папоротниках, а галлы в звериных шкурах дубинами плющили друг другу черепа, мальчик еврейской деревни в Эрец Исраэль умел читать и писать! Чего не умели французские герцоги и графья спустя две тысячи лет. Когда Анна Ярославна приехала сюда, в Париж в XI веке нашей эры, чтобы выйти замуж за короля Франции Генриха Первого, то она потрясла двор тем, что умела читать и писать. В том числе и на латыни. А сам король и большая часть его придворных были неграмотными!

Истинные аристократы духа - это мы, евреи. Мы грамотные не три поколения, а три тысячи лет. Без перерыва. Поэтому мы - голубая кровь человечества. А не лабазники с ушкуйниками из черных сотен Ле Пена с Макашовым.

Из записок Якова Вассермана

День шестой

Музей Помпиду. Королева в восхищении! Снимаю шляпу (хоть это и не в нашей традиции) перед теми, у кого хватило фантазии, смелости и мужества забаббахать такое вот чудо-юдо с трубами по периметру в самом центре османовского Парижа!

Рита сразу потянула нас на самую верхотуру - пятый этаж, к любимым ею Пикассо и прочим кубистам с сюрреалистами. Добирались мы туда странным образом. Доехали до пятого этажа по эскалатору, идущему вдоль фасада в одной из прозрачных труб. Но войти – кукиш. Надо спуститься по этому же эскалатору на четвертый этаж, а с него подняться на лифте на пятый. Почему? А вот так.

И тут я вспомнил рассказ моего приятеля с авиабазы Тель-Ноф. Он еще застал время, когда на вооружении наших ВВС стояли французские «Миражи». Мучились с ними техники неимоверно! Чтобы добраться до любой детали двигателя, надо было его почти весь раскурочить. Все прямо в раю очутились, когда де Голль прекратил поставки оружия Израилю, и ЦАХАЛ перешел на американские «Фантомы». В них все просто, логично и доступно. Та же самая история и с французскими автомобилями - наворочено, наверчено так, что любой ремонт превращается в разборку чуть ли не всего автомобиля. Видимо, свойство ума у французов такое. Для искусства хорошо, а для техники - швах!

Ритка влюблена в Пикассо и сюрреалистов. А я ничего в них не понимаю. Вопиющий пробел в образовании! Столько раз смотрел эти картины - ну не трогают они меня. Плисецкая как-то о современном балете, который в СССР не пользовался популярностью, сказала: «Не любят потому, что не понимают».

Попросил Ритку объяснить, мне - косному религиозному провинциалу, - что почем. И она старалась. Объясняла, объясняла, да без толку.

- Что сие должно означать? - спрашиваю, указывая на какие-то фиолетовые сосульки Пикассо.

- О, это очень интересно, - говорит Рита, - в последние годы жизни Пикассо, неутомимый ловелас, утратил потенцию. Эти совсем не сосульки, а фаллические символы, выражают его отчаяние и тоску по утраченной мужской силе.

Ну, хорошо, выражают. Понял. Но и после понимания меня эти сосульки совершенно не трогают. Ни уму, ни сердцу. Сказал бы прямо – каляки-маляки. Да неудобно, Пикассо как-никак.

В одном из залов наткнулся на картину Фердинанда Леже. Ну, просто эскиз музея Помпиду. Совпадения такого быть не может. Явно создатели музея вдохновились картиной.

Но в основном, после трех часов хождения по пятому этажу – чувство полного разочарования. Ну, хорошо, объясняла мне Рита что, как, почему и зачем. Сердца моего это не тронуло. Не дорос я еще до этой музыки. Но запомнить, конечно, надо. Иными словами - это вагон не моего поезда, пусть его другие изучают. А я в случае необходимости, дай Бог поскорей, займусь импрессионистами.

А на Ритку эти каляки-маляки влияние просто поразительное оказали. Девушка аж вся светилась, таская меня от картины к картине и рассказывая во всех подробностях, когда они, как и с каким умыслом были нарисованы. И Гришка, обычно уступающий женошке пальму первенства по разговорам, тоже высказался: «Когда я вижу это, у меня внутри все просто переворачивается». И Ритка присовокупила: «Для меня этот музей - центр мира. Ну, один из центров. Когда мы только попали в Нью-Йорк, родственники взяли нас на прогулку. На Пятой эвеню моя сестричка Зойка остановила нас и сказала: "Ребята, поймите, вы стоите сейчас в центре мира! В центре мира!"

И я с ней согласна. Один из центров мира находится на Пятой эвению, между музеями Гуггенхайма и Метрополитен. Точнее - в них, этих музеях».

Ну, я, конечно, ответил.

- Ритуля - центр мира находится в Иерусалиме, на Храмовой горе, - говорю, - Там, где началось сотворение планеты и человека. Там место наиболее близкое к Небесам. А все остальное - производное. То есть - второстепенное.

Спустились на первый этаж и уселись в буфете грызть свои кошерные сэндвичи. Пиво было только французское. Мама миа! Кислая моча!

Вот такой полный облом вышел мне в музее имени Жоржа Помпиду-с. Сидели в буфете долго. Ноги гудели, не было никаких сил двигаться дальше – все-таки это уже шестой, последний, день наших прогулок по Парижу. Натопано много километров, накоплены впечатления и физическая усталость. Как говорила моя бабушка, Двойра Хаймовна, имейте Бога в желудке...

Предварительные итоги - много материала, надо будет все хорошенько потом вспомнить, продумать и осознать. Полезная, конструктивная поездка! Да и с ребятами пообщались с огромным удовольствием. Столько лет прошло после нашей последней встречи в Одессе - а будто и не расставались вовсе!

Сиюж сейчас в самолете по дороге домой, перечитываю написанное. И сам себя не узнаю. С чего вдруг эти словечки из меня попёрли – скумекал, голые сиськи, облом, американки толстозадые... Тон развязный, можно подумать, автор записок выпендривается. А выпендриваться ведь не перед кем, эти записи только для меня предназначены. Но я ведь так не разговариваю! Ни дома, ни с друзьями, ни сам с собой. И никогда не разговаривал! Откуда это жлобство?

Я провел над собой эксперимент, попытавшись вернуться в культуру, из которой убежал много лет назад. Я вырос в ней, но своим в ней себя никогда полностью не ощущал. Всегда, все те годы, я чувствовал сперва

неосознанно, а потом с пронзительной тоской раздвоенность, фальшь, неприкаянность. Мои друзья восхищались Феллини, часами обсуждали «Амаркорд», а я чувствовал себя Яковом, не помнящим родства. Феллини - это замечательно. Но только когда есть база, стержень. Ни Пушкин, ни Ренуар таким стержнем для меня не были.

Только погрузившись в изучение еврейских текстов - сперва на русском, а потом на иврите, - я эту базу обрел. Тогда все стало на свои места, приобрело правильные пропорции. Когда же я начал жить в соответствии с этими текстами, пришли цельность, ощущение найденного смысла жизни. И спокойствие.

Да, спокойствие. Которого нет в этих записях. Вот потому они такие ломаные, вывернутые, претенциозные. Я приехал в Париж, а вернулся на 30 лет назад - к тому Якову, который восхищался импрессионистами и стеснялся своего слишком еврейского имени. Подспудно я это ощутил, царапая бумагу «Пайлотом». И ощущение это вылилось в вымученное щелкоперство, кривляние и ненормативную для меня лексику. Нельзя вернуться назад. Тем более, когда этого не хочешь.

Из дневника Риты Векслер

День шестой

В последний день пребывания в Париже я все-таки сумела затащить Яшу в музей Помпиду. Он и так и этак откручивался, мол, не люблю, не понимаю, не нравится. Но я настояла. Какое удовольствие я получила от тех часов, что мы ходили по залам! И не только от любимых картин, но и от внимания Яши. Он пытался вникнуть, интересовался деталями, слушал меня, не перебивая (!), что уже само по себе свидетельствовало о важности для него и самой темы, и моих, пусть несколько сбивчивых, но основательных объяснений. Без лишней гордости: я очень, очень много читала про этих художников, их творчество,

личную жизнь. И мои объяснения ничуть не хуже тех, что дают искусствоведы во время экскурсий по этому музею.

Яшино внимание было приятно. Но, хотя задавал он правильные вопросы, особого впечатления на него всё это не произвело. Когда я поняла, что мои усилия тщетны, я свернула свою лекцию. Мы отправились в буфет - перекусить и ногам отдохнуть. И тут, хоть я даже Яшу не просила, он подвел итог нашей поездки.

«Я сейчас подобью бабки нашего недельного гуляния по невозможной красе города Парижа. Начнем издалека. После разрушения Второго Храма евреи ушли в изгнание, длившееся почти две тысячи лет. Национальный диалог со Всевышним, который вели евреи в Земле Израиля, сменился индивидуальным, который каждый еврей вел в рассеянии. В XVII веке Гаон из Вильно сказал так: «Еврейский народ умер, тело сгнило. Остались сухие кости, которые обрастут мясом и восстанут к жизни». Гаон хотел сказать, что без нахождения в Земле Израиля народ Израиля мертв как национальный организм, как социум.

И вот в конце XIX века эти самые сухие кости начали обрастать мясом. В выжженную Палестину прибыли сионисты и превратили её в цветущий край. Сионизм – новый поворот в еврейской истории: возвращение народа домой и переход от индивидуального диалога с Богом к национальному. Будущее не за теми, кто ведет себя так, будто ничего не изменилось, мы по-прежнему живем в гетто, и самое главное для нас - индивидуальный диалог с Богом. Будущее за теми, кого называют религиозными сионистами.

Какое отношение весь этот экскурс имеет к нашим прогулкам по Парижу? Самое непосредственное. Во время предыдущего периода национального диалога со Всевышним, евреи создали ТАНАХ, то есть Библию. Три монотеистические религии, базирующиеся на ней, изменили лицо человечества.

Но! Человечество не восприняло созданную нами другую великую книгу - Талмуд. Почему? А потому, что Талмуд был создан уже после начала изгнания, когда еврейский народ,

по определению Гаона, был мертв и находился на этапе индивидуального диалога.

И вот теперь мы возвращаемся домой, теперь мы в начале нового поворота. И мотор ревет. Но мы точно знаем, что поворот этот несет нам взлет, а не омут. Я имею в виду не только создание мощного еврейского государства. Поворот породит новое интеллектуальное творение еврейского народа, которое будет принято всем человечеством. Оно будет посвящено национальному диалогу со Всевышним, и, создавая его, мы обобщим культурный и духовный опыт человечества. В том числе картины импрессионистов, скульптуры Родена и даже все эти, - Ритка, не обижайся, - каляки-маляки из музея Помпиду. Вот поэтому я и бил ноги себе и вам по парижским мостовым».

КОРСАР ИЗ КВАРТАЛА МАРЕ

Стеллажи заполняли почти до самого верха витрину кафе «Корсар». Эклеры, залитые коричневым и белым шоколадом, безе величиной с наперсток и с голову младенца, корзиночки с ореховой начинкой, увенчанные апельсиновыми дольками и клубникой, - пели густыми, сладкими голосами гимн искусству еврейских кондитеров.

Этот гимн не портила даже несмываемая белозубая улыбка черного повара, мелькавшего в окне кухни. Голову его украшала белая вязаная ермолка брацлавских хасидов, по краю которой вилась ивритская надпись: «Н-На-Нах-Нахман». Потомок обитателей африканских джунглей прошел, скорей всего, гиюр и стал полноценным евреем, которому дозволялось готовить кошерную пищу. Другого, впрочем, и быть не могло - иначе у входа в кафе не висело бы удостоверение о кашруте, подписанное главным раввином Парижа.

Из второго, узкого и высокого окна на прохожих смотрел еврей, одетый в полное облачение венгерского хасида - круглый меховой штраймл, длинную черную капоту, перехваченную выше пояса черным шелковым пояском-

гартлом, белые чулки до колен. Стекланные глаза его, изготовленные опытным мастером, смотрели на мир настороженно и печально.

«Корсар», расположенный на отшибе Розье, главной улицы квартала Маре, притягивал посетителей не только иудейского вероисповедания. Но шесть его небольших столиков занимали, в основном, местные евреи и соблюдающие кашрут израильтяне.

В конце весеннего месяца апреля две пары средних лет повадились посещать «Корсар» каждое утро. Они явно были туристами, но туристами странными. Парижские достопримечательности словно и не манили их своими прелестями.

Четверка никуда не спешила: долго завтракала, перемежая обильными разговорами фирменную корсаровскую яичницу с лососем. Заказывали несколько пирожных, каждый раз новых, еще неопробованных, и смаковали под кофе. Между собой общались на русском, с официанткой одна пара говорила на английском, вторая на иврите. Они явно были евреями, а один, с тронутый сединами бородкой и заметным брюшком, носил под кепочкой с надписью «Париж» вязаную ермолку. Усевшись за столик, он кепочку снимал, но выходя из кафе, надевал вновь.

С другими посетителями обе пары в разговоры не вступали, явно не желая общаться. Как-то напротив них оказались две курносые, ухоженные блондинки на возрасте, оживленно обсуждавшие на русском редакционные новости какой-то московской газеты. В кафе дамы, похоже, забрели случайно. Две пары резко снизили громкость разговора, явно не желая привлечь их внимание.

В пятницу утром, едва четверка начала очередной завтрак, за соседний столик уселся молодой парень. Редкая бородка чуть курчавилась на его щеках, одежда ученика ешивы – черная бархатная ермолка, белая рубашка с длинными рукавами, черные брюки – была чиста и аккуратна. Вел он себя как праведный ешиве-бухер – заказал стакан кофе и сразу уткнулся в толстую книгу, одну

страницу которой занимал текст на иврите, а вторую - на французском.

- Он читает «Танию», главную книгу ХАБАДа, - сказал Яков Вассерман.

- Это хорошо, или плохо? - поинтересовалась Рита, сидевшая напротив.

- А какая вам разница? - удивилась Хава и ткнула мужа локтем. - Некрасиво так пялиться на постороннего человека.

Интерес Якова не прошел незамеченным.

- Меня зовут Эли, - представился ешиботник на иврите, - Вы туристы?

- Мы из Израиля, а они, - Яков показал на Риту с Гришей, сидевших спиной к Эли, - из Нью-Йорка. Но это сейчас, а родились и выросли мы в Одессе, Украина.

- Где будете на шабат? - неожиданно поинтересовался ешиботник.

- В гостинице, где же еще, - ответил Яша, - а на молитву я пойду в синагогу «Игуд кегилот».

- Я приглашаю всех к себе домой, - сказал парень, - Родители будут счастливы. Мой отец – еврей из Марокко, мать - французская еврейка. Мы столько слышали про русских евреев, но никогда с ними не встречались.

- Ни в коем случае, - сказала по-русски Хава, - это неудобно.

- Действительно, с какой стати? - поддержала Рита.

- А почему? - Гриша посмотрел на них удивленно, - У вас будет еще раз в жизни случай пообщаться с французскими евреями? Без шума, спешки, и в домашней обстановке?

Эли заметил колебания и добавил:

- Не стесняйтесь. Ведь если бы я был в вашем городе, разве вы не поступили бы точно так же? Помочь еврею кошерно провести шабат - большая мицва.

- Где мы встретимся? - спросил Яков.

- Я зайду за вами в гостиницу в половине восьмого вечера. Пойдем в синагогу на вечернюю молитву, а потом к нам. Мы живем недалеко от «Игуд кегилот».

За пять минут до назначенного срока Яков вышел из своего номера. Гриша идти в синагогу отказался. Портье уткнулся в айфон. Маленький холл гостиницы был пуст. Тишина стояла в нем, как Вандомская колонна. Без пятнадцати восемь Яков позвонил жене в номер.

- Его все еще нет.

- Как?

- Он не придет. У меня было предчувствие - с бухты-баракты незнакомых людей в дом не приглашают. Мейле, в синагоге он меня бы встретил, на молитве. Тогда понятно. Но в кафе?

- И что же теперь делать?

- Накрой стол из того, что есть. Халы, вино - это главное. И проведем шабес-койдеш, как полагается.

Синагога «Игуд кегилот», открытая в августе 1914 года, в канун страшных для евреев Франции событий, напоминала архитектурой католический собор. Внутри она была длинной, узкой и высокой. От собора ее отличало отсутствие органа и распятия. Ряды деревянных лавок были пусты. Одинокие посетители торчали там и тут, как зубы в челюсти старца. Яков пристроился в правом углу. «Это называется плюнуть в душу», - не сдержавшись, прошептал он по-русски.

А потом пришла царица-суббота. И вторая, дополнительная душа Якова, спускающаяся, согласно каббале, к каждому еврею после начала шабата, махнула рукой на огорчения будней.

- Гэвел гаволим, кулой гэвэл, - сказал Яков, - жизнь – смитье, люди - аферисты.

В фойе гостиницы его ждали жена и двое друзей.

- Ой, ты не знаешь, что было, - затараторила Хава. - Как ты ушел, Гришка начал звонить на мобильник этого шаромыжника. Телефон не отвечал, мы подумали, что уже из-за шабата. Гришка взял такси и поехал по адресу, который он нам оставил. Ехал минут двадцать – и это называется рядом с синагогой? Нашел огромный многоквартирный дом, с запертыми дверями и без

указателей фамилий. Вот тебе и заповедь «ахнашат орхим» (гостеприимства).

- Я это так не оставлю, - проворчал Гриша, - он ударил по самому святому, он говорил слишком правильные слова. Я найду этого афериста.

Яков усмехнулся,

- Оставьте. Есть люди, умеющие выполнять заповеди. На них держится мир. А есть люди, не умеющие выполнять заповеди, но пытающиеся это сделать хотя бы на словах. Основатель хасидизма Баал Шем-Тов сказал, что даже лист, упавший с дерева, не может перевернуться без воли Всевышнего. Все, что с нами случается, происходит не просто так, а должно нас чему-то научить.

- И чему нас должна научить история с этим фармазонщиком, с этим бандитом из «Корсара»? - спросил Гриша.

- Что о заповедях нужно не говорить. Их нужно исполнять. Исполнять! Кстати, о заповедях, Хава, ты принесла из номера вино для кидуша?

Хава с Ритой приготовили за их обычным столиком в фойе субботнюю трапезу - две халы, покрытые салфеткой, бутылка вина, сыры, купленные в кошерной бакалее квартала Маре, рыбные консервы, привезенные из Израиля.

Яков налил полный бокал и поставил его на ладонь правой руки. Люстра повисла над его головой, как солнце над горой Синай. Слова кидуша осенили гостиничное фойе.

- Вот что я скажу вам, ребята, - Яков разлил оставшееся вино в три стаканчика и поставил на стол. Помните, как заканчивается «Коэлет», в котором царь Шломо сформулировал на веки вечные принцип всех циников: «Гэвел гаволим, кулой гэвэл»? Или, по-русски, - «суета сует и всяческая суета»? Не помните, конечно. Это я из уважения к вам риторический вопрос задаю. А я помню. Вот так: «Только Бога бойся и заповеди его соблюдай. Потому что в этом - весь человек».

РАССКАЗ

В октябре прошлого года я ехал по делам из Балтимора в Нью-Йорк. На поезде. Время у меня было, и я мог себе это позволить. Лететь? – Нет. Наверное, я по натуре консерватор. Мне больше нравится, когда из одного города до другого, до которого несколько сот километров, едешь несколько часов, когда можно и отдохнуть и подумать. А не так: сел в самолёт и через час ты на месте. Короче, купил билет, зашёл в своё купе и обнаружил сидящего там седовласого господина располагающей наружности. Поезд тронулся, и минут через десять этот джентльмен предложил: уж коль мы с вами попутчики, не познакомиться ли нам с вами, мистер, простите, не знаю вашего имени.

- Чарльз, – говорю я, - можете меня звать просто Чарльз.

- Эндрю, - говорит он. - Вот и познакомились. Должен вам признаться, Чарльз, я часто езжу и к тому же любитель пообщаться в дороге. А вы?

- Ничего не имею против, - говорю я. - Беда только в том, что собеседник я никудышный. Я, знаете ли, технарь, и голова у меня забита формулами и числами. У меня даже анекдоты в голове не держатся.

- Во всём есть положительная сторона, - говорит Эндрю.
- Если вы любитель помолчать, то я, напротив, любитель поболтать, так что мы с вами можем провести время с обоюдным удовольствием. Как раз сейчас меня распирает одна история, которая просто просится быть рассказанной. И если вы не против, я вам её расскажу.

- Я весь внимание, - говорю я Эндрю, - рассказывайте, я с удовольствием послушаю.

- Ну, так слушайте. Много лет тому назад путешествовал я на своём старом «бьюике» по Среднему Западу. И, проезжая через какой-то заштатный городишко,

остановился у некоего заведения – то ли маленькая гостиничка, то ли просто забегаловка, с целью перекусить, а заодно и отдохнуть, чего не сделаешь за рулём. Вошёл в зал, почти пустой, Только одна пара за дальним столиком и официант, он же, похоже, хозяин этого провинциального райка. Помню, заказал бифштекс, овощной салат и бутылочку пива. Хозяин принёс мне заказ и отошёл, но, смотрю, мается в одиночестве, явно желая пообщаться. Я, как видите, человек общительный, а потому возражений не имел. В общем, он подсел ко мне и пошли обычные расспросы: откуда, куда и всё в таком духе. А я, в свою очередь: как дела, как справляетесь, народу, смотрю, мало... Что держит на плаву?

- Справляемся нормально, - говорит Гарри, так звали хозяина. - Уже несколько лет держим с другом это заведение и не жалуемся. В будни, конечно, народу не много, но по выходным хватает. У нас тут рядом шахта, так что по субботам и воскресеньям оправдываем всю неделю. В общем, жить можно.

- Не думаю, что шахтёры народ весёлый, - говорю я, - не скучно с ними?

- Да нет, - говорит хозяин, - а кроме того ведь и приезжие бывают, вроде вас. Так что на скуку не жалуемся. А народ бывает всякий, иногда очень даже интересный. Вот, например, у меня каждый понедельник уже два года появляется один молодой человек. Видно, что культурный и явно не богатый. Каждый понедельник у меня утром перекусывает, и каждый четверг возвращается ближе к вечеру, ужинает и домой. Вот как-то раз я вижу, что парень не торопится, и мы с ним разговорились.

Оказывается, он начинающий писатель. По понедельникам возит свои произведения в соседний городок то ли в редакцию, то ли в издательство, я в этих делах не разбираюсь. Что, говорю, романы пишешь? Нет, говорит, не романы, а рассказы. Такой, говорит, у меня творческий организм, что мне интереснее всего писать именно рассказы. А романы, говорит, мне даже не интересны. Ну, а как, говорю, вам платят за эти рассказы?

Оказывается, такую мелочь. Так и бросьте, говорю, вы это пустяковое дело, ведь и ноги протянуть не долго. Вот сколько вы тратите времени на один рассказ? Это, говорит он, по-разному: иногда день, а когда и неделю.

«И за такое время такие деньги! – говорю я. - Да у меня уборщица больше зарабатывает. А знаете, пришла мне в голову мысль, я вашему делу не учился, но уверен, что написал бы рассказ максимум за полдня. Страниц пять-шесть – да запросто». Ну да, говорит он, это со стороны глядя всегда просто. А на деле иной рассказ романа стоит.

«А давайте, - говорю я, - мы с вами поспорим: вы уезжаете на четыре дня, а по приезде я выдаю вам рассказ, написанный за полдня. Я человек честный, не обману. И если вы считаете, что это мазня, я плачу вам пятьдесят долларов, а если признаёте его за рассказ, то полста долларов с вас». «Идёт», - говорит он; ударили мы с ним по рукам, и укатил он в свою редакцию. А я перед сном задумался о рассказе, который, не подумав, пообещал написать. А подумав, честно вам скажу, дрогнул.

С чего это я решил, что могу написать рассказ, когда я матери своей письмо толком написать не мог? Подвела меня, видать, доза испанской крови – эти латиносы известные хвастуны. Конечно, я всегда любил почесать язык, и среди приятелей славился хорошим рассказчиком, да и приврать всегда умел. Но ведь одно дело веселить компанию, а другое рассказы писать. Литература!

Но делать нечего, стал я думать, а точнее вспоминать. Жизнь-то у меня была богатая, особенно в молодости. Вспомнил то, вспомнил это, а потом взял бумагу и начал потихоньку кое-что записывать. Сначала этак робко, а потом рука сама начала карандаш двигать, только успевай листки менять. Так рассказ и написался. Конечно, я в нём многое переделывал, исправлял, но в основном писал почти начисто. А потом, как будто ото сна очнулся, перечитал своё произведение и, помню, подумал: а что, рассказ получился, вроде, интересный, не как у Марка Твена, но тоже ничего. Может, полсотни баков он и не стоит, но и с меня их тоже вряд ли получат.

Так и получилось. Показал я молодому писателю свой рассказ, когда он из редакции своей вернулся. Почитал он его и говорит: «У вас, мистер, явный литературный талант, я бы на вашем месте этим делом серьёзно занялся». А ещё – достаёт он бумажку с портретом мистера Гранта и вручает мне со словами: «Берите, мистер, вы заслужили». К слову сказать, на эту бумажку я часы купил золотые, которые сейчас у меня в жилетном кармане тикают, да подарки своей жене Мэри и детишкам. А насчёт рассказов, говорю тому парню, с меня и этого хватит. Спасибо, разобрался, не простое это дело, но уж лучше я по-старинке на своём месте поработаю. Каждому, говорю, своё. Вот так. А вы, мистер – это уже к Эндрю – не хотите почитать?

- А я, - продолжает уже сам Эндрю, почему, думаю, нет? Даже интересно, первый, можно сказать, литературный опыт. Вот только времени уже нет, пора двигаться дальше.

- Да я вам его с собой дам, - говорит хозяин и протягивает мне пачечку исписанных листочков. Сунул я их себе в карман плаща, расплатился, сел в свой верный «бьюик» - и вперёд.

Уже только дома через неделю достал их, начал этот лениво и... зачитался. Да так, что прочёл до конца, ни разу не оторвавшись.

- Да, говорю уже я,- такой рассказ и я бы, пожалуй, почитал.

- А вы и почитайте, - говорит Эндрю и протягивает мне небольшую пачку бумаги. - Я бы вам сам прочитал. Но чтец я неважный, да и написан он от первого лица. Почитайте, не пожалеете. А мой язык пока маленько отдохнёт.

Взял я у Эндрю эти листки и стал читать. Привожу вам этот рассказ, как он был написан. От первого лица, ничего не убавляя и не прибавляя.

«...В то время мы с Джимом колесили по Среднему Западу, ища какой-нибудь работы или вообще какого-нибудь стоящего дела. Из одного городка в другой, от одной фермы к следующей. И однажды попали в маленький отельчик, который держала пышная женщина, как раз

такая, какие мне нравятся. Такие, знаете, чтобы спереди у неё было всё необходимое, и сзади. Но это к слову. Договорились мы с ней остановиться у неё на два-три дня за мужскую, которой её отельчику явно не хватало, работу. Ограду поправили, окна, двери в порядок привели. И смотрю – хозяйка, Лиззи её звали – явно на меня глаз положила. А я на неё.

Не буду о подробностях, скажу только, что третью ночь мы провели в одной постели, после чего мы с Джимом остались ещё на неделю. А в конце недели она мне и говорит: есть, Джек, у меня для вас с Джимом хорошая мысль. Тут в нескольких милях вверх по этой дороге есть такое же заведение, как у меня. В хорошем состоянии, там хозяин - старичок, мужчина аккуратный. Так вот, продаёт он своё заведение, и продаёт дёшево. Решил, что хватит работать, пора и отдохнуть. Продам, говорит, и двину куда-нибудь к морю. Вот и купите вы с Джимом этот отельчик. Я тебе на первое время денег одолжу, ты, вижу, парень честный. А дальше вы с другом сами станете зарабатывать, парни вы работающие.

Так и сделали. Поблагодарил я Лиззи в последнюю ночь изо всех сил, а утром мы с Джимом поехали в это место, о котором она нам рассказала. Всё получилось как нельзя лучше. И хозяин цену назвал разумную, и место нам понравилось. Можно сказать, на перекрёстке и городок небольшой рядом. В общем, место оживлённое. И так мы с другом устроились, что лучше нам и не надо.

С Лиззи я честно расплатился и стали мы с Джимом работать на себя и даже потихоньку откладывать. Купили старенький, но ещё резвый «форд» и начали ездить по округе, зорко примечая, где чего продают и где цены поумеренней.

И вдруг получаю я неожиданное письмо из городка, в котором родился, провёл всё детство и где похоронены мои родители, а братьев и сестёр у меня и сроду не было. А в этом письме известие о том, что мой дядя, которого я лет пятнадцать не видел, умер и после его смерти остался бедный сирота – его папаша Тимоти, восьмидесяти с чем-

то лет от роду. И что других родственников у этого сироты нет, а стало быть, единственный вариант его устройства – это чтоб я забрал его к себе. Забрать, значит, этого двоюродного деда к себе и лелеять его старость до естественной кончины. Но, пишут мне, чтобы я особенно не беспокоился, мой престарелый родственник не какая-нибудь развалина, которому нужна сиделка, а вполне здоровый старичок, который может о себе позаботиться, если его уговорить, с одной только мелкой болезнью – какого-то то ли еврея, то ли немца Альцгеймера. Короче, приезжай, Джек, и забирай своего драгоценного родственника, потому как всё равно его больше некуда девать.

Ну и что делать? То, что я его в детстве, может, всего пару раз видел, никого не колышет, и пришлось мне ехать и забирать старика Тимоти к себе – не бросать же его в самом деле на произвол судьбы. Привёз я этого старикана к нам с Джимом, - тот, слава Богу, не возражал, - отвёл ему небольшую, но удобную комнатку, и зажили мы втроём одной, можно сказать, семьёй.

Надо честно сказать, что этот Тимоти был человек спокойный, хлопот особых не доставлял, а то, что он с утра до вечера нёс сплошную ахинею, так это было не утомительно, а иногда даже забавно.

По вечерам он сидел часами в главном зале и рассказывал тем, кто хотел его слушать, истории из своей бурной жизни. Как он воевал с Наполеоном, участвовал в англо-бурской войне, естественно, на стороне буров. Но больше всего он любил морские истории о своих кругосветных путешествиях, ибо действительно был когда-то военным моряком. Подвыпившие посетители слушали его с удовольствием. Особенным интересом пользовалась история о том, как, участвуя в Трафальгарском сражении, наш отважный Тимоти лично выбил глаз адмиралу Нельсону. Со временем я даже научился извлекать из рассказов бравого капитана пользу и брать с каждого слушателя по доллару. Единственной нашей заботой было присматривать за ним, и когда он кричал «ставить

кливера!», вести его в уборную, расположение которой он никак не мог запомнить, по малой нужде, а на возглас «свистать всех наверх!» вести его туда же по нужде более серьёзной.

Нечего Бога гневить, забот он доставлял мало и к его присутствию мы с Джимом быстро привыкли. Но я не о том, а вот о чём. Открывается однажды дверь в наш не особо шикарный зальчики всплывает такая красotka, красивее которой я в своей жизни не видел. Бог ты мой! – фигура, лицо, глазки, губки – в общем всё, что нужно. Всплывает этаким лебедем, находит место как раз рядом с бравым капитаном и заказывает себе что-то лёгкое: кофе с чем-то, не помню даже с чем. Я вообще тогда работал, как заводная кукла, потому что глаз от этой красотишки отвести не мог. Принёс я ей заказ и присел рядом, что вообще-то у нас не поощрялось. Но отойти я не мог, как будто меня к ней приклеили. Не могу не добавить, что эта лебедь была в теле, как раз такая, каких я люблю. А она знай щебечет, что едет в городок N, куда сейчас должен приехать в отпуск её кузен, который служит на флоте и страшно интересно рассказывает о своей службе. А она сама не своя до моря и хлебом её не корми – обожает слушать морские истории. Вот в прошлый раз её кузен рассказывал ей про свой парусник, где он заведует какими-то потрясающими парусами, которые называются буфера. Тут бравоый капитан Тимоти стряхнул с себя дремоту и объявил, что очаровательная мисс ошибается, что эти паруса называются кливерами, а не... Но в этот момент его отвлекла более насущная потребность, и он гаркнул «свистать всех наверх!», после чего сразу был уведён Джимом. Не забыв получить с «очаровательной мисс» доллар. Джим его увёл, а я сажу, как будто меня приварили к стулу. Дело в том, что у нас в мальчишеские и подростковые годы буферами назывались женские тить... ну, в общем, понятно. И это слово по сей день производит на меня впечатление взрыва миномётного снаряда, тем более, что у нашей щебетуньи буфера были такие, что я два часа не мог отвести от них глаз. Даже когда она ушла, я

ещё час не мог встать из-за стола, настолько красноречиво выглядели мои брюки. Через некоторое время Джим, который знал меня, как себя, подошёл и сказал: «Остынь, Джек, а то дело плохо кончится. На тебе уже сейчас можно яичницу жарить. Советую тебе, как друг: вот тебе на сегодня отпуск, а ты переодевайся и дуй к своей Лиззи. Расслабишься, можешь даже завтра отоспаться и опохмелиться, но к вечеру будь здесь как штык. Завтра суббота, народ должен пойти косяком». Следует ли говорить, что повторять Джиму не пришлось, я сорвался с места, быстро переоделся. плюхнулся в наш старенький «форд», и только меня и видели...»

На этом рассказ кончался, я отдал листки Эндрю и, не кривя душой, сказал, что чтение доставило мне удовольствие.

- А знаете, что ещё интересно, - сказал Эндрю, пряча листочки в тот же объёмистый карман. - Случилось так, что парень, писавший рассказы, о котором рассказывал хозяин отельчика, спустя некоторое время стал моим близким приятелем. А заодно и по-настоящему известным писателем, причём именно своими рассказами. Уильям Сидни Портер, вы наверняка о нём слышали.

- Простите мою неграмотность, - говорю я, - наверное, стыдно, но это имя мне ничего не говорит.

- Извините, ради Бога, - говорит Эндрю, - что я невольно ввёл вас в заблуждение. Забыл сказать, что мой приятель пишет под псевдонимом О.Генри, наверняка слышали.

- И слышал, и читал, - говорю я. – О.Генри! Смешно сказать. Да его вся Америка знает.

- Так вот, - продолжает мой попутчик, - показал я как-то Уильяму этот рассказ, тогда и обнаружилось, что упомянутый в рассказе молодой писатель – это он и есть. «Ты знаешь, - сказал он мне, - этот парень написал рассказ, а публиковать его и не думал. Честно тебе скажу, не раз было у меня искушение напечатать его под своим именем, да совесть удержала. Нельзя воровать чужую собственность, даже интеллектуальную».

Запомнил я его слова и подумал: ну пусть он не напечатан, но всё же жив, не пропал. А у него даже названия нет, так и живёт безымянным. И решил я взять на себя это дело – придумать ему название. И, подумав, остановился на таком: «Рассказ, который не написал О.Генри». По-моему, звучит неплохо. Как вы считаете?

ЧЕЛОВЕК С БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ

Словно не замечая усиливавшегося с каждой минутой дождя, пара пожилых людей молча стояла у дальней стены старого кладбища, пристально вглядываясь в полустёртые буквы надгробия. На фоне соседних оно выглядело необычно. Простой белый крест с отсутствием скульптурных украшений более естественно смотрелся бы на любом российском кладбище; здесь же, на городском кладбище Карловых Вар, где чуть ли не каждое надгробие было маленьким скульптурным шедевром, он выглядел аскетично.

Мужчина, когда-то высокий и крупный, а теперь ссутулившийся так, как обычно сутулятся очень пожилые люди, снял с головы бейсболку и, взяв её обеими руками, прижал к промокшему под дождём бежевому плащу. Бейсболка тоже смотрелась в этих местах чужеродно – Карловы Вары от Нью-Йорка всё-таки отделяют тысячи километров.

- Папа, ты простудишься, – участливо сказала его спутница. Её светлый плащ тоже промок, как и причудливая чёрно-белая шляпка, служившая скорее украшением, нежели защитой от непогоды.

Державшийся на почтительной дистанции позади них молодой человек поддержал её:

- Давид Давидович, Мария Никифоровна права. Вы не для того два месяца лечились, чтобы под конец заболеть. Всё же ноябрь на дворе.

Молодой человек с трудом подбирал русские слова, произнося их с отчётливо выраженным балканским акцентом.

Давид Бурлюк молча надел бейсболку и с явной неохотой отошёл от могилы. Сделав несколько шагов, он внезапно развернулся и поклонился.

За воротами кладбища их ждал автомобиль, новая красная «шкода-спартак».

- Спасибо вам, Илья. До сих пор не могу поверить, что простые рабочие могут теперь бесплатно лечиться в санаториях, которые недавно были по карману лишь буржуазии, – сказал Бурлюк. – И могут себе позволить такие автомобили.

- Мой друг не простой рабочий. Он инженер, к тому же ведущий. Извините, он совсем не говорит по-русски.

- В таком случае мы перейдём на французский. Да, товарищ?

Водитель улыбнулся:

- Конечно.

Дорога до санатория «Есениус» заняла десять минут. В самом конце пути Илья спросил:

- Давид Давидович, почему вам так важно было увидеть могилу этого человека? Кто он для вас?

- Дорогой Илья, вы же пишете о Маяковском? Приходите к нам в четыре. Пойдём вместе к колоннаде, пить назначенную доктором Фридом воду. Заодно и поговорим.

К четырём дождь прекратился. Когда Бурлюки спустились в холл, молодой человек уже ждал их.

- Чудесная гостиница, – сказал Бурлюк. - В самом центре. Великолепно кормят и лечат. Уже в семь утра нас будит горничная – она приносит первую воду. Вы, чехи, молодцы – не отправили бывших хозяев в расход, как это сделали в России. Потому и порядок. Доктору Фриду, конечно, вряд ли хотелось расставаться со своим имуществом, но он продолжает работать по профессии. А кто может знать всё здесь лучше, чем он?

- Вы же помните, Давид Давидович, я македонец. Беженец. Но и меня тут приняли, дали возможность бесплатно учиться, а теперь вот за счёт государства отправили сюда лечиться. До сих пор в это не верю.

Они вышли из гостиницы и повернули налево, к колоннаде. Над рекой Тепла поднимался пар, утки перебирали ногами по дну, медленно идя против течения. Вдоль колоннады прогуливались пары, а всегдашние

карловарские пальмы в кадучках пытались создавать иллюзию южного города. В ноябре это у них уже плохо получалось.

- Вы спрашивали, дорогой Илья, о том, кто этот человек. Я скажу, но сначала хочу поблагодарить вас за то, что вы рассказали нам об этой могиле, и за то, что уговорили своего товарища отвезти нас к ней.

- Я узнал о ней совершенно случайно. Мой университетский друг – большой поклонник Матисса. Как-то он упомянул, что в Карлсбаде похоронен какой-то знаменитый русский коллекционер, лично знавший Матисса и покупавший у него работы. Сказал, что могила находится в самом конце кладбища. Я подумал, что вам может быть это интересно. Я и сам был там сегодня впервые.

- А вы знаете, что я рисовал в Париже, у Кормона, на том же мольберте, на котором перед этим рисовал Матисс? А потом выставлялся с ним у Издебского и встречался в Москве? Ну ладно, это не так важно. Важно то, что мы вас встретили, и то, что успели побывать на кладбище. И всё это – за день до отъезда. Это просто чудо.

Давид Бурлюк посмотрел на жену. Она молча кивнула.

- Его могила считалась утраченной. Её искали во Франции, в Швейцарии... Никто не знал, где он похоронен. Разве что ближайшие родственники. А ведь когда-то его имя гремело по всей России. Иван Абрамович Морозов... Впервые я побывал в его доме весной 1910-го года. Тогда же я увидел и коллекцию его друга и соперника, Сергея Щукина. Это был переворот. Всё, чему я учился до тех пор, пошло на сломку. После этого я уже точно знал, что буду делать дальше. Какой у Морозова был Сезанн! Даже не знаю, у кого в то время было больше работ Сезанна, чем у него. Я себя считал тогда постимпрессионистом, и Сезанн был для меня следующим шагом. Мы с братом прошли его быстро. За ним последовал Пикассо.

- А Маяковский бывал в его доме?

- Конечно. Без этого было никак нельзя. Хотя попасть к Ивану Абрамовичу было гораздо сложнее, чем к Щукину.

Сергей Петрович иногда сам даже экскурсии по дому проводил. Кстати, как называется ваша дипломная работа?

- «Маяковский как лирик».

- Замечательно. Илья Костовский. Мы напишем о вас в нашем журнале. Но пойдёмте назад – у нас в шесть ужин, а потом концерт в музыкальном холле отеля «Москва». Чайковский и Хачатурян. Отель «Москва»... Интересно, как он назывался раньше?

- Грандотель «Пупп».

- Давно переименовали?

- Кажется, шесть лет назад, в 1951-м.

- Понятно. Интересно, где теперь раскулаченные хозяева. С этим всегда дилемма – с одной стороны, не хочешь оказаться на их месте, с другой радуешься, что в их отеле теперь могут остановиться и простые люди. То же и с коллекциями Щукина, Морозова... Хотел бы я, чтобы мою собственную коллекцию национализировали? Наверное, нет.

Бурлюк взял жену под руку, и они не спеша пошли к гостинице.

Когда они возвращались с концерта, было уже темно. Свет полной луны был ярче света фонарей на набережной. Бурлюки медленно шли вдоль реки. Несмотря на вечернюю прохладу, возвращаться домой не хотелось.

- Прекрасный Чайковский и прекрасный Хачатурян. Скажи, Марусенька, ты не скучаешь по музыке?

- Даже когда я не играю, она звучит у меня в голове, милый.

Они поднялись к себе в номер, на третий этаж. Не снимая плаща, Давид Давидович открыл дверь на балкон, шагнул на него, облокотился на перила и надолго замолчал.

Через несколько минут жена вышла к нему.

- Ты думаешь о Морозове, милый?

- Да, Марусечка.

- Он был великим человеком.

- Да. С отличным, почти безупречным вкусом.

- Почти?

- Ну, ведь тогда, на первом «Венке», он купил работу Ларионова, а не мою. Но сейчас не об этом. Ты понимаешь, что интересно? Он ведь собирал коллекцию для себя, а помог мне. И сотням других художников. И вот один из величайших мировых коллекционеров похоронен в провинции, не глухой, но провинции, у дальней стены кладбища, и никто, кроме случайных людей, не знает, где его могила. Ну и что? Всё равно ведь о нём помнят, и будут помнить многие поколения. Имя его сохранится в истории благодаря его делам.

- Как и твоё, милый.

- Очень надеюсь на это. Сегодня утром, у его могилы, я решил. Не хороните меня на кладбище. Не устраивайте торжеств. Просто кремируйте и развейте мой прах над океаном. Если кто-то захочет меня помянуть, пусть прочтёт мои стихи или сходит в музей, где висят мои работы.

- Хорошо, милый. Но с одним условием.

- Каким?

- Мой прах развеют вместе с твоим.

Михаил Юдсон

«ОСТАТКИ»

**Составление, предисловие и примечания
Романа Кацмана**

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Начало см. в № 14.

Революционер-народник — кот ученый. А за ним бегают мышка-наружка.

-

Шабтай Цви публично совершил хупу со свитком Торы.

-

Проза — она женского рода. Читаешь что-либо эдакое, подходящее — уже мозги под хупу просятся... под венец!

-

Из цехов Чехова вышла русская литература.

-

На то, что нонеча в Московии издали — хорошо смотреть из дали.

*

Кумысолитейные и хлопкосеющие республики!!!

-

Никанор Иваныч Босой сначала — «в гуще огненного борща», а потом — \адова холодная\ баланда, «в жидкости одиноко плавал капустный лист» — в геенне.

-

Шарик, дворовый пёс — от «шаар», ворота [иврит].

-

«Его отучали от пьянства, прививали ненависть к своей стране и своему народу» (Аркадий Адамов, «Дело 'пёстрых'»).

*

«Москва с ее холодом, плохими пьесами, буфетом и русскими мыслями пугает мое воображение...» (Чехов, письма).

Сидели мы на реках вавилонских, на проспекте Навои
(Ахматова в Ташкенте) — и плакали...

-

«Дай бог всякому так пожить: и в бога верил, и свет был, и
сочинять умел...» (Чехов, «Письма»).

-

Пролетает Санта-Клаус над Африкой и бурчит: «А детям,
которые плохо кушают — никаких подарков».

*

Лишился я черепицы над черепом...

-

Перо, струна — громолньи Перуна. Бренчит \в облацех\
баянит, гармонит...

-

Воланд — это все равно низменное, тьма души, дна лов.

-

Люблю тель-авивскую топонимику — улицы Членов и
Ласков, Орлов, Соколов да Дубнов... \Родные просторы!
Уссышкин!

-

«Книги вообще идут не сразу, а измором, через час по
столовой ложке...» (Чехов)

*

Булгаков не зря в черновых вариантах «М и М» крутил и
вертел фио персонажей. «— Не ругайте его, он раскается»,
— сказано про Никанора Ивановича Босого. Внутри
Никанора — Каин.

-

Авраама он упрямо звал Эйб. «Пришел Эйб к Саре...»

-

У писателя Адамова-сына, в его дебютном романе «Дело
'пёстрых'» действует негодяй и убийца — высокий,
плечистый, черноглазый — по фамилии Горелов! Они таки
возвращаются?

*

Мельников-Печерский: «Пустым пахнет». Перелобанил!
Отуманил парень. Огорожа — забор. Возьми вдомек.

-

Живу, «затертый льдами московского равнодушия» (из
писем Чехова).

А кто остался из известных пишущих? Как это у Чехова в
письмах: «Икона, которой молятся за то, что она стара и
висела когда-то рядом с чудотворными...»

-

«Пишите, пока есть силы, вот и все, а что будет потом, господь ведает» (Чехов, «Письма»)

*

Написать о творчестве Грина («Золотая цепь» — о дубе том целый).

«Смурные записки».

-

«Совершенно ясно, — подтвердил кот, — теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь» (М. Б. «М и М»).

«Кот — неврастеник, я согласен! — кричал я, — но у него правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услышал фальшь! Понимаете, омерзительную фальшь» (М. Б. «Театральный роман»)

*

Умеют же люди писать «хорошим сортом слога» (по выраженью Чернышевского)!

-

Перекричать тишину труднее, чем Лиру \перекричать\ бурю (это Набоков о старичке Чернышевском). Литтишина.

-

Посидеть бы с ним рядом, хотя бы и писаревым!(Чернышевский печатал в «Современнике» «Что делать» из Петропавловки, а Писарев, сидя рядом там же — помещал критические статьи-рецензии на сие).«Обильные выделения соседа по инкубатору», — измывался Набоков в «Даре».

*

Луговой траввинат —

Молочай и медовая кашка.

Причаститься я рад —

Как к Перуну вернуться немножко,

На пиры языка, замерзая, глазеть у окошка — там Ярило на ёлке волхводит, а Велес

лисой увивается низ — вороной и косою.

О, поляны словес!

*

Худой мир лучше жирной ссоры. Жирные Кущи.

-

Как Чехов писал (в письмах): «протелепкался пешедралом». Побрёл по Тель-Авиву.

-

Народ изро-русский! Говорливые премудрые щукари в
куцах.

-

Чехов называл свои рассказы «вещицы», «вещички мои».
Ан скромн Антон Палыч — тон такой!

-

Чёрнофигурная амфора, краснофигурная... Урны... Ода
Китса.

*

Не потакать искрометным, кустарно-конвейерным вкусам
листающей публики — прекрасное должно быть величаво,
а не «чаво велите?»

-

У них в ходу \скрипучие\ вздохи и \кряхтящие\
слезопусканья. Не арт-нуво, а артрит.

-

Забуду Будду, и Христа, и Магомета. Слоны отдельно, и
котлеты автономно... И муравейник замурован наш до лета
— лежи и щекоти бревном соломинки в носу, восковыряй
свой хобот...

*

«Иногда слог смахивает на Зощенко» (Набоков о
Чернышевском).

-

Читая «Золотую цепь» А. Грина, просто плачешь — так
жалко его, бедного графомана, «нет краше и милее Молли»
— простой беднячкой быть должна!.. А имена
великосветские (о вечный кухаркин мальчик из Вятки! Сын
пьянчуги, сирота, бедняга) — Эстамп, Траулер, Эверест,
Бен Дрек (!) и т. д. Эх, Степаныч! Пародия заранее на
Андрея Платонова, написанная до того.

-

Фигура! Тура! Башня! Слоны — офицеры. Кони — лошади.
Пехтура. Король в ферязи. Королева в белом.

-

Ухабы Бахуса. Бухали влѣжку.

-

Помните псалом 87 (не путать — сонет): «Душа моя
преисполнилась преисподней...»

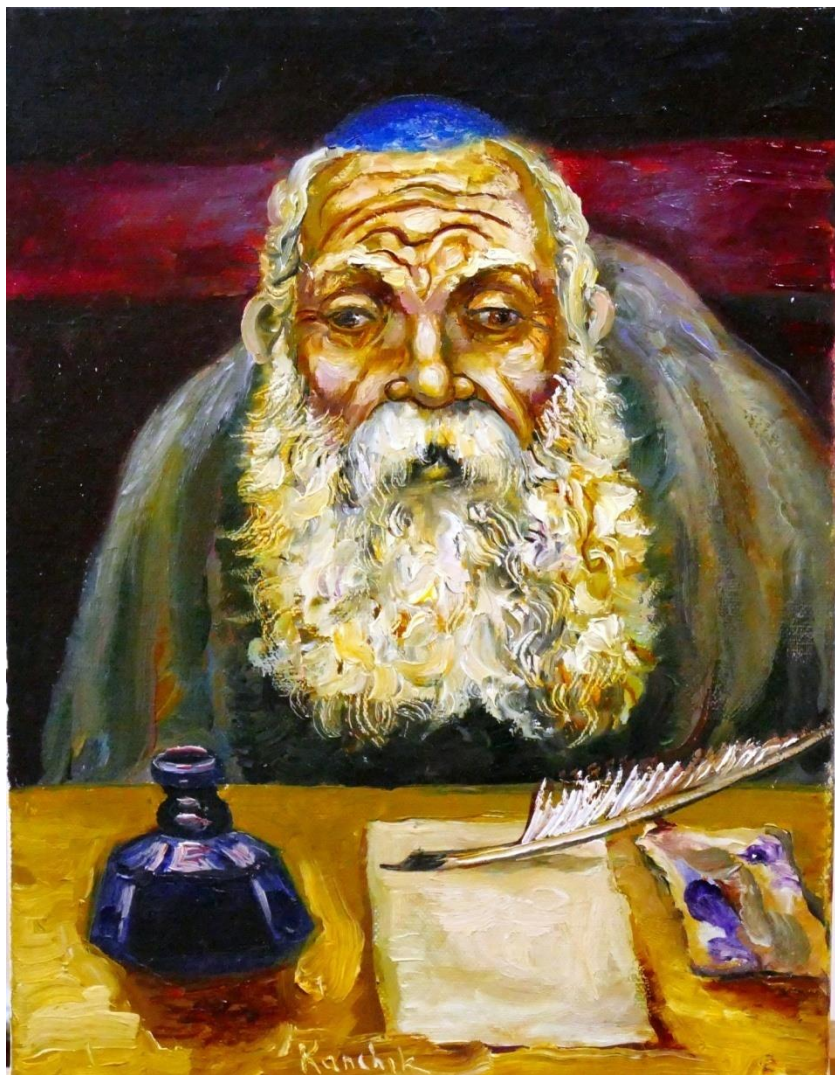


Иллюстрация **Александра Канчика** к одиннадцатой главе романа **Якова Шехтера** «Бесы и демоны»

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ДЕМОНОМ

Глава одиннадцатая романа «Бесы и демоны»

В стылую галицийскую осень, когда грязь на дорогах уже сковал мороз, а черные ветки голых деревьев зябко клонились под порывами ледяного ветра, в шинок на пулавской дороге вошел посетитель. Невысокого роста, почти карлик, с выпирающим горбом. Полушубок на горбу был сильно потерт и стал белым. Несообразно большая голова криво сидела на тщедушном туловище. Слезящиеся от холода глаза, до половины прикрытые тяжелыми веками, выделялись на испещренном морщинами лице. Из-под полушубка торчали черные брюки, заправленные в стоптанные сапоги.

И хоть одет он был опрятно, в чистую, не рваную одежду, наметанный глаз шинкаря Пинхаса сразу опознал в нем нищего. Горбун долго грелся у печки, то и дело, оглаживая седую бороду красными от мороза руками. Отогревшись, попросил чаю, причем расплатился сразу.

Посетителей в тот день было немного. Горбун выбрал место в углу, достал из котомки краюху черного хлеба, положил ее рядом с дымящимся стаканом и пошел к умывальнику. Прежде чем совершить ритуальное омовение рук перед трапезой, он внимательно осмотрел кружку, проверяя, годится ли она для этой цели. Удостоверившись, что нет трещин, а края ровные, совершил омовение.

Ел горбун не торопясь, откусывая помаленьку и тщательно пережевывая каждый кусочек. После двух-трех укусов прихлебывал из стакана и указательным пальцем подбирал крошки. Так едят очень голодные люди, которые не в состоянии купить себе на обед что-нибудь более основательное.

Жена шинкаря, Двора-Лея, внимательно наблюдала за стариком. Он ей нравился. Степенностью манер, сдержанным отношением к еде, скромностью. Двора-Лея набрала большую миску горячей чечевичной похлебки, положила в нее добрый кусок домашней колбасы, и подозвала сына.

– Отнеси старику, – велела она. – Пусть порадуетесь вкусной еде. В такой холодный день сытный обед греет вдвойне.

Шимка ловко подхватил миску, и поставил на стол перед горбуном.

– Но я не заказывал, – удивился тот. – У меня не хватит денег оплатить такую роскошь!

– Не нужно платить, – ответил Шимка. – Мама вас угощает. Ешьте на здоровье!

– Спасибо, – с чувством произнес горбун. – Твоя мама очень добра.

Он взял ложку и принялся за похлебку. Его движения были плавные и очень медленные. Зачерпнуть варево, поднести его ко рту и осторожно, чтобы не обжечь губы, втянуть его в себя, занимало почти минуту.

– Смотри и учись, – негромко сказала сыну Двора-Лея, когда Шимка вернулся к стойке. – Если не малагерить, как ты, а, не спеша съедать ложку за ложкой, и еды понадобится меньше, и проку от нее будет больше.

Со стола у окна поднялся старик, сидевший в шинке с самого утра. Опираясь на грубую палку, похожую на только что срубленную ветку с чуть заглаженными сучками, он подошел к горбуну, негромко произнес несколько слов, которые мог слышать только тот, и сразу вышел из шинка. Горбун выронил ложку и замер, ловя воздух открытым ртом. Двора-Лея уже хотела подойти, спросить, не нуждается ли горбун в помощи, но тот пришел в себя и продолжил обед.

Стемнело. Ветер завывал в застрехе, ломился в окна, свистел в щелях. Горбун съел все до остатка, произнес благословения после трапезы и подошел к Пинхасу и Дворе-Лее, сидевшими за стойкой.

– Пусть Бог благословит вас за доброту, – хрипловатым, но ясным голосом произнес он. – Я уже забыл, что на свете существуют такие вкусные вещи.

– На здоровье, – ответил Пинхас.

– Хотел бы вас попросить об еще одном одолжении, – продолжил горбун. – Я не могу заплатить за ночлег, а погода выдалась такая...

– Ну что вы, что вы! – перебила его Двора-Лея. – Конечно, оставайтесь! Вон, скамейка рядом с печкой, укладывайтесь, подушку я сейчас принесу.

– Не надо подушки, – улыбнулся горбун. – Я привык спать без нее. Спасибо вам огромное.

Ненастный вечер сменила окаянная ночь. Из низко плывущих аспидных туч валил мокрый снег вперемежку с дождем. Порывистый ветер, казалось, задался целью свалить все деревья или, по меньшей мере, оставить их без веток.

В шинке остро пахло свежим дымом из затопленной печки. От ее каменных боков расходились тепло и уют, непогода за окном была где-то далеко. Немногочисленные посетители разошлись по комнатам, горбун негромко похрапывал на лавке, повернувшись лицом к стене. Двора-Лея допоздна мыла посуду, прибирала в зале, готовя шинок к завтрашнему дню.

Около полуночи она услышала слабые стоны и поначалу никак не могла взять в толк, откуда доносятся эти звуки. Лишь подойдя к горбуну, она поняла, что негромкое храпение перешло в мучительные вздохи. Отодвинув руку, которой тот прикрывал лицо, Двора-Лея прикоснулась к пунцовому, покрытому потом лбу и вздрогнула – горбун пылал. Попытки разбудить его не увенчались успехом, бедняга впал в беспамятство.

Двора-Лея позвала мужа, и они вдвоем перенесли больного в комнату, подальше от посторонних глаз. Нечего гостей пугать, решат, что болезнь заразная, и разбегутся кто куда. Старые немедленно съедут, а новые не задержатся даже перекусить.

Чтобы сбить жар, на горбуне расстегнули одежду, и Пинхас обильно протер водкой его шею, грудь живот и спину. Весил горбун, точно десятилетний ребенок, ворочать его не составляло труда.

К утру он пришел в себя и лежал, весь преображенный, со светящимся лицом, как лежат умирающие, когда тело уже закатывается за горизонт, и душа, получив, наконец, полную власть, лучится через черный занавес материальности.

Утро выдалось на редкость ненастным. Потеплело, и земля, обильно смоченная дождем и мокрым снегом, превратилась в сплошное болото. А дождь все не унимался, продолжая мерно стучать по железной крыше шинка, и занавешивать оконные стекла длинными струйками сбегавшей воды. Гостей не предвиделось, такую погоду даже самые заядлые путники предпочитают пересидеть в сухой комнате у теплой печки.

Двора-Лея принесла больному тарелку куриного бульона.

– Вот, давайте я вас покормлю. Самое лучшее лекарство. Сразу на ноги поставит.

– Простите, – слабым голосом ответил горбун. – Наверное, меня от колбасы так прошибло. Последнее время мясо редко доводится в тарелке увидеть, в основном хлеб да вода. Старого уroda мало кто жалеет...

Двора-Лея села на табурет возле кровати и взяла в руки ложку.

– Вы ослабли от жара, устали от скитаний. Поживете несколько дней у нас, а там придумаем что-нибудь, найдем для вас постоянное место.

– Спасибо, вы очень добры, – горбун тяжело вздохнул. – Только поздно, слишком поздно.

Он замолчал, насупился, словно человек, напряженно размышляющий над какой-то сложной задачей. Двора-Лея терпеливо ждала, продолжая сжимать ложку в руке.

– Нет, это не от еды, – наконец вымолвил он. – Позовите мужа, я хочу рассказать вам историю своей жизни. Обязан. Примите видуй, мое предсмертное покаяние.

– Куда вы спешите с предсмертным покаянием?! – возразила Двора-Лея. – Есть еще время. А видуй Всевышнему говорить нужно, а не нам.

– Он и Его народ – одно целое, – ответил горбун. – Если я вам не расскажу, никто не узнает, что со мной произошло. А надо, чтобы знали. Позовите мужа, пожалуйста, выполните просьбу умирающего.

Встревоженная Двора-Лея поднялась с табуретки и, забыв положить ложку, пошла за мужем.

– Зовут меня Залман-Шнеур, я родился много лет назад в Куруве, и давно был обязан поведать о перипетиях своей судьбы, – начал горбун, когда Пинхас с женой уселись возле его кровати. – Был обязан, да стеснялся. Вернее, стыдно было, потому и молчал. А сейчас не до стыда. Вечность дышит в затылок.

Видите, какой я. С детства рос ущербным, кто только надо мной не насмеялся, причем жестоким образом. Дети вообще беспощадные существа. До тринадцати лет Божественная душа в них дремлет, а вот животная гуляет всюю.

Отец меня, как я сейчас понимаю, стеснялся. Думаю, кто-то сказал ему, что такие уроды рождаются в наказание за скрытый грех. Человек совершает проступок в тайне, думая, будто никто не узнает, а Всевышний выставляет его на всеобщее обозрение.

Мать, наверное, меня любила таким, каким я уродился, но я ее плохо помню, она умерла, когда мне не исполнилось и трех лет. Родных братьев и сестер у меня не было, родители, когда увидели, что у них получилось, побоялись заводить еще детей. А может, просто хотели выждать немного, да не успели.

После смерти матери отец почти сразу женился, и моя мачеха стал рожать ребенка за ребенком. Она была неплохой женщиной, но у нее хватало возни со своими детьми, до уroda руки не доходили. Нет, она относилась ко мне ровно, не обделяла, но о любви, даже о простой теплоте говорить не приходилось.

Что меня ждало в родном доме? Ничего, кроме холода и пустоты. Чтобы проломить стенку, вырваться из замкнутого круга отчуждения, надо было совершить что-то необычное. И я попробовал идти по проторенной дороге учения. Просто ничего другого не знал. Стал сидеть над Торой, как ненормальный.

Мой день проходил так: после вечерней молитвы, когда все расходились на ужин и в опустевшем бейс-мидраше воцарялась тишина, я съедал кусок хлеба солью, запивал холодной водой и занимался часам до восьми. К этому времени в бейс-мидраш собирался рабочий люд. Простые евреи, которые целый день трудились для пропитания семьи, а вечером приходили послушать урок.

Я просил сторожа разбудить меня, перед тем, когда он после завершения последнего урока отправится домой. Спал я на деревянной лавке в углу, подложив под голову старый талес и прикрыв рукой глаза от света. Кому-то такой сон мог показаться сплошным мучением, но я засыпал, едва успев улечься.

Около полуночи все расходились, я поднимался на биму, возвышение посреди бейс-мидраша, и стоя принимался штудировать Талмуд до самого рассвета. Стоял специально, чтобы не заснуть. Но спать почти не хотелось, учеба меня захватывала от стоптанных каблучков до кончика картуза. Иногда я так увлекался, что отрывал голову от книги, лишь услышав голос чтеца, начинавшего утреннюю молитву.

Из бейс-мидраша я почти не выходил, и ел и спал в нем. Ел только черный хлеб и лук с солью, а спал часа по три в сутки, и всё оставшееся время молился и учился. Лишь субботнюю ночь, по обычаю знатоков Писания, проводил дома, в своей постели.

Такой распорядок очень устраивал мою мачеху и ее детей. Они были только рады видеть меня как можно меньше. Их радость стала бы полной, если бы я провалился под лед, переходя через речку, или стал бы жертвой нападения разбойников. Но об этом оставалось только мечтать...

После трех лет напряженных занятий Талмудом я стал искать что-нибудь еще и обнаружил множество книг, рассказывающих о завораживающих внимание вещах. В моих руках побывали книги об устройстве рая и ада, о бесах и демонах. Честно признаюсь, после их прочтения мне казалось жутко ночью в пустом бейс-мидраше.

Книги говорили условным языком примеров и сравнений. Я изо всех сил пытался понять, что символизируют бриллиантовые стулья и дворцы из червонного золота в раю, для чего они нужны бестелесной душе? Еще непонятнее были райские яства, кушанья, о вкусе которых не в силах вымолвить язык! Истекающие пахучим шмальцем гуси, старое ароматное вино, виноградные гроздья, дающие молодое вино по тому вкусу, что хочешь. Понятно, что речь не идет о настоящем смальце и вине, их вкус недостижим истлевшему в могиле языку. Но что имеется в виду под этими образами, книги не говорили.

Я узнал многое про ад: о праще, которая швыряет грешника с одного конца ада до другого, о повадках ангелов смерти и пытках, которыми они истязают грешников после смерти.

Книги эти я держал подальше от посторонних глаз, вытаскивая их только после того, как все покинут бейс-мидраш. Однажды я пренебрег мерами предосторожности, будивший меня сторож немного задержался и увидел эти книги. Его прорвало, как плотину в паводок. Несколько вечеров подряд он безудержно рассказывал мне истории о дурном глазе, о бесах, демонах, водяных и колдунах. Он считал себя большим знатоком всех этих мрачных и бессердечных вещей, не подозревая, что я с трудом сдерживаю раздражение, слушая его нелепые выдумки.

Постепенно я перешел на философские сочинения, хорошенечко проштудировав «Море невухим»¹ и «Кузари»², взялся за

¹«Наставник колеблющихся» – философское произведение Моше бен-Маймона, известного в еврейских источниках как Рамбам, крупнейшего представителя иудаизма послеталмудического периода, врача и философа, жившего в XII веке.

²Иначе: Сефер ха-Кузари – «Книга Хазара», апология иудаизма, представленная в форме изложения последователями философии

каббалу. Почти на год я погрузился в скрытую мудрость и учился писать камеи, говоря всем, что провожу ночи над Талмудом.

В результате я стал панически бояться темноты. Как сказано, больше знаешь, большего боишься. Теперь по ночам я зажигал свечи во всех светильниках, их стало уходить порядочно, за что мне не раз влетало от старосты бейс-мидраша. Потом он почему-то успокоился и перестал меня терзать. Лишь спустя время я узнал, что мой отец вызвался платить за все сожженные мною свечи.

С каждым днём я становился всё более благочестивым. Совсем не ел мяса и рыбу, только чёрный хлеб и по субботам немного супа и каши без масла. Во время молитвы я часто плакал, а с наступлением субботы искренне радовался. Помню, как идя домой, я смотрел на людей на улице с жалостью и снисхождением. Что они знают? Что они учат? Как можно жить, не понимая, чем отличается *ор совев* от *ор мемалэ*¹?

За три года непрерывных занятий я приобрел немалое количество знаний, научился хорошо писать камеи, и считал себя уже чуть не праведником. Пришло время ломать оковы и пробивать ворота. Если до сих пор я помалкивал, предпочитая не вступать в споры по поводу Учения и Закона, то теперь решил не стесняться и начать говорить.

Споров в бейс-мидраше хватало. Собственно, сама система обучения строилась на споре. Споры начались еще у мудрецов во времена Храма, перешли в Вавилон, где, будучи записанными, получили название Талмуд, и продолжают по сей день. Каждый уважающий себя

Аристотеля, христианства, ислама и иудаизма; каждым – своего учения перед хазарским царём, который выбирает иудаизм. Автор – Исхуда ха-Леви (Галеви), еврейский поэт и философ Испании конца XI – начала XII века,

¹ Каббалистические термины. «Ор совев» – Божественная эманация, свет, окружающий сотворенный мир, но не соприкасающийся с ним, «ор мемалэ» – Божественный свет, проникающий внутрь всего сотворенного.

раввин считает святым долгом оспорить мнение предшественников или найти в них некую лазейку, на которой он может выстроить здание собственного авторитета.

Но со мной все выглядело наособицу. Стоило мне открыть рот и начать излагать свое мнение, как лица людей, до сих пор благосклонно прислушивавшихся к словам собеседника, вдруг менялись. Я это видел по глазам, по кривым усмешкам, по презрительно опущенным уголкам губ. Похоже, они относились ко мне так же, как я относился к простым людям на улице. Да-да, жалость и снисхождение стали моим уделом в лучшем случае, а в худшем собеседники почти не скрывали пренебрежения.

И все потому, что я был уродом, горбуном с непропорционально большой головой и тонким голосом кастрата. К человеку с такой внешностью невозможно относиться уважительно. Будь я носителем известной раввинской фамилии, сыном или родственником какого-нибудь хасидского ребе, все выглядело бы иначе. Но я был никто, и должен был оставаться никем.

После полугода безуспешных попыток я понял, что дорога эта закрыта. Меня не хотят слушать и потому не услышат, какие бы правильные слова я ни произносил. Невыносимые обида и горечь переполнили мою душу. Даже во рту постоянно было горько, я пытался запивать горечь сладким чаем, но она возвращалась сразу после опорожнения чашки.

Душно мне стало на этом свете, тесно и муторно. Душа искала выхода, и я попробовал пойти путем запрещенного тайного знания. Есть в наших книгах вещи, о которых говорится только вскользь, намеком. Умный не спросит, дурак не поймет. Книги предостерегали, смутно говоря про смертельную опасность, но мне уже было все равно. Я бился о мир, словно птица, залетевшая по ошибке в комнату, бьется о стены, оконное стекло, потолок, пытаюсь вырваться из плена.

Запрещенное знание открылось под моим напором, точно бонбоньерка с конфетами. И картина оказалось более чем

завлекательной. Меня повело, потащило, завертело, будто в водовороте. Полгода я прожил ни здесь и ни там. Одной ногой в мире реальности, другой среди плывущих образов иного мира. А через полгода началось ужасное, - то, о чем предупреждали книги. Я стал их видеть.

Да-да, видеть *мазикин*, вредителей, про которых в Талмуде написано, что они окружают человека, как канавка для полива окружает дерево. Вид у них, действительно, был ужасный, но меня они не пугали. Я должен был бояться, а не боялся. Наоборот, пытался заговаривать с бесами и демонами, но они не обращали на меня внимания, проходили, как мимо пустого места.

Поначалу я предположил, будто они меня действительно не видят, но потом понял, что выученная мною Тора отталкивала их, не давая приблизиться. Дух святости для бесов - что нож острый, а ко мне за эти годы прилепились кое-какие искры.

В общем, опять неудача. Куда бы я ни бросился, чем бы ни занялся, везде одно и то же: полный провал. Очень не хотелось признавать, но мир раз за разом тыкал меня носом в одну простую истину: я никому не нужен.

«Не было у меня ни семьи, ни товарищей, – думал я, – и никогда не будет, потому что ни одна девушка не согласится выйти замуж за уроды, и дружить с ним никому не интересно». Чем больше я об этом думал, тем сильнее мной овладевала злоба. Большая и настоящая, под самое горло, такая, что дышать иногда не давала. Только поделаться со всем этим я ничего не мог, лишь зубами скрежетать от беспомощности. Как жить, куда себя деть дальше – в голову не приходило. И вдруг все решилось само собой.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, мачеха сказала: – Ты уже большой, должен кормить себя сам. Хватит сидеть на шее у отца, он и без того очень тяжело работает, чтобы прокормить семью.

Само собой разумелось, что я в семью не входил, семья - это была она и ее дети.

Ох, как мне стало обидно! Сколько я там съедал? Пару кусочков черного хлеба, да кашу без масла? Ходил в отцовых обносках, рваных сапогах, промокавших от малейшего дождика, спал на истертых простынях, укрывался половиком. Будь у меня тогда под рукой нож... Хвала Всевышнему, что его рядом не оказалось.

Отец отвел меня к шорнику.

– Хорошее ремесло, – сказал он, отдавая меня в рабство. – Научись, сын, оно тебя прокормит.

Сказал и ушел. А я остался жить в мастерской шорника. С восхода до заката работал, а потом спал там же, на стопках смердящих невыделанных кож. Шорник и его жена отнесли ко мне теплее, чем родной отец и его жена. Кормили тем, что ели сами, дали хоть и поношенную, но еще крепкую одежду и целые сапоги, так что я, наконец, перестал бояться луж.

Работал я за еду, ночлег и обучение. Практически не покидал мастерскую, выходил только на молитвы в синагогу. Да и что искать на улице? Не было у меня ни друзей, ни родных, только одна работа. В дом к отцу я попадал лишь на праздники, по субботам шорник к себе приглашал. Его жена очень меня жалела, все спрашивала, какие кушанья я люблю, стелила мне двойную перину, а за столом подкладывала лучшие кусочки.

Скучно мне не было, десятки прочитанных книг сидели в моей памяти, стоило закрыть глаза и сосредоточиться, как их содержимое само собой всплывало в голове. Но на книги я почти не отвлекался, за последние годы им было отдано достаточно времени. Увы, книжная премудрость не принесла ни душевного покоя, ни материального достатка, ни людского уважения. Надо было пробовать другой путь.

Все силы своего ума и все усердие я приложил к тому, чтобы освоить ремесло шорника. И я научился, причем очень быстро. Лучше всего у меня стали получаться кнуты. Ладные выходили, сами в руку ложились. Наверное, оттого, что я бы с наслаждением отстегал весь этот проклятый мир, да не получалось. Вот злость в кнуты и уходила, а в кнуте она самое главное.

Через полтора года я так освоил ремесло, что решил открыть собственную мастерскую. Но откуда взять деньги на обзаведение? От матери остались серьги с янтарем, еще бабушкины, по наследству полученные. Они мне принадлежали, по праву, по совести, а не мачехе. Я не стал просить, унижаться, просто взял, продал и открыл свое дело. Из дому ушел, переселился в мастерскую, там работал, там ел, там спал, как привык у шорника.

Конечно, и отец и мачеха поняли, кто взял серьги, но слова не сказали. Были рады-радешеньки от меня избавиться. Я, честно говоря, ожидал скандала, разбирательств, выяснения отношений, а когда понял, что они на все готовы, лишь бы не видеть меня в своем доме, еще горше стало. Не раз и не два хотел бежать на речку топиться. Зачем такая жизнь, ради чего страдать? Но сдержался, вытерпел. Только сердце пеплом покрылось.

Зато дело у меня пошло, покатились заказы и продажи. Я придумал вшивать в кнут камю, наговор, взятый из тайных книг. Возница только им щелкал, как лошади начинали нестись, словно сумасшедшие. Ко мне в мастерскую очередь образовалась, вперед на многие месяцы. Я взял помощника, потом двух. Они делали основную часть работы, я только доводил почти готовые кнуты. По вечерам, когда помощники расходились по домам, запирал дверь и вшивал камеи.

Деньги у меня завелись, много денег. Девать их мне было некуда, поэтому они собирались и собирались. Вместе с деньгами начали появляться и предложения от сватов. Предлагали мне не ахти каких девушек, но предлагали. Только я хорошо понимал, что не я им нужен, а мои деньги, достаток. Девушка, которая из-за денег готова выйти за уroda... к чему мне такая жена?

В какой-то момент я осознал, что среди людей меня ничего не ждет. Простые евреи стали мне противны и неинтересны. А ученых я ненавидел лютой ненавистью. За высокомерие. За бесчувственность. За мою растоптанную судьбу. Ох, с каким бы удовольствием я отомстил бы этим зазнайкам. Но как?

И однажды меня осенило: нужно стать демоном. Не человеком на службе у демонов, а самим демоном. Уйти из этого мира, перебраться через реку. Не один день я провел над книгами в поисках лазейки, но ничего не нашел. Были истории о том, как человек становился слугой демона, колесницей его желаний, но нигде и никогда не упоминалась возможность стать другим.

«Не может быть, – думал я, – чтобы эта дверь была закрыта».

Увы, ни книжные раскопки, ни осторожные расспросы не дали результата. Это знание было плотно укрыто от посторонних взоров. Да-да, именно так, ведь речь шла о величайшей тайне, о переходе из одной духовной сущности в другую. Ответ почти наверняка был в тех самых книгах, просто надо было сообразить, как его оттуда извлечь.

Наш разум устроен так: задумываясь о каком-нибудь вопросе, мы невольно очерчиваем круг своего внимания. В то, что находится внутри этого круга, мы вникаем глубоко, проникая в самую суть. Находящееся вне его иногда просто не замечаем.

Постижение становится прерывистым, мы воспринимаем реальность отрывками, теряя связь между понятиями, расположенными внутри и снаружи круга. Это тупик, выбраться из которого в одиночку невозможно. Нужен ведущий, человек, уже прошедший по этому пути и способный показать, как увязать между собой отрывки понимания.

Итак, требовался учитель. Человек, умеющий отыскать знание о демонах на страницах книг, и знающий, как установить с ними связь. Издревле эта мудрость была на востоке, у еврейских мудрецов Вавилона. Такого рода учителя, наверняка, до сих пор существуют среди сефардских хранителей тайного знания, скрываясь от любопытных глаз в отдаленных уголках Междуречья. Но ехать так далеко мне не хотелось.

Я попробовал отыскать ведущего поблизости, и, перебрав все доступные варианты, понял, что в Польше его не найти. Добраться до Вавилона стоило невероятного, почти

невозможного труда, зато Турция была сравнительно рядом, и жили в ней те же сефарды, близкие к тайне. Не зря Шабтай Цви в конце своих дней перебрался в Стамбул. Счастье надо было искать в столице Османов.

Так я оказался в Стамбуле. Около года прожил у турецкого еврея, тоже шорника. Работал за стол и крышу. Обирал он меня нещадно, я же видел, сколько ему платили за мою работу. Впрочем, он и не стеснялся, хорошо понимая, что идти мне некуда. Но зато спустя десять месяцев я уже вполне изъяснялся по-турецки, и неплохо стал понимать, что к чему.

Двери, разумеется, и тут были плотно затворены. Но все-таки не так глухо, как в Польше, запах просачивался. Я узнал, что в самом сердце Анатолийских гор есть небольшая деревенька, где евреи живут по законам тайного знания. Каким законам, где она находится, никто не мог сказать. Но этого мне хватило, чтобы отправиться в горы.

Год я искал тайных евреев. Преодолевал сотни миль горных дорог. Ночевал у обочины, разводил костерок, ужинал и ложился возле огня. Вверх, вниз, вверх, вниз, и ничего. И ничего, ни малейшего намека. То ли эти тайные евреи хорошо запрятались, то ли истории о них придумали от безделья праздные люди. Кроме мусульманских деревушек, в горах Турции ничего не было.

Мне, как нищему и убогому, в этих деревушках хорошо подавали, так что голодать не приходилось. Ежедневные многочасовые прогулки хорошо укрепили мое здоровье, и это хоть немного скрашивало неудачу поисков. Впрочем, кое-что я все-таки обнаружил – сами горы. Я прямо чувствовал, как по склонам поднимается сила, как от воздуха проясняется голова и раскрывается сердце.

Иногда по ночам, посреди моих уединенных привалов, к огоньку жаловали гости. Да-да, те самые демоны. Всякое они предлагали, но стать их слугой я не соглашался, а на просьбы взять меня к себе они лишь плечами пожимали. Я должен был их бояться, дрожать от ужаса. А я не боялся и не дрожал. Ни повредить, ни наказать меня демоны не

хотели. Или не могли. Выученная Тора стала моей защитной стеной, не дала причинить вред.

Рожи у демонов были, и вправду, гнусные. Глумливые кривляки, такие уроды, что у нормального человека сердце бы зашло от одного вида. Но только не у меня. Я их умел ставить на место, не зря столько лет над старыми книгами просидел. Впрочем, в длинные разговоры демоны со мной не вступали, приходили, предлагали свое и, выслушав мой отказ, исчезали.

В конце концов, я устал от скитаний и решил пожить несколько месяцев спокойной жизнью. Наступила осень, просыпаться по утрам у прогоревшего костра стало холодно. Зори налились желтизной; вороша холодные угли, я невольно озирался по сторонам, и все внутри съеживалось от одиночества.

Куда ни посмотри, вокруг простирались аспидные спины хребтов, острые верхушки гор тянулись вдоль горизонта. Мертвая, словно лежащая вне жизни местность, над которой не властно время, бесконечно далекая от слова и цели. Целью оказались сами горы, наполненные прохладным свежим воздухом. Но дальше бродить по ним не имело никакого смысла, надо было сделать остановку, пережить увиденное, отрешиться от понятого, и лишь потом двигаться дальше. Вернее, понять, в какую сторону нужно идти.

Как только я принял такое решение, мне тут же улыбнулась удача. Я не то, что бы нашел искомое, но существенно к нему приблизился.

Село Кушкой располагалось на восточной стороне Анатолийских гор. Несколько сотен домов, и на удивление чистые, ухоженные улицы. Вода в быстрой речке, бежавшей прямо через деревню, была ледяной и очень вкусной. Бронзовые от загара жители Кушкой собирали кривыми ножами желтые охапки пшеницы и ячменя на террасах окрестных гор, разводили мелкий скот, удили рыбу в речке.

Но это не главное, таких деревень в горах можно было отыскать пару десятков. Главным для меня оказался

особый язык, на котором переговаривались жители Кушкея. Вернее не переговаривались, а пересвистывались, словно птицы. Свист в горах слышен издали, и различается лучше, чем голос. Я принялся расспрашивать, откуда это у них.

– Наверное, пастухи придумали пересвистываться через ущелье, или жены высвистывали мужей на террасах?

– Да-да, – отвечали жители. – Скорее всего. Мы и сам уже не припомним, откуда это взялось.

Но я-то знал, Вернее, догадывался. Про демонов известно довольно много, в том числе и то, что их ноги похожи на птичьи, трехпалые, покрытые морщинистой кожей.

– Где ноги, там и язык, – предположил я и решил остаться в Кушкее.

Путников в горах Турции встречают приветливо, а когда я в знак благодарности за ночлег починил хозяину порванную упряжь, слух об этом моментально облетел все село. Тотчас ко мне сбежались десятки людей, неся в руках сбрую для починки. Выяснилось, что местный шорник умер год назад, а новый так и не появился – жить в такой глухомани мало охотников. В Кушкее починкой упряжи занимались все понемногу, кто во что горазд. Чинили неумело, лапотно, поэтому шорник был им нужен просто позарез. За неделю я справился со всеми срочными починками, а потом ко мне пришел мухтар, глава совета деревни.

– Все дадим, только останься в Кушкее.

Я поломался для вида и дал согласие.

Мухтар отвел меня в пустующий дом на краю деревни, с видом на ущелье. Горы до самого горизонта, а вдали заснеженная вершина Арарата. Станешь на порог, обведешь взглядом оком и, точно зачарованный, надолго забываешь обо всем.

Пока я наслаждался видом, мухтар куда-то исчез, но вскоре вернулся, погоняя крепкого мула, запряженного в скрипучую арбу. В арбе было все необходимое для жизни, кое-какая мебель, кровать с соломенным тюфяком, одеяла, подушки, полотенца, кухонные принадлежности.

И началась у меня счастливая, блаженная жизнь. Наверное, самые лучшие дни на своем веку я провел именно там, в доме на краю горной деревни.

Примерно с неделю я приходил в себя, отсыпался в нормальной кровати, не спеша, готовил еду и медленно, со вкусом поглощал. Много часов проводил на скамье, бездумно глядя на горы.

Подобно мне, возле соседнего дома день-деньской сидел на низенькой скамеечке у ворот морщинистый старик по имени Айдын. Он тоже часами смотрел на горы, и сияние снежных вершин отражалось в его потускневших от жизни глазах. Поначалу мы просто обменивались пожеланиями доброго утра и общими фразами, принятыми у соседей. Затем осторожно, чтобы не вызывать подозрений, я принялся расспрашивать Айдына про жизнь в Кушкее, обычаи и привычки жителей. Старик отвечал не очень охотно, но поскольку собеседники его не баловали, беседу все-таки поддерживал. Исподволь, потихоньку, я добрался до птичьего языка.

Меньше всего на свете я ожидал услышать то, что рассказал Айдын. Оказывается, несколько сот лет назад в Кушкее обосновались беженцы из Испании. Султан привез их на военных кораблях, спас от преследований католических священников и разрешил селиться в любом месте. Они были так напуганы, что забрались высоко в горы. Вот эти беженцы и научили местных жителей птичьему языку. Его придумали еще в Испании, дабы сбивать с толку соглядатаев, шпионивших за каждым их шагом.

– Они были похожи на тебя, – сказал Айдын. – Дед рассказывал, что по утрам он видел их с такими же черными коробочками на голове.

– И где они сейчас? – вскричал я в величайшем волнении.

– Большая часть осталась в Кушкее, их потомки до сих пор живут тут. Пережились с местными и стали, как мы. Моя покойная жена была из таких. А часть самых заядлых, самых верующих, захотела жить отдельно, по своим законам и ушла за хребет.

– А куда, куда?

– Не знаю. Ушли и не вернулись. Наверное, живут где-то в горах.

– А что-нибудь еще о них известно?

– Ничего. Давно это было, очень давно.

Тогда я понял, откуда в Стамбуле взялась легенда о поселении евреев, живущих по своим тайным законам.

Сообразив, что останусь в Кушкее надолго, я стал устраиваться со всей основательностью. Достал пергамент, чернила, написал мезузу и повесил на дверь. Сейчас мне самому непонятно, как сочетались во мне желание стать демоном и приверженность традиции. Но человек странное существо, в нем уживается даже то, что, казалось бы, не может сосуществовать рядом.

На хлеб я зарабатывал тем же ремеслом, по своему обыкновению вплетая камеи в сбрую, которую чинил. Закончив с починками, стал тачать новую. Брал немного, поэтому от покупателей отбою не было, вся деревня выстроилась в очередь на покупку новой упряжи.

А я себе рассматривал, выпрашивал, выглядывал. Все-таки странная это была деревня. Вроде мусульманская, с муллой и красивой мечетью, только молиться в нее почти никто не ходил, и муэдзин пел, по моему разумению, лишь для вида. Это были не истошные вопли, поднимавшие мертвого из постели, как в Стамбуле, а осторожное пение, длившееся несколько коротких минут. Мол, кто услышал, тот услышал, а больше и не надо.

Так вот, почти никто и не слышал. Почему? Я не решался спрашивать без обиняков, пока сам мулла не позвал меня в гости. Идя к нему, я изо всех сил пытался представить, о чем будет наш разговор. Мулла и мухтар вдвоем управляли деревней, перечить им никто не смел. С мухтаром у меня сложились хорошие отношения, возможно, потому, что упряжь для его семьи я чинил бесплатно. Теперь оставалось понять, чего хотел от меня мулла, ведь у него не было ни домашней скотины, ни упряжи.

– Ты же из евреев? – спросил мулла, едва я успел переступить порог его дома.

– Да, – сказал я. – Только из европейских. Мы похожи на ваших, но во многом отличаемся. Как братья отличаются один от другого.

– Один шайтан, – улыбнулся мулла. – Вы мудрый народ, а мне нужен толковый помощник для распутывания бытовых споров. Кади, судьи настоящего, у нас нет, вот мне приходится не только вести молитвы, но и без конца утихомиривать спорщиков. Я надеюсь, ты не откажешься мне помочь?

Мулла как будто бы спрашивал моего согласия, но его тон не оставлял сомнений, что речь идет о приказе.

– Хорошо, – сказал я, склонившись в вежливом поклоне. – Буду рад помочь вам, уважаемый мулла. Когда велите начинать?

– Прямо сейчас, – ответил мулла. По его лицу расплылась довольная улыбка. Было видно, что мой почтительный тон и смиренная поза пришлись ему по нраву.

– Не думай, что это доброхотное деяние, – продолжил мулла. – За свой труд ты будешь обеспечен всем необходимым, от воды до дров. Мой помощник в какой-то мере я сам, понимаешь? Поэтому он должен пользоваться всеобщим почетом и уважением, и не думать о еде на завтра.

Так я стал помощником по судебным разбирательствам, а по существу кади Кушкея. Мулла, при близком знакомстве и совместной работе, оказался на редкость тупым человеком. Хорошим, не злобным, но мало знающим и к тому же лишенным природной смекалки. Врожденная сообразительность, часто помогающая восполнить недостаток образования, у него отсутствовала напрочь.

Для меня, человека, помнящего наизусть десятки страниц Талмуда, проблемы жителей Кушкея казались незамысловатыми. Мулла был просто в восхищении от легкости, с которой я отвечал на каверзные, с его точки зрения, вопросы. Разумеется, ответы он оглашал сам, на следующий день, после длительного размышления и, само собой, без моего присутствия. Жителям оставалось лишь судачить о духе мудрости, внезапно снизошедшем на

мулла. Впрочем, в Кушкее быстро сообразили, кому мулла обязан внезапному просветлению, и уважение ко мне возросло безмерно.

Сам же мулла, несмотря явные преимущества его нового положения, все же не переставал бросать в мою сторону настороженные взгляды. Восточный человек постоянно опасается какой-нибудь каверзы. После многих лет жизни в Турции, я могу сказать, что в этой стране правильно и справедливо ожидать подвоха от малознакомого человека. Подозрительность муллы полностью рассеяла история с кинжалом.

Через Кушкой вела дорога на перевал. Небольшие караваны делали в деревне последнюю остановку перед крутым подъемом. И те, кто спускались, возвращаясь, тоже останавливались в Кушкее. Как правило, путники ночевали в караван-сараях, месте известном, безопасном и надежном со всех точек зрения. Именно в нем и произошел тот самый случай.

Однажды ранним утром прибежал ко мне слуга муллы, с приказанием явиться немедленно. Я отложил сбрую, которую чинил, сменил одежду и поспешил выполнить приказание. Мулла ждал меня в задней комнате своего дома и шепотом объяснил положение.

Накануне вечером один из постояльцев спрятал пояс с деньгами в своей комнате под подушкой и ворохом одежды и пошел в хамам, баню, которая была тут же в караван-сараях. Вернувшись, он первым делом ощупал пояс. Плотная колбаска золотых монет была на своем месте. Распаренный гость блаженно заснул. Когда же утром он стал одеваться, то обнаружил, что кто-то подложил ему в пояс кусок деревяшки, на ощупь не отличавшийся от столбика монет. Сделать это мог только хозяин караван-сарая, других гостей в тот день не было.

Хозяин, человек весьма солидный и очень уважаемый, вытаращил глаза от изумления.

– Я...я... я взял твои деньги?! – он едва не утратил дар речи. – Да как ты смеешь меня подозревать, позорить мое честное имя?

Гость потащил хозяина к мулле, тот выслушал каждого, затем развел по разным комнатам и послал за мной.

– Сделаем вот что, – сказал я и разъяснил мулле план действий. Тот пришел в восторг, и мы сразу приступили. Мулла велел слуге привести хозяина. Тот удивленно посмотрел на меня

– Он здесь совсем по другому поводу, – небрежно просвистел мулла. – Сейчас я отвечу на его вопрос, он уйдет, и потом мы с тобой продолжим.

Я к тому времени уже неплохо понимал птичий язык, но, разумеется, сделал вид, будто ничего не понимаю.

Мулла стал что-то шептать мне на ухо, какую-то белиберду, я кивал с видом величайшего почтения, а в конце рассыпался в благодарностях.

– Ну, что ты еще хочешь? – важно спросил мулла на прощание.

– Я бы очень хотел получить на полчаса прекрасный кинжал вашего уважаемого гостя, – сказал я, указывая на хозяина караван-сарая. – Мой совсем затупился, а мне необходимо срочно завершить важную работу.

– Ту я ничем не могу тебе помочь, – ответил мулла. – Если только наш уважаемый гость окажет тебе любезность...

– Конечно, конечно, – зачастил хозяин караван-сарая, отстегивая кинжал.

– Огромное спасибо! – воскликнул я. – Солнце не успеет прикоснуться к вершине перевала, как я верну вашу драгоценную вещь в целости и сохранности.

Выйдя из комнаты, я подзвал слугу мутлы, велел ему бежать что есть сил в караван-сарай, и попросить жену хозяина дать ему сверток с деньгами, которые он вручил ей сегодня утром. Для достоверности своих слов он должен был показать личный кинжал хозяина двора.

Слуга опрометью кинулся выполнять поручение, а я подошел к двери, послушать, о чем говорит мулла с виновником торжества. Беседа, которую вели достопочтенные члены общины, касалась важных общественных дел Кушкея. О пропавших деньгах даже не упоминалось, тон разговора был уважительный,

собеседники степенно высказывались, не торопя друг друга.

Слуга вернулся через четверть часа и вручил мне сверток вместе с кинжалом. Я удостоверился, что внутри действительно лежат золотые монеты, спрятал его в карман и с возгласами признательности переступил порог комнаты.

Рассыпаясь в благодарностях, я вернул кинжал хозяину постоянного двора и сделал вид, будто хочу уйти, но мулла остановил меня.

– Я вспомнил, что упустил одну существенную подробность, – важно произнес он. – Пойдем, ты должен это услышать с глаза на глаз.

Мы вышли из комнаты, и мулла свистящим шепотом выдохнул:

– Ну?

Вместо ответа я протянул ему сверток.

Все уладилось в тишине и тайне. Гость получил свои деньги и поспешил отбыть из Кушкея, а хозяин каравансарая понял, что произошло, только вернувшись домой. Поскольку дело не было предано огласке, он тоже предпочел молчать. Впрочем, что еще ему оставалось?

После этого случая мулла преисполнился к своему помощнику благорасположения и признательности, и его приязнь впоследствии сослужила мне добрую службу.

Прошел год. Я продолжал жить уединенно, виделся только с селянами, приносившими для починки старую сбрую или заказывавшими новую упряжь. Моим главным и чуть ли не единственным собеседником был сосед, Айдын. Я присаживался рядом на скамеечку и долго молчал вместе с ним, любуясь видом гор. Потом, слово за слово, словно первый весенний ручеек, по капельке вытекающий из-под снега, начинала завязываться беседа.

Впрочем, все было не совсем так гладко, как я рассказываю. Поначалу Айдын отвечал односложно или отмалчивался. Случалось, он поднимался со скамейки и ковылял домой. Ходил он с трудом, грузно опираясь на увесистую сучковатую палку. Похоже, ее просто отпилили

от дерева, отломали ветки и отдали деду. Как-то раз я без долгих разговоров забрал у него эту палку, спилил сучки, заполировал древесину, высверлил в ручке небольшое отверстие и надежно запрятал в нем камешку.

– Что это такое ты натворил? – с подозрением спросил Айдын, принимая от меня палку.

– Ничего, – простодушно ответил я, – немного пригладил вашу палку. Надеюсь, теперь с ней станет ходить легче.

Результат не заставил себя ждать. Айдын встал, сделал несколько шагов и с удивлением поглядел сначала на палку, потом на меня. Затем, не сказав ни слова, двинулся к дому. Прежняя грузность исчезла, он уже не наваливался на палку всем телом, а ставил ее перед собой, словно нащупывая дорогу. Не дойдя до дома, он развернулся и пошел ко мне.

– Ты колдун? – спросил он, глядя прямо на меня.

– Нет! – возразил я. – Наша вера запрещает заниматься колдовством.

– Тогда слово знаешь. Я словно помолодел на десять лет. С того дня Айдын будто подменили, из хороших знакомых мы превратились в близких друзей. Теперь наши беседы длились по несколько часов, ведь ни у меня, ни у старика не было никаких срочных дел. Дед охотно отвечал на вопросы, и все мои знания про жизнь в горах я почерпнул у него.

– Айдын, значит – просвещенный, – повторял он. – А просвещенный – это не тот, кто сам просветился, а тот, кто несет свет другим людям. И неважно, сколько там у него этого света, важно, что он щедро им делится.

Случалось, что во время разговора он надолго замолкал, приподняв голову и устремив взгляд на горы. Я терпеливо ждал, наблюдая, как в его глазах отражаются проплывающие над нами облака.

– О чем ты думаешь? – спросил я однажды.

– Я так долго живу, – ответил Айдын, – что пережил даже свои желания. Мое сердце опустело, словно горы зимой. В нем не осталось ни друзей, ни врагов. Ни любви, ни ненависти, голые склоны, покрытые снегом.

– Избавиться от злобы, простить врагов, это большое достижение, – сказал я.

– Никого я не прощал, – усмехнулся Айдын. – Я их просто пережил.

– О чем же думает человек с пустым сердцем? – спросил я.

– О смерти, – ответил Айдын. – Я думаю о смерти.

– О ней думают все, – сказал я. – Тем более люди твоего возраста.

– Думают, но не так, – произнес он после долгой паузы. – Большинство людей думает, будто смерть начинается в старости, когда тело стареет и не может бороться с болезнями. Лекарства перестают помогать, врачи разводят руками, и человек решает, что смерть заключила его в свои объятия.

– Разве они не правы? – деланно удивился я, желая узнать, что думает об этом Айдын.

– Почти все люди мечтают спастись от смерти. Очень неразумное, детское желание. Тому, кто родился, предстоит умереть. По-другому и быть не может, так заведено. То, что началось, обязано завершиться. Если ты хочешь спастись от конца, ты обязан избежать начала.

– Что ты такое говоришь? – уже по-настоящему удивился я.

– Объясни подробнее.

– Я не мастак беседовать на такие темы, – вздохнув, ответил Айдын. – Поговори с муллой, он тебе все подробно растолкует. Если сочтет тебя готовым.

Я побежал к мулле. Внутри у меня все дрожало от возбуждения. Впервые за годы поисков я напал на серьезный след.

– Зачем ты хочешь знать о смерти? – спросил мулла. – Тебе это знание ничего не даст.

– Но почему не даст? – удивился я.

– Потому, что ты не один из нас, – многозначительно произнес мулла и замолк. Мое сердце забилося, словно после долгого бега.

– Ну да, я еврей, а вы мусульмане. Но вы же, уважаемый мулла, и раньше об этом знали.

– Не о том речь, – сказал мулла. – Ты подступил к истинному знанию, и я обязан тебя предупредить.

– О чем?

– О том, что ты обязан молчать. И о том, что, узнав, ты переступаешь порог и становишься одним из нас. А это навсегда. Вот и подумай, готов ли ты.

– Готов, готов! – чуть не закричал я.

– Я знаю, что готов, – ласково ответил мулла. – Ты ведь не случайно оказался среди нас, не случайно остался в Кушкее, не зря стал моим помощником. Ты услышал зов Владыки гор и пришел.

– Кого-кого? – переспросил я.

– Владыки гор, настоящего хозяина мира.

– Но как же так, это ведь не совпадает с шариатом?

Мулла улыбнулся.

– А мы не мусульмане. Мечеть, Коран и все прочее лишь для вида, чтобы не приставали. Наша вера очень древняя, как эти горы, мы живем здесь со дня потопа. Ковчег с первыми людьми пристал совсем недалеко от нас, на склонах Арарата. Вот с тех пор мы тут, и веру нашу исповедуем.

– И в кого же вы верите?

– Я же уже сказал тебе, во Владыку гор. Ему поклоняемся, с ним живем. Самая правильная, веками проверенная вера. Что нам какой-то Мухаммед?

Я молчал, втайне радуясь своему решению поселиться в Кушкее.

– Итак, ты прикоснулся к истине, узнал главную тайну. Сейчас я могу ответить тебе на вопросы о смерти. Спрашивай.

Это был совсем не тот туповатый мулла, с которым я виделся каждый день на протяжении целого года. Передо мной сидел сбросивший личину, уверенный в своей мудрости человек.

– Я бы хотел узнать как можно больше о смерти.

– Хорошо, – начал мулла. – Молчи и слушай.

Он помедлил несколько мгновений, показавшихся мне длинными, будто субботняя молитва, и начал.

– Все в этом мире умирают, но почти никто не умирает правильно. Достойная смерть – самый главный поступок в жизни, и к нему надо готовиться с самого рождения. Смерть не менее важна, чем жизнь. Иными словами, жизнь - не что иное, как подготовка к правильной смерти.

– А как нужно готовиться? – не выдержал я.

– Смерть - это проверка, испытание. Если ты правильно жил, то сумеешь и правильно умереть. Разве может быть правильной смерть у того, чья жизнь была пустой растратой?

– Но что делать, как правильно жить? – вскричал я.

– О! – улыбнулся мулла. – Наконец ты заговорил по существу. Умение жить состоит в том, чтобы пройти по жизни успешно. Научиться в ней всему, чему учат жестокие испытания и огонь пожирающих человека страстей. Если он сумел извлечь из всего этого необходимые уроки, перед ним открывают дверь в высший класс. Это значит, что он больше не будет вынужден проходить через муки рождения и смерти.

Ты хочешь спросить, как это сделать? Ответ прост: никогда не действуй в поспешной неосознанности. Не позволяй ничему в твоей жизни случаться самому по себе. Ты ее единственный владелец, и тебе решать, что приводить в действие, а что нет. Смотри на любое, самое мелкое событие дня с твердостью, действуй осторожно и с мудростью.

Мулла замолк, многозначительно глядя на меня. «Ну что, теперь ты понял? – было написано на его лице. – Понял, к каким глубинам мудрости прикоснулся, над какой тайной для тебя приоткрылся занавес?»

Честно говоря, я с трудом заставил себя удержаться от ответа. Все эти мудрые словеса были не более чем пустой болтовней, рассчитанной на неграмотных горцев, в жизни своей не державших в руках серьезных книг. Я мог бы с легкостью сделать из этой околесицы фарш, но вовремя сдержался и продолжил расспросы.

– Досточтимый мулла, – изображая трепет неофита, произнес я взволнованным голосом. – Вы говорили о тайне жизни, но я ведь спрашивал о смысле смерти.

– Смерть – это процесс, – важно пояснил мулла. – Человек начинает умирать с момента зачатия, каждый день, мало-помалу приближаясь к смерти. Она – конец процесса умирания. Вернее, конец начал, ведь самое интересное начинается после того, как человек отворит эту дверь. Незавершенные, ненасыщенные желания будут требовать нового воплощения, то есть еще одного рождения и еще одной смерти. Но если человек достойно прошел по одной жизни, уразумев, что желания и страсти – пустой звук и суета сует, он спасется от следующего рождения, то есть избежит смерти. И когда наступит его последний миг, он не будет плакать, точно ребенок, у которого отбирают любимую игрушку. Он встретит ее с улыбкой, и скажет: «Добро пожаловать. Я готов».

Мулла снова сделал многозначительную паузу, глядя на меня. Но я молчал, ожидая, что будет дальше.

– Я рассказал тебе, более чем достаточно, – важно произнес мулла. – Теперь иди и думай. Тебе предстоит большая работа. Владыка гор ждет. Не медли, выходи на дорогу. И не пугайся трудностей, пусть не все у тебя будет получаться, помни – своим слугам Владыка посылает в подарок правильную смерть.

Я рассыпался в благодарностях и распрощался с муллой.

«Похоже, демонами тут и не пахнет, – думал я по дороге. – Они мудрые создания, а здесь убогое идолопоклонство, примитивный дикарский культ. С другой стороны, возможно, демоны и создали его в Кушкее для каких-то своих целей. Каких именно – пока не понятно, но может, со временем что-то прояснится».

В моей жизни ничего не изменилось. Мулла, похоже, не хотел меня торопить, ждал, что я приду еще раз. Наверное, лучше всего после такого разговора было уносить ноги из Кушкея, но на дворе уже стояла глубокая осень, а искать новое жилье в преддверии зимы я не хотел. Надо было

дождаться весны и уже тогда выбираться из деревни. Делать в ней мне было нечего.

Не помню, сколько прошло с того дня, но однажды утром зашла, сияя от счастья, внучка Айдына и пригласила на церемонию прощания.

– С кем? – не понял я.

– Дедушка уходит к Владыке, – пояснила внучка. – Получил приглашение! – ее лицо лучилось от гордости. – Да-да, сам Владыка его позвал, и вот он идет.

Мы вышли после полудня: Айдын, одетый по-праздничному и его семья, тоже разряженная в пух и прах. Долго взбирались на вершину скалы неподалеку от деревни. Опираясь на мою палку, Айдын передвигался легче, чем его внуки. Процессия то и дело останавливалась, давая детям и внукам деда перевести дух. Случайно задетый камень уносился в пропасть, и тот, чья нога послала его вниз, невольно замирал на месте, затаив дыхание. Но такое случалось нечасто; тропинка, ведущая на утес, была узкой, но хорошо утоптанной, было видно, что ею пользовались.

На вершине мы оказались, когда солнце уже приблизилось к вершинам гор. Оно светило в спину, и вид перед нами потрясал воображение. Это было очень глубокое ущелье, его каменистые склоны покрывал не выгоревший на солнце изумрудно-зеленый кустарник. Далеко внизу, по дну ущелья бежала горная речка, было видно, как вода пенится, разбиваясь о скалы. Но шум не доносился, расстояние было слишком большим.

Я еще не понимал, что происходит, хотя сердце, догадавшись раньше меня, заторопилось, ускорив свой бег. Айдын ласково попрощался с каждым членом семьи. Он улыбался, говорил что-то на ухо, обнимал. Мой черед был последним, Айдын дружески положил руку мне на плечо и приобнял.

– Ты пришел издалека, но стал одним из нас. Владыка сказал, что рад твоему прибытию и хочет, чтобы ты остался с нами навсегда. Одна из моих внучек станет твоей женой. Любая, которую выберешь.

Пятеро внучек Айдына, юные девушки, похожие на горных козочек, стояли неподалеку, прислушиваясь к словам деда. Я лишь непонимающе пожал плечами: какое дело эти козочкам до уroda чужеземца.

– Ты подумай, подумай, – сказал Айдын, видя мое замешательство. – Я вернусь через три дня, тогда все и обговорим окончательно.

Он похлопал меня по плечу и заковылял к обрыву. Отбросил палку, встал на самой кромке и раскинул руки, словно собираясь лететь. Тут до меня, наконец, дошло. Я бросился к старику, но он сделал шаг вперед и тут же исчез за краем обрыва. Пропасть, распахнув щербатую пасть, поглотила добычу.

Подбежав к кромке, я упал на колени, на четвереньках быстро подполз к краю, и еще успел увидеть, как Айдын падал, ударяясь о скалы. Спустя несколько секунд его тело рухнуло в речку и скрылось под водой.

Обернувшись, я увидел как дети и внуки погибшего радостно обнимаются. Что за ерунда, что за дичь?!

– Не удивляйтесь, – сказал мне старший сын Айдына, немолодой мужчина с бугристым носом и широко распахнутыми глазами, голубыми из-за отражавшегося в них неба. – Вы все-таки еще недавно в Кушкее и не знаете наших обычаев. Если Владыка призывает человека, он дарует ему бессмертие. Отец не разбился о скалы, он перешел порог и приобрел вечную жизнь.

– Все это пустые слова, – я с трудом удерживался от крика.

– Вы позволили старому, плохо соображающему человеку покончить жизнь самоубийством.

– Вовсе нет, – снисходительно улыбнулся старший сын Айдына. – Нам бы всем такую ясность в голове, как у отца. Через три дня он вернется, и вы сможете убедиться в этом сами.

– Вернется?! Какая чушь! Оттуда еще никто не возвращался!

– Это у вас. А у нас возвращаются, да еще как. Каждый, кто уходит к Владыке, спустя три дня навещает родных и

близких, рассказывает, что он видел, отдает последние указания. Вот тогда-то мы прощаемся по-настоящему.

– Не может такого быть! – вскричал я в сердцах.

– Наберитесь терпения, – снова улыбнулся сын – Три дня пролетят очень быстро. Поговорите с отцом и сами убедитесь в справедливости моих слов. Надеюсь, после этого вы поймете, что наша вера – истинная, и станете нашим единомышленником.

Я отправился домой в расстроенных чувствах. Впервые передо мной предстал во всем своем уродстве ужасающий лик идолопоклонства. До той поры о человеческих жертвоприношениях мне доводилось только читать в старых книгах. Признаюсь, я с трудом верил этим рассказам, и вот это случилось прямо перед моими глазами.

Самым ужасным во всей истории было то, что Айдына никто не заставлял, он действовал по своей воле. То есть идолопоклонство полностью вошло в его голову, став частью его жизни и причиной его смерти.

Обо всем этом надо было хорошенько подумать. Я собрался было поговорить о случившемся с муллой, но по совету мудрых книг отложил разговор до завтра, а, проснувшись, понял, что идти к нему нельзя. Я был слишком взволнован смертью Айдына, и презрение к гнусному идолопоклонству, убивающему стариков, могло вырваться наружу. Теперь я уже знал, что мулла вовсе не глуп, и если он распознает мое истинное отношение к его вере, это может обернуться для меня большими неприятностями.

Прошли два дня. Соседи готовились к празднику: мужчины сколотили во дворе навес, поставили под ним столы со скамейками, куда усядутся гости во время торжественной трапезы. Пригнали пять или шесть овец, зарезали, распотрошили, и дочери Айдына взялись за готовку. Кухонные ароматы наполнили мой домик, и от плотных, щекочущих ноздри запахов мясных блюд непрерывно сосало под ложечкой.

Меня, разумеется, пригласили одним из первых. Я согласился, предполагая, что попаду на представление, вроде пуримского, где роль Айдына будет исполнять другой старик или, еще того хуже, его внук, переодетый в дедовскую одежду. Но вышло совсем по-другому.

Я проснулся утром от стука. За окном висел рассветный туман, свистели и перекрикивались опьяневшие от свежего воздуха птицы. Мне снились странные сны и в голове еще блуждали обрывки романтических историй. Плохо понимая, где нахожусь, я поднялся с постели, омыл руки и отворил дверь. На пороге стоял Айдын.

– Чего испугался? – усмехнулся он, завидев мое оторопелое лицо. – Я же сказал, что вернусь через три дня. Сказал и вернулся.

Он отодвинул меня с прохода, вошел в комнату и уселся в кресло, в котором обычно сживал, навещая меня до своей смерти. Двигался он легко и гибко, словно юноша. Я смотрел на него во все глаза, верил и не верил.

– Я это, я, – усмехнулся Айдын. – Подойди, потрогай.

Усмешка была мне хорошо знакома, интонации и тембр голоса тоже. И рука была знакомой, такая же сухая и прохладная. Вот только... даже не знаю, как объяснить... но что-то было не так. За прошедший год я провел в беседах со стариком десятки, если не сотни часов, и успел изучить его лицо, манеру говорить до малейших подробностей. Вне всяких сомнений передо мной сидел Айдын, но какой-то иной.

– Где твоя палка, Айдын? – спросил я, хорошо помня, как он отбросил ее в сторону, прежде чем шагнуть в пропасть.

– Она мне больше не нужна.

– Ты встретился с Владыкой гор?

– Конечно! Разве иначе я бы смог вернуться?

– Расскажи, как оно было?

– О, это невозможно передать словами. Неземное блаженство, – Айдын зажмурился и его лицо пошло мелкими морщинками. – Собери самое приятное в своей жизни: сладость пряников в детстве, волшебство первого поцелуя, радость обладания любимой женщиной,

блаженство сытости, легкость опьянения, наслаждение умной беседой, торжество победы, отраду исполненной мести, и умножь все это в тысячу раз. Вот что такое один взгляд Владыки гор. А уж беседа с ним, пребывание в его тени приятнее куда больше.

– Мне трудно такое представить, – сказал я.

– Не трудно, а невозможно. Могу лишь тебе пожелать, но пожелать от всей души, подобно мне получить приглашение и удостоиться встречи.

Айдын потер руки, подскочил из глубокого кресла и добавил:

– Прости, хоть наша беседа доставляет мне высокое удовольствие, но пора идти. Семья ждет. Надеюсь увидеть тебя за праздничным столом.

– А когда ты уходишь к Владыке? – спросил я.

– Вот отообедаем, свидимся, обниму детей, поцелую внуков, и пора домой, в дорогу. Ты и представить себе не можешь, насколько тяжела мне разлука с Владыкой. Каждая минута вдали от него – нож острый.

– Зайди ко мне на прощание, – попросил я. – Когда пойдешь обратно. Хоть на минуту, пожалуйста.

– Не обещаю, но приложу усилия, – важно ответил Айдын.

Он вышел за дверь, легко сбежал по ступенькам и двинулся к своему дому, а я остался стоять на пороге, глядя ему вслед. Мне было о чем подумать.

Айдын никогда не изъяснялся столь выпренне и филигранно. Он был простым горцем, малограмотным человеком, всю жизнь проводившим в тяжелом труде. Речь давалась ему нелегко, он долго подбирал слова, говорил медленно, запинаясь. Слог, которым он только говорил, подобал, скорее, мулле, или кади, или богачу, проводшему многие годы в обществе поэтов и мудрецов. Айдын не мог, не умел так выразиться. Похоже, это был не Айдын, а кто-то иной, принявший его облик. Но кто?

Я весь дрожал от волнения. Похоже, мои поиски все-таки увенчались успехом. Но с какой неожиданной, негаданной стороны подобралась ко мне удача!

На пиршество я не пошел. Первым делом взял суму и уложил в нее необходимое для странствия. Затем достал пергамент, очинил перо, написал самую сильную камео, скрутил ее в трубочку, зашил в мешочек и повесил на шею. Чувствовал, знал, без помощи Каббалы не обойтись.

Когда из соседнего двора стали доноситься радостные крики, я понял, час пробил. Из окна было хорошо видно, как окруженный домочадцами Айдын вышел из калитки и начал прощаться. Последовали еще поцелуи, еще объятия, еще слезы радости пока многочисленное стадо потомков старика не вернулось к себе во двор. Айдын помахал им рукой и пошел ко мне.

Странно, но за ним никто не последовал. Видимо, традиция идолопоклонников не предусматривала проверять, куда же отправляется вернувшийся с того света родственник. Я невольно представил, могло ли нечто подобное произойти в Куруве, и не сдержал улыбки. В такой ситуации старика до последней секунды провожали бы не только домочадцы, но и соседи, и глава общины, и уважаемые люди из совета синагоги, и раввин, и шойхет, и моэль, короче говоря, весь город, за исключением лежащих больных.

– Ну вот, – с улыбкой произнес старик, подойдя к крыльцу.

– Ты просил, я пришел. Чего ты хочешь?

– Возьми меня с собой.

– С собой? – удивился Айдын. – Как можно? Ты ведь не получил приглашения.

– Откуда ты знаешь? Я получил его давным-давно. Поэтому и оказался в Кушкее.

– Нет-нет, невозможно, – затряс старик головой.

– Но ты же сам говорил, что Айдын означает просвещенный, тот, кто несет свет другим людям. Вот я прошу тебя поделиться со мной своим светом, а ты отказываешься. Почему?

– Мало ли что я говорил до встречи с Владыкой, – буркнул Айдын. – Сейчас все изменилось, все по-другому.

– Я так долго искал, столько дорог прошел, и ты говоришь мне нет? Не отстану от тебя, не отстану, даже не рассчитывай.

– Не отстанешь, – усмехнулся Айдын. Нехорошо усмехнулся. – Ладно, тогда пошли.

Вышли мы из двора и двинулись по направлению к перевалу. Я несколько раз оглядывался, думал, может, кто вслед смотрит из родственников старика. Никого. Ни живой души. Дрессированная семейка, ничего не скажешь.

Шли очень быстро, Айдын чуть не бегом взбирался по крутой дороге, и я очень скоро запросил пощады. Он хмыкнул, и сбавил шаг.

За поворотом скалы, опекавшие наш путь с двух сторон, отступили, и перед глазами распахнулось огромное пространство. За полтора года жизни в Кушкее я ни разу не взбирался на перевал и не мог себе представить, какая красота открывается перед глазами утомленного подъемом путника.

Слева и справа, насколько хватало глаз, простирались дремучие леса. Словно мох, они покрывали горы до самого горизонта. Местами из зеленых мохнатых вершин выдавались черные зубья утесов, и над всем этим великолепием мощно возвышался Арарат. Его покрытая льдом и снегом вершина сияла под лучами солнца.

На перевале Айдын остановился. Я тяжело дышал, с хрипом втягивая в себя разреженный воздух, а он, глубокий старик, три дня назад передвигавшийся только с помощью палки, даже не запыхался.

Когда я отдышался он подвел меня к краю и сделал приглашающий жест в сторону пропасти:

– Ты хотел со мной? Вот он, путь, прыгай. Станешь, как я.

Осторожно, семенящими шагами я приблизился к краю пропасти, заглянул и отшатнулся.

– Нет, Айдын, я не могу.

– Но ты же так этого хотел, – глумливо произнес старик. – Получил приглашение, прошел полмира, остался последний шаг. Давай, дружок, прыгай.

– Нет, не могу.

– Придется тебе помочь! – Айдын протянул руку, намереваясь столкнуть меня с обрыва, и в его глазах я увидел свою смерть. Спаситься было невозможно, я стоял на самой кромке, а старик был в два раза крупнее меня и настроен чрезвычайно решительно.

Когда его рука почти коснулась моей груди, он вдруг отдернул ее, точно обжегшись, и с невозможной для его возраста прытью отпрыгнул назад.

– Что это там у тебя? Какою, небось, надел?

– Надел.

– Ладно, давай сядем, поговорим.

Мы отошли от края и уселись под скалой, укрывшись в ее скудной тени.

– Зачем у тебя тфиллин в котомке? – укоризненно спросил старик.

– Ну, куда еврей без тфиллин! – ответил я.

– Еврей! – возмущенно фыркнул старик. – Ты же в демоны решил перебраться, зачем тебе тфиллин?

Я смущенно потупился, не зная, что ответить.

– Ты уж реши: или туда, или сюда, – настаивал старик.

– Туда, – сказал я, протягивая Айдыну котомку. Он указал скрюченным подагрой пальцем в сторону обрыва.

– Туда – это там.

– Не могу.

Айдын расхохотался.

– Ладно, тогда я расскажу притчу на понятном тебе языке. Представь себе идут два еврея из Курува и спорят, какой из раввинов выше. Руками размахивают, доказывают, возмущаются. Вместе с ним идет малолетний сын одного из спорщиков.

– Папа, – говорит он. – Зачем спорить, давайте возьмем линейку и померяем, кто из них выше.

Отец мальчика руками на него замахал, мол, не говори глупостей. А мальчик сам себе тихо произносит: вот так всегда со взрослыми; когда говоришь им правду, они не в состоянии ее услышать. Ты понял, меня, Залман-Шнеур, ты понял меня?

– Нет, – признался я. – У этой притчи может быть не одно толкование. И я затрудняюсь понять, о каком из них идет речь.

– Ладно, – махнул рукой старик. – Понять ты все равно не сможешь, даже не пытайся. Скажу тебе прямо, просто и доступно: человек не в силах стать демоном, это другое существо, иная духовная сущность.

– Но ты же стал, Айдын!– вскричал я.

Он расхохотался.

– Какой еще Айдын?! Этот дурак разбился три дня назад. А я демон, настоящий демон, именно тот, кем ты хотел бы стать, но никогда не сможешь. Знай же, что мы уже много столетий держим в руках эту деревню. После того, как очередной балбес приносит себя в жертву, один из нас принимает его облик, приходит к родным и рассказывает о счастье единения с Владыкой.

– Зачем это вам нужно? – вскричал я.

– Мы этим питаемся. Ты и представить себе не можешь, сколько силы вбрасывает в мир такая жертва, как искривляется, закручивается пространство вокруг падающего вниз простофили. Для нас это самое большое блаженство и самая вкусная пища на свете.

– А если я вернусь в деревню и все им расскажу?

– Кто тебе поверит?! У этих болванов в руках вековая традиция предков, станут они слушать болтовню чужеземца! Мой тебе совет – возвращайся в Стамбул.

– И ты меня отпустишь?

– Конечно, отпущу. Во-первых, ты нам не нужен, а во-вторых, мы твои должники.

– Должники?

– Конечно, Айдын никогда бы не решился прыгнуть. Слишком себя любил, цеплялся за жизнь, да и просто боялся. Сколько лет мы с ним бились, направляли к нему посланников в самых разных обличьях, и так улещали, и этак, да все без толку. А тут пришел ты, и одной камеей все устроил.

– Я? Камеей?!

– Конечно! Да-да, той самой камей, которую ты запрятал в его палку. Если маленькое колдовство способно привести к такому результату, – решил Айдын, – насколько же больше будет блаженство, даруемое Владыкой.

Разумеется, Залман-Шнеур. в полной мере насладиться плодами своего труда ты не в состоянии, для этого нужно быть не человеком, а существом иного порядка. Но мы в качестве награды делаем тебе самый большой подарок, который можно подарить особи вашего вида.

– И о каком же подарке идет речь? – спросил я, уже догадываясь, что ответит демон.

– О твоей жизни, – усмехнулся он.

На этом мы расстались. Я забросил за плечи котомку и, не оглядываясь на сидевшего под скалой того, кто принял облик погибшего старика, побрел за перевал. Делать в Кушкее мне было нечего. По правде сказать, мне вообще было нечего делать ни со своей жизнью, ни со своими целями. Я достиг того, чего хотел, мир повернулся ко мне искрящейся цветной гранью, но в этом плывущем, смещающемся, зыбком мареве я не мог ничего разглядеть.

– Эх, что за судьба, – повторял я, тащась по горной дороге.

– Никому нет до меня дела, ни людям, ни демонам.

Через неделю я вернулся в Стамбул и стал устраиваться надолго. В Курув мне не хотелось, на берегах Босфора дышалось куда легче и вольготнее. Османы одинаково относились ко всем жителям огромной империи. Плати налоги и подати и живи, как хочешь. Еврейская община Стамбула не знала ни погромов, ни преследований. Да и сам город поражал великолепием и размерами. Курув по сравнению с ним был убогой деревней.

Я открыл лавочку на базаре; починка и продажа все тех же уздечек, кнутов, шлей и постромков. Спустя год нанял двух помощников, а спустя три перестал работать сам, только отдавал распоряжение десятерым работникам. Все у меня получалось, складывалось одно к одному, удача преследовала удачу. И дело не только в деньгах, несмотря на горб и маленький рост, я чувствовал себя совершенно здоровым человеком, полным сил и желаний.

Когда я стал состоятельным, и жена нашлась. Сосватали мне хромую от рождения девушку, дочку торговца тканями. Я мог бы отказаться, начать перебирать, деньги многое позволяют. Но не стал, сразу согласился после первой же встречи. И Сара сразу согласилась, несмотря на мое уродство. Дело не в деньгах, слава Богу, ее родители были вполне зажиточными людьми, дело в душе. Она оказалась замечательным человеком, потом, спустя много лет рассказала, как впервые увидела меня:

– Глаза у тебя были, как у собаки, ожидающей удара палкой. Я сразу тебя пожалела и подумала: а этого кто возьмет? И сразу решила: я и возьму.

Мы прожили душу в душу много лет. Редко кто из полностью здоровых людей так счастлив в браке. Подняли четырех сыновей, успели порадоваться доброму десятку внуков и внучек. Год назад, когда жена покинула наш мир, жизнь стала мне скучна. Я все чаще и чаще стал возвращаться мыслями в далекое прошлое. Плохое позабылось и мне начало представляться, будто жизнь в Куруве была доброй и легкой.

– Как же так?! – напоминал я себе, – разве ты забыл обиды и унижения? Несмываемую грязь детских дразнилок, кривые усмешки взрослых, испуганные лица девушек, украдкой рассматривавших уродца?

Но сердце не слушалось памяти, сердцу казалось, будто покой и тихая старость ждут его в родных местах, в Куруве. Перебирая в памяти прошедшую жизнь, я пришел к выводу, что никогда в ней не было покоя и умиротворения, меня все время куда-то несло, заботы и тяготы крутили, точно щепку в половодье. Промаявшись несколько месяцев в пустом доме, я решил не докучать детям, и посетить родные места.

На корабле я встретил Айдына. Он совершенно не изменился и подошел ко мне, словно мы расстались два дня назад.

– Ну что, доволен подарком?

– Каким?

– Что значит каким? Жизнью. Длинной счастливой жизнью. Все мы тебе дали: достаток, и хорошую жену, и благодарных детей.

– Вы дали? При чем тут вы?

Айдын расхохотался.

– А ты думал, что уродливый нищий чужеземец может собственными силами достичь того, чего достиг ты? Это я, я вот этими руками, – он потряс руками перед моим лицом, – создавал для тебя удачу за удачей. Пришло время вернуть долг.

– Какой долг? Что я тебе должен?

– Что значит какой? Жизнь! Верни нам твою жизнь. Погулял, порадовался, а сейчас перевались через борт и делу конец. Ты получил свое, теперь наш черед.

– Разве мы с вами о чем-то договаривались?!

– Конечно! Ты же хотел стать одним из нас. Обещаю, вот теперь и станешь, но для этого надо пройти через смерть.

И тут я с необычайной ясностью вспомнил, что много лет назад рассказывал мне мулла в Кушкее. Прикрыл глаза рукой и начал произносить «Шма Исроэль». Когда я завершил молитву и открыл глаза, Айдына рядом не было. Он исчез, пропал, бесследно растворился в голубом воздухе моря. Однако я хорошо понимал, что это ненадолго, и стал думать, как избежать следующей встречи.

Пока корабль добрался до Констанцы, мне пришло в голову, как спастись самому и отвести несчастье от детей. Больше всего я боялся, чтобы демоны не взялись за них. Человек должен отвечать за свои поступки. Коль скоро я ввязался в эту историю, то и на мне завершить ее. Завершить так, чтобы не пострадали ни в чем не повинные люди. А цена... цена уже не имеет значения, я плачу за все. Сойдя на берег, я немедленно составил завещание, в котором отписал все свое имущество детям и отправил его в Стамбул. Деньги, которые вез с собой, раздал бедным, и отправился в уютный дом еврейской общины. Расчет мой был очень прост. Написано в наших книгах: нищий все

равно, что мертвый. А к мертвому демоны приставать не будут.

Там я провел три дня, размышляя, как жить дальше. А когда сообразил, отправился, подобно многим великим праведникам, в добровольное изгнание, галут. В галут они уходили для духовного совершенствования. Страдания должны были искупить муки еврейского народа, а также человека, пребывающего в изгнании. Уходящий брал на себя обет не спать больше двух ночей под одной крышей, кроме суббот и праздников, жить исключительно на милостыню и все время учить Тору. В еврейских общинах к таким странникам относились с большим уважением. Только великие мудрецы делали это в начале жизни, а у меня получилось в конце.

И пошел я по дороге, направляясь в Курув. Несколько месяцев вспоминал свою жизнь, складывал один и один и понял, что демон был прав, не мог урод-чужеземец прожить такую красивую, спокойную и счастливую жизнь. Тут явно не обошлось без вмешательства нечистой силы. Но теперь я разорвал связь с ней и могу прожить остаток своих дней без тревог.

В Польше никто меня не помнил, и я не помнил никого. Чужое место. Все изменилось, возникли другие дома, новые улицы, заполненные незнакомыми людьми. Курув моего детства остался лишь в глубине моей же памяти, и чтобы в него попасть, не требовалось никуда ехать.

Нужно было только прикрыть глаза и вспоминать. Запахи, краски, голоса, присловья – все, оказывается, было надежно упрятано в моей собственной голове. И чем больше я вспоминал, тем ярче и отчетливее становились картины.

Прошел год. Несмотря на холод, полуголодное существование и мытарства, умиротворение осенило мою душу. Я понял, что все прошедшие годы мысли о связи с демонами не давали мне покоя. И вот он наступил, и все вокруг окрасилось в иные цвета.

Увы, все закончилось у вас на постоялом дворе. Во время сытного ужина, который вы так любезно поставили передо мной, к столу подошел Айдын.

– Твоя просьба услышана, – сказал он, – и удовлетворена. Скоро ты отправишься в иной мир, и твою душу возьмут к нам. До встречи, брат.

Я знаю, я чувствую: он прав, и я уже не в силах что-либо изменить. Прошу вас только об одном: похороните меня по самым строгим правилам, и пусть кто-нибудь читает поминальный кадиш по моей душе. Может быть, это поможет ей избавиться от демонов в другом мире.

Нищий прикрыл веки. Было видно, что он сильно устал. Долгая речь забрала у него остаток сил.

– Ничего-ничего-ничего! – вскричал Пинхас. – Сейчас я снаряжу посыльного к реб Гейче. Вот кто умет управляться с демонами. Потерпите немного, уверяю, он быстро их отгонит.

Нищий слегка улыбнулся, но его веки остались прикрытыми. Прошло два часа, и душа Залмана-Шнеура оставила этот мир. Пинхас отвез тело в Курув, передал похоронщикам, строго наказав исполнить все обряды самым тщательным образом, и поспешил к реб Гейче.

– Никогда о таком не слышал, – удивился тот. – Да, бывает, что демоны гоняются за людьми, но чтобы человек гонялся за демонами... Очень, очень странная история. Надо помочь этой несчастной душе.

Залмана-Шнеура похоронили в тот же день. Реб Гейче лично говорил по нему кадиш ровно одиннадцать месяцев, а в начале двенадцатого над могилой воздвигли скромное надгробие: валун со стесанным краем, на котором были указаны только имя покойного и дата смерти.

Спустя два дня над Курувом пронеслась большая гроза. Гром грохотал, словно горная река в ущелье, молния ударила прямо в надгробие Залмана-Шнеура и расколола его на три части.

– Надо же, – удивился реб Гейче, придя на кладбище. – Никогда такого не видел. Да, бывает, что молния попадает в дома, крайне редко угодает в могилы, но расколоть

надгробный валун на куски... Очень, очень странная история.

Он заплатил, и спустя неделю на месте расколотого надгробия стояло новое, выполненное в точно таком же стиле. Только валун был куда массивнее и грубее.

Наступила зима. Повалил снег, ударили морозы. В один из дней вьюжного месяца тевет похоронщики, кряхтя и охая, залив в себя по стакану доброй водки, отправились на кладбище. Мороз стоял такой, что даже ангелы не спускались на землю, боясь отморозить кончики крыльев. Только похоронное братство продолжало свою работу: что бы там ни было, невозможно оставить умершего еврея без погребения.

После смерти и до похорон каждая минута приносит душе умершего невыносимое страдание. Она мечется между телом и домом, возвращается в синагогу, к месту работы, пытается докричаться до жены. Откровение нового мира еще не открылось для нее, душа полна ушедшей жизнью, не осознает, что непоправимое свершилось, и она уже больше никогда не окажется на земле в прежнем теле, не сядет за стол рядом с женой, не улыбнется детям.

Но понимание с каждой минутой проникает все глубже и глубже, и душа переполняется горечью вечной разлуки. А вместе с горечью приходит страх перед судом, который начнется сразу после того, как над свежей могилой прочтут последний кадиш.

Похоронщики сгребли снег с места погребения, уложили принесенные дрова, развели костер. Когда дрова прогорели, заступами разрыхлили оттаявший слой земли, образовавшуюся яму снова набили поленьями и опять развели огонь. Работа и костер согрели похоронщиков, но все равно на таком морозе без водки не устоять. Только разлили ее по кружкам, только поднесли кружки ко ртам, как вдруг раздался пушечный выстрел. Один из похоронщиков чуть не поперхнулся набранной в рот водкой, другой уронил в снег кружку, и лишь третий не потерял самообладания.

– Что это еще за чудеса? – осторожно, чтобы не расплескать водку, вскричал он. – Сроду в Куруве из пушек не палили!

Стали искать, в чем дело и быстро установили: от мороза треснул и раскололся валун на могиле Залмана-Шнеура.

Надгробие восстановили только в сиване, сразу после Швуеса, праздника дарования Торы. Оно простояло в целости и сохранности целых три месяца и развалилось без всяких видимых причин прямо в Йом-Кипур. Разумеется, в это время никого на кладбище не было, все жители Курува постились, словно ангелы, и, сидя в синагогах, подобно ангелам, возносили молитвы Всевышнему, прося о снисхождении.

По злосчастному стечению обстоятельств, один из уважаемых членов общины умер сразу после исхода праздника. Он был изрядно стар, основательно дряхл и ждал ангела смерти со дня на день. Его кончина никого не удивила, смерть ведь составная часть жизни, особенно столь длинной, как у новопреставившегося, и когда похоронщики отправились рыть могилу, неподалеку от Залмана-Шнеура, они сразу заметили кучу обломков на месте валуна.

– Не знаю, чем это объяснить, – сказал ребе Михл, после того, как реб Гейче поведал ему во всех подробностях историю жизни горбуна.

– Возможно, его душу все-таки взяли в демоны, – осторожно предположил реб Гейче, – и с Небес указывают на это вот таким образом?

– Ерунда, – решительно отрезал ребе Михл. – Мало ли что мог наговорить умирающий от горячки старый еврей. А вы все развесили уши и приняли его слова за чистую правду. Цена историям подобного рода – пшик. В них крошки истины замешаны на пудах вымысла.

– Вы хотите сказать, – так же осторожно уточнил реб Гейче, – что покойный Залман-Шнеур сочинил эти истории?

– Вовсе нет, – ответил раввин. – Вполне вероятно, что он искренне в них верил. Произошли они на самом деле, или его глаза таким образом увидели события, на самом деле

выглядевшие совсем по-иному, узнать невозможно. Но и полагаться на его рассказы нельзя никоим образом. События подобного рода мы считаем достоверными лишь в том случае, если они произошли с праведником и были нам переданы верными свидетелями. Поэтому все истории, рассказанные Залманом-Шнеуром, я могу отнести только к разряду досужих домыслов.

Больше надгробную плиту не чинили. Реб Гейче заказал у столяра дощечку из мягкой сосны, а умелец, высекавший буквы на памятниках, вырезал имя и дату смерти. Приказчик Гирш отнес дощечку на кладбище, положил на могилу Залмана-Шнеура и крепко прижал обломками валуна.

От дождей, снега и солнца дощечка за несколько лет почернела, бороздки забились грязью, так что надпись стало невозможно разобрать. И вместе с очертаниями букв расплылась и пропала память о человеке, который хотел стать демоном.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Александр Крюков

РОМАНЫ И СТИХИ ЗАБЫТОЙ ПОЭТЕССЫ

(К 125-летию со дня рождения Эстер Рааб)

«Я - поэтесса. Это то же самое, что быть влюбленной», - афористично высказась однажды Лея Гольдберг. Сказанное в полной мере относится к жизни и творчеству Эстер Рааб - одной из ярких, неординарных фигур в новой ивритской литературе. Несмотря на то, что при жизни она печаталась немного, эта поэтесса сыграла свою роль в развитии литературы Израиля: подобно тому, как ее отец, халуц из Венгрии Ехуда Рааб, первый провел своим плугом по девственной почве возле Петах-Тиквы, Эстер Рааб – первая ивритская поэтесса, родившаяся в Палестине, и ее творчество не несет на себе печать жизни в галуте.

Рааб не получала престижных премий, за ней, как, например, за Агноном, не стояло поддерживающее издательство («Шокен»). Однако её лирическая, а в поздний период – и социальная поэзия неразрывно связана с историей ишува и Израиля. Книга с подробной биографией Рааб, изданная после ее смерти племянником поэтессы, писателем и литературоведом Эхудом Бен-Эзером («История жизни поэтессы Эстер Рааб». Т.-А., 1998), была встречена читающей публикой довольно прохладно по сравнению, например, с изданной в тот же год биографией Агнона. Речь идет о фундаментальном томе «Жизнь Агнона» (Иер., 1998), написанном проф. Даном Лаором, тогдашним заведующим кафедрой ивритской литературы Тель-Авивского университета.

Однако израильская критика справедливо признала, что «игнорирование ее (Э. Рааб. – А. К.) биографии – это игнорирование нас самих».

Эстер Рааб родилась в 1894 году в поселении Петах-Тиква в семье Егуды Рааба (с 1922 г. – Е. Бен-Эзер), одного из первых еврейских пионеров - земледельцев в Палестине. Воспитываясь в ортодоксальной семье, Эстер не получила регулярного образования, и только благодаря своему природному стремлению к знаниям ей удастся развиваться самостоятельно. «Я следовала за своими чувствами и своим внутренним ритмом. Основа – это Писание, в этом нет никакого сомнения, а затем иностранная литература. Я глотала книги, написанные по-французски, по-немецки, я открывала для себя русскую литературу в немецких переводах. Иногда мне кажется, что поэзия родилась вместе со мной, я похожа на мои стихи, а они похожи на меня. Я начала чувствовать их очень рано, но не записывала».

Первой, платонической любовью Эстер был Моше Карми-Яновский, школьный товарищ, голубоглазый красавец, игра которого на скрипке завораживала девушку. Они оба писали стихи и рассказы на возрождавшемся иврите, однако в их семьях главным, если не единственным языком был идиш. В своих дневниках этого периода, содержащих ее признания в любви к Моше, девушка называла себя Эстер Хаярденит (Эстер с берегов Иордана).

Переселенцы «второй алии» хотели построить в Палестине общество свободы и социального равенства, были полны энтузиазма первопроходцев, надеждами и радостью от созидательного труда на земле исторической родины. Этим энтузиазмом были вдохновлены Эстер и Моше, которые в 1913 году, восстав против патриархальных традиций «первой алии», оставляют Петах-Тикву и перебираются в Дганию – первый кибуц, символ «второй алии». Впоследствии Эстер не раз будет обращаться в своем творчестве к образам Петах-Тиквы, без прикрас

рисуя жизнь в ней и освещая как ее светлые, так и мрачные стороны.

Эстер бежала от архаичной ортодоксальной жизни в Петах-Тикве, но не от своего отца, которого она любила и которым восхищалась всю жизнь. Вероятно, одним из первых было написано стихотворение «Отцу»:

*Благословенны руки, сеющие в зимнее утро
Под шорох стремительных скворцов
на полях красноземных...
Благословенны руки, взнуздывающие коня
И прижимающие к щеке приклад ружья,
Чтоб отогнать врага от бедной хижины нашей,
Мирной хижины, царствующей над полями
и колючими зарослями.*

Это стихотворение было в числе первых, опубликованных начинающей поэтессой в 1921 году на страницах журнала «Хэдим» («Отклики»), который издавали в Палестине известные писатели Ашер Бараш и Яков Рабинович.

Рааб всегда восхищалась поколением своего отца, мужественными халуцим, осваивавшими земли Палестины. Этим людям посвящено стихотворение «Первым»:

*Две впадины, словно зарубки времени, на щеках,
Морщины лба
И синие круги под выцветшими глазами,
Слезящимися потихоньку...
Годы, что пронесли над вами,
Еще пропоют ваши песни для поколений...
Но замены юности нет.
Только олива на скале да виноградники в долинах,
Да апельсиновые деревья смуглые и стройные,
Как ваши сыновья...*

В 1918 году Эстер и Моше переезжают в поселок Бен-Шемен, где поэтесса продолжает писать лирические стихи, часть которых была посвящена Моше. Однако он, судя по дневникам Рааб, никогда не любил ее по-настоящему. Понимая, что у них нет общего будущего, Эстер в конце концов решает разорвать их отношения, как бы мучительно для нее это ни было. Но она всегда хранила память о нем и, возможно, образ юноши из «Песни прошедшего лета» – это воспоминание о Моше.

*Сырая изгородь в полночь,
Загорелые плечи цвета доброго хлеба
В сильных ладонях твоих,
Утренняя роса на груди...
Все это еще мерцает из-за тумана времени*

В августе 1921 году Эстер отправилась в Каир к семье своей тети Тоиб. Там в нее влюбился ее двоюродный брат Айзек Грин, преуспевающий торговец лекарствами. В том же году состоялась свадьба. Хотя Айзек был ее первым настоящим мужчиной, Эстер не любила его, и у них не было детей, может быть, из-за осложнений после малярии, которой Эстер переболела в детстве.

*Так люби меня
И сердце свое день каждый рви для меня –
Ибо женой тебе никогда не буду...*

Пять лет прожила Рааб в Каире, однако потом возвращается в Тель-Авив, где муж построил для нее на тогдашней улице А-Галил (ныне ул. Руппина) роскошный по тем временам двухэтажный особняк (архитектор Зеэв Рихтер). Он стал знаменитой «Красной виллой» - одним из самых современных и стильных зданий в строящемся Тель-Авиве. Дом Рааб вскоре превратился в первый литературно-художественный салон, в котором собирались известные литераторы, художники и представители других

свободных профессий. До нынешнего времени здание не сохранилось.

В 1930 году Грин также приехал в Тель-Авив для лечения, однако вскоре умер от осложнения после операции по удалению аппендицита. Рааб осталась вдовой, очень богатой вдовой...

Через несколько месяцев после его смерти появился первый сборник стихов Рааб «Терновник» с посвящением «Памяти моего друга Ицхака Грина». Критика отмечала израильский колорит мелодичных стихов поэтессы и полное отсутствие галутной ментальности. Сама поэтесса в это время была в Париже – чтобы «утешиться»...

В Тель-Авиве Рааб живет до 1938 года. Она возвращается в круг творческой интеллигенции, знакомится с Бяликом, посещает его дом, который, по ее словам, «был пристанищем для всех образованных». Интересно, что, общаясь там с репатриантами «второй алии», Рааб раздражалась из-за доминирования у них галутного менталитета: «...В его (Бялика. – А. К.) доме я ощущала галут. Я не люблю галут».

Выросшая в Петах-Тикве и Дгани, Рааб не очень любила первый еврейский город, это видно из ее стихотворения «Тель-Авив» (1928). Лирическая героиня обращается к нему и говорит с ним как с женщиной (в иврите город женского рода), она противопоставляет себя ей: в этой женщине нет жизни – она бездетна, бесплодна, а значит - мертва; тогда как героиня идет, «пританцовывая, бунтующими стопами» – она молода и жизнелюбива. Явно ощущается противопоставление каменного города близкой к земле и природе вообще Петах-Тикве.

*Как я заплачу – нет у меня слез,
Я иду, пританцовывая, бунтующими стопами
По песку твоей земли.
Ты не жнивье и не оливы,
Тут будь доволен жалкими грядками...
Тут бетонные плиты на плоской гряди твоей...*

Личная жизнь Эстер Рааб не складывалась. Стремление к гармонии души, к реализации ее чувств стало движущей силой ее творчества, вдохновением, которое она черпала из своих многочисленных романов.

...Рааб знакомится с израильским художником Арье Алоялем, который становится ее вторым мужем. Однако и этот брак не был счастливым: те неполные три года, которые они провели вместе, были полны взаимных колкостей и обид, у обоих супругов были связи на стороне. У Рааб разворачивается стремительный роман с писателем Ицхаком Шенхаром (Шенбергом, 1902-1957), может быть, первый пример взаимной любви. Они провели несколько незабываемых дней, которые Рааб позже описала в своем рассказе «Первый пролом», он будет опубликован только в 1969 г., двенадцать лет спустя после смерти Шенхара. И вновь поэтесса сама решает прервать отношения с любимым.

После развода с Алоялем Рааб была настолько подавлена и морально опустошена, что разрывает отношения со многими старыми знакомыми, перестает принимать их в своем тель-авивском особняке, который вскоре продает. Она практически прекращает заниматься поэзией, путешествует в Европе (Париж, Зальцбург), живет на съемных квартирах в Тель-Авиве и Кфар-Сабе, пишет по два стихотворения в год.

Рааб пытается обрести себя заново, она глубоко входит в психологический образ одинокой вдовы, сильной, страдающей еврейской женщины, отождествляет себя с природой своей родины, выражает причастность к ее истории. В поздних стихах мы находим мотивы, которые, вероятно, обдумывались поэтессой в этот период.

Сердце мое в твоих росах, родина.

Ночью в колючих полях,

В кипарисовых ароматах,

Во влажных кустарниках

Расправляю я спрятанное крыло.

Вероятно, в эти тяжелые годы складывается у поэтессы тема глубинного одиночества, которая будет устойчиво присутствовать позднее – в завершающий период ее творчества. Таково, например, стихотворение “Песня женщины”.

*Благословен Господь, сотворивший меня женщиной.
Вот я – земля и человек, и нежная плоть.*

.....

*Благословен Господь ... Давший мне плоть цветущую
И сделавший меня*

подобной полевым цветкам плодоносящим.

*Благословен Господь, за то, что разорвал облака
На шелк щек и бедер моих.*

И вот я выросла,

И прошу – снова хочу стать девочкой...

.....

*И слышно меня, малышку,
Когда я играю у ног Твоих,
Меня Создавший.*

В эти годы Рааб встречает очередную любовь - это сержант Исраэль Шпилер, прибывший в Палестину с армией генерала Андерса. Он был моложе поэтессы, но они выглядели одного возраста. Несколько лет они прожили вместе в Кфар-Сабе, и здесь, спустя одиннадцать лет после последнего стихотворения еще 1935 года Рааб снова стала писать, начав с двух коротких рассказов в 1946 г. и трех стихотворений в 1947 г.

Может быть, именно Шпигелю было посвящено позднее стихотворение «Солдат».

Он не знает, что капли дождя

Считают мгновенья, сливая их с прошлым;

Он не знает, что будет седым,

Оставшись подростком.

*Он не чувствует, что время летит
С каждым мгновеньем;
Он, словно жетоны, меняет эпохи
Рукою мальчишки.*

*Он голову держит вперед навстречу туманному
завтра.*

*Днем зеленые листья вплетаются в волосы.
Ночью кружат над ним бабочки цвета небесного.*

Однако в 1948 г. в Израиль приезжают жена и дочь Шпилера, о судьбе которых он ничего не знал и, считая их погибшими во время Холокоста, стал жить с Э. Рааб. Теперь он решил вернуться в свою прежнюю семью. Предвидя это, гордая женщина и поэтесса решает вновь первой разорвать отношения, не дожидаясь, пока это сделает мужчина.

Теперь она понимает, что ее судьба – прожить остаток дней одной.

Стихотворение «Не навек чистоту холодных ночей...» наполнено трагическим ощущением неизбежного разрыва лирической героини со своим любимым.

*Не навек чистоту холодных ночей
И жар ночей сдержанных
Со мной разделишь, герой мой.
Есть еще ночь, что придет ливнем слез,
Каскадом звуков из глубины моря.
Есть еще одна ночь в нашей судьбе,
Еще одна, ответ листьев из пропасти.*

Стихотворение «Песня о вдовстве», опубликованное в 1951 году, также могло быть адресовано И. Шпиллеру. Из этого стихотворения можно понять, что Рааб отказывает ему, потому что все еще считает себя вдовой своего первого мужа Ицхака Грина. Очевидно, поскольку ее жизнь становилась все более и более одинокой, она научилась ценить человека, который по-настоящему любил ее и

сделал ее обеспеченной на всю жизнь. В последних стихотворениях Рааб описывает Грина как своего единственного, данного Богом мужа.

Устав от всего (ей уже 61 год), в 1955 году Рааб оставляет Тель-Авив («Я сделалась всем чужой», - напишет она позднее исследователю своего творчества Реувену Шохаму) и покупает маленький дом в сельском поселении Эвен Ехуда. Здесь она пишет одно из самых известных впоследствии стихотворений – «Лисица», которое считается воплощением преследовавшего ее чувства одиночества и брошенности. В маленьком поселении Рааб много общается с местными детьми, играет с ними, читает им вслух. Это подвигло поэтессу начать сочинять детские стихи, которые сразу публикуются в приложении для детей газеты «Давар», многие – в сопровождении рисунков Нахума Гутмана.

Однако этот период уединения был недолог: в начале 60-х годов Рааб возвращается в Петах-Тикву, а в 1964 году выходит сборник «Стихи Эстер Рааб», который имел большой успех. Последовали хвалебные статьи в прессе, интервью, рецензии – «Возрождение большой поэтессы» - таково было доминирующее мнение. Однако Рааб продолжала переезжать с места на место и в итоге в конце 60-х годов поселилась в доме для престарелых в Тив'оне. Вероятно, грустные картины из жизни обитателей этого места навеяли поэтессе пронзительные и щемящие сердце образы стихотворения «Старушечьи посиделки».

*Женщины, словно розы, высохли в вазе,
Листья поникли, померкли цвета.
Глаза закрывают и открывают,
Веки опухли, опухли глаза.
А среди морщин мерцает, краснеет
Пятнышко мелкое – эхо любви.
И вдруг улыбаются ямочки черные,
Словно глубокие чаши цветка.
Длинные руки сетью покрыли
Синие жилы.*

*Сидят, говорят, что под тенью портьер.
В углу – пианино, и вальс Шопена,
Полный слез и улыбок, кружит на слуху.
Он путает память, кружит в саду на дорожках,
Влажных после дождя –
Там, где их родина прежняя.
А теперь они сидят и сжимают в кулак остатки их
лет.*

*Их жидкие волосы - как паутина,
Что тает при лучиках солнца осеннего.
Они - словно тощие кошки, что лизут больные кости,
И каждую ночь вместе вопят.*

И все же в жизни Рааб состоялась еще одна, действительно последняя любовь – к упомянутому молодому литературоведу Реувену Шохаму, поэтессе было тогда 77 лет...

История этого знакомства такова: проф. Гершон Шакед, научный руководитель Шохамы, предложил ему написать диссертацию о творчестве Эстер Рааб и в качестве вводной части поместить биографический материал, полученный в результате личных бесед с поэтессой. После нескольких встреч с Шохамом в 1971 году Рааб влюбилась в него. Она писала ему любовные стихи, и некоторые из них были напечатаны. В очередной раз влюбленная женщина жаловалась объекту своей любви, что пренебрежением к ней он иссушает источник ее вдохновения. Любовь к Шохаму была платонической (он был женат и воспитывал дочерей), ему удалось в течение последних десяти лет жизни поэтессы сохранить с ней добрые отношения, поддерживая определенную дистанцию. Рааб сохранила все его письма, и он сохранил её послания. Они представляют собой отдельный том архива.

В стихотворении «Я уже раньше тебя встречала» поэтесса ясно описывает, как через любовь к Шохаму она вспоминает свои предыдущие романы. Она уверяла литературоведа, что он не избавится от нее до самой

смерти. Ее душа «парила над ним с горы Кармель», как она писала в посланном ему стихотворении «После моей смерти».

В последнее десятилетие своей долгой жизни поэтесса издала еще два сборника своих стихов – «Последняя молитва» (1972) и «Шелест корней» (1976). В них автор выражает ощущаемую ею причастность к истории своей страны, как ее древности, так и к современным реалиям. Как и всем израильским литераторам, Рааб присущи аллюзии на библейские сюжеты. Например, в своих стихах она на равных беседует с царем Давидом и пророчицей Дворой:

*Вместе с Дворой кофе пью и беседу веду
Под пальмой – о войне и обороне.*

Для поздней поэзии Рааб характерны сентенции лирического героя о прожитой жизни. Так, горькой иронией веет от ее «Автопортрета». Пустота одиночества, безответная любовь разъели сердце лирического героя, и теперь у него не осталось ничего, он теряет смысл жизни, его тело иссыхает и превращается в скелет, а сердце...

*Сердце черви съели вместе с цветеньем садов
С желаниями неосуществленными или утерянными.
Без любви...*

Стихотворение «Плачущая женщина» – исповедь души в попытке заглушить боль, пересилить страдания. Это образ одинокой вдовы, какой и была почти всю жизнь Эстер Рааб. Лирическая героиня задает себе вопрос: кто она, женщина, плачущая во мне? И сама отвечает: мне не знакомы ее слезы...

*Зато та, другая – любит поплакать.
Кто-то убил ее, что-то убило ее,
И она мертва, и все же плачет ночами –*

*По сыновьям, по себе, по мужу,
Что покинул ее...*

«Еще остались дни полынно-медовые» – стихотворение о последних надеждах, наполненное тяжелым предчувствием. Это «дни светлых весенних почек» - образ стремления к жизни, залитых дегтем – образ смерти, это дни борьбы жизни со смертью. Это прощание лирического героя с миром, где остаются его любви.

*Еще остались дни – полынно-медовые,
Дни светлых весенних почек, залитых дегтем.
Еще плетется, задыхаясь, сердце,
Словно еще одна весна обволакивает тебя,
Стремясь к последнему объятью.*

Некоторые стихи последних лет звучат как реквием по себе и Ицхаку Грину. В них поэтесса общается с ним, с кем она найдет вечность на небесах, и просит прощение за то, что не имела детей. Рааб просит его, ее вечного стража, кто сделал для нее больше, чем кто-нибудь еще на земле, подождать, потому что скоро улетит на небеса и присоединится к нему. И там обретет счастье и покой, которых не имела на земле.

За несколько недель до смерти она написала свое последнее стихотворение «Пейзаж не отсюда» - об Эстер и Ицхаке в раю. Это стихотворение было нацарапано на обложке журнала ручкой без чернил...

Эстер Рааб умерла в сентябре 1981 года. Ей было 87 лет. Она просила написать на ее могиле в Петах–Тикве три строчки из ее стихотворения.

Критика писала о творчестве Рааб в целом позитивно, но редко. Уже после смерти поэтессы были изданы книги ее стихов «Сборник стихов» (1982), «Разрушенный сад» (1983), «Избранные рассказы и семь стихотворений» (1983), «Все стихотворения» (1988).

К столетнему юбилею со дня рождения поэтессы (1994) было выпущено второе издание сборника «Эстер Рааб - все стихи», а в 1995 г. Бен-Эзер подготовил компьютерный том «Эстер Рааб, вся проза» (издан книгой в 2001 г.). Основное содержание книги составляет автобиографический материал, рассказы, отрывки из дневников, воспоминания поэтессы. Даже обычно сдержанный в своих оценках израильский критик Менахем Бен, характеризуя эту книгу, назвал творчество Рааб «одним из величайших культурных сокровищ во всей ивритской поэзии».

ТАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ...

*Израильский анекдот конца 40-х – начала 50-х годов XX века
Собрал и перевел с иврита А. Крюков*

В последние годы значительно расширились возможности русскоязычных читателей знакомиться с миром ивритской культуры и литературы, - речь идет о появляющихся переводах на русский язык произведений израильских прозаиков и поэтов. Однако до настоящего времени для многих в Израиле остается практически неизвестным такой интереснейший жанр фольклорного творчества как национальный израильский анекдот (не смешивать с традиционным еврейским анекдотом), в частности, исторический. Знакомство с этим родом историко-литературного творчества позволяет лучше узнать историю страны и ее первых граждан в новом ракурсе – живом и неформальном.

1948

Солдат и офицер сидят в окопе, а над их головами пролетают снаряды. Офицер достаёт сигару, высовывается из окопа и прикуривает от одного из снарядов...

- Командир, - волнуется солдат, - это же опасно.
- Да ничего, я не буду затягиваться.

1949

Два израильтянина разговаривают в окопе в последние дни Войны за независимость.

- Для меня настоящая война начинается только сейчас.
- То есть?
- Возвращаюсь домой, к жене...

Заседания Кнессета первого созыва проводились в зале «Кэсем» на берегу моря в Тель-Авиве. В помещении не было подходящего туалета. Турист спрашивает депутата, как же народные избранники обходятся?

- А нам и не нужно. Депутаты от коалиции поливают дерьмом оппозицию, оппозиция отвечает тем же, а журналисты изо дня в день выносят все это на страницы газет.

Говорят, что когда Давиду Бен-Гуриону предложили стать царем Израиля, он ответил, что не хочет быть Давидом Вторым.

1950

Мать семейства отправилась в больницу рожать.

Отец говорит Дани: Мама отправилась на рынок и купит нам маленького.

Дани: Только чтоб был не черный.

Отец: Почему вдруг «черный»?

Дани: Да мама все покупает на черном рынке.

У прилавка с тканями израильского производства покупательница говорит продавщице: Материя мне нравится, а вот расцветка – нет.

Продавщица: Тогда покупайте смело: после первой же стирки рисунок сойдет.

- Папа, - спрашивает Шмулик, - какая разница между просперити и режимом экономии у нас в стране?

- Смотри, - отвечает тот, - просперити – это американский автомобиль, хорошее вино и красивая девушка, а режим экономии – это велосипед, чай и... твоя мама.

В ресторане.

Посетитель:

- Официант, этот цыпленок, наверное, был сиротой.
- Почему?
- Цыпленок, у которого была мама, не может быть таким маленьким и сморщенным.

Разговор между двумя хозяйками.

- Где вы достаете все эти деликатесы?
- Муж по службе посещает кибуцы и привозит оттуда.
- А мой на прошлой неделе посетил консерваторию, так не принес ни одного консерва.

Трумэн, Сталин и Бен-Гурион перешли в мир иной, и на небесах их встречает Господь. Приветствуя Трумэна и Сталина, он встал и провел их в рай, а Бен-Гуриону не оказал таких знаков внимания.

- Эти двое, - обиженно сказал Бен-Гурион Богу, - признали Государство Израиль, а я его провозгласил, а ты даже не встал, чтобы приветствовать меня.

- Честно говоря, я опасался, что, если встану, ты займешь мое место.

1951

В Тель-Авиве группа новых олим из Йемена входит в двухэтажный автобус – несколько таких машин молодому Израилю подарила Великобритания. Тейманим толпятся на передней площадке, и им предлагают подняться на второй этаж – там свободно.

- Вы что, с ума сошли, - отвечают те, - там же нет водителя!

Анекдот от Эфраима Кишона:

«Вчера довелось мне говорить с Ювалем-саброй, и я его спросил, какой город, по его мнению, является столицей Испании.

- Куба, - ответил Юваль-сабра, на что я заметил, что не Куба, а Мадрид.

- Ну, - сказал Юваль, - пусть будет Мадрид.

После этого содержательного диалога я погрузился в размышления и спросил себя: что хотел сказать Юваль этим «Ну» перед словом «Мадрид», однако не нашел ответа».

ПОЭЗИЯ

Елена Тверская

СЕРЕДИНА КРУГА

Паук вон, идет по паркету,
не знает ещё ничего,
а это последнее лето
в развитии было его.

Никто и не думал о Боге
и смерти никто не хотел,
и не подводили итоги,
а так – что успел, то успел.

С утра пейзаж – как будто спим,
все серым небом застигает,
и землю с облаком одним
зависший дым соединяет.

Когда прошел душевный жар,
и холодок щекочет темя,
вдруг занимается пожар
и поворачивает время.

И, в пику холодку тому,
жизнь любишь, ненавидишь нежить,
и есть сочувствовать кому,
кого любить, жалеть и нежить.

Первый взгляд, как правило, обманчив,
а второй – доверчив.
На столе, как правило, бокальчик
коньяка под вечер.

В пепельнице тлеет сигарета,
отдыха подруга,

а куда ты денешься от этой
середины круга?

А когда к периметру сползаешь,
там оно дороже –
всё, что в этой жизни полагаешь
главным, глядя строже.

Только детские книжки читаю,
и страннейшее лето корю,
гуси с Нильсом опять улетают
исправлять свою жизнь на корню.

Он один среди этих пернатых,
он на землю глядит с высоты,
он решительный и простоватый,
и судьба с ним, похоже, на ты.

Поднимаются стаями птицы,
принимается доля с трудом.
Перед гномом еще повиниться -
и простит прегрешения гном.

К сентябрю наклоняется солнце,
осень спрячет свой клюв под крыло,
и, того и гляди, обойдётся
всё, что трогало, мучало, жгло.

Хлеб не пьется, и воздух отравлен,
и из комнаты выйти нельзя,
и в усталое лето взаправду
ударяет сухая гроза.

Дым стоит над холмами до вечера,
только к вечеру дышит простор,
выползают в него человечки,
через маски ведут разговор.

Ирина Маулер

ЛАДОНЬ

Я протягиваю тебе ладонь
Горячую, полную жизни -
Смотри, голубая бьется жилка -
Это сердце стучит так живо,
Это ветер по его жилищу
Сбивая с ног - память, надежду, мысли...
А ты опустил жалюзи своих глаз – слышишь...
Закрываю ладонь - не нищая.

Странность

Руки не протяну, не улыбнусь,
Не обниму и сердце не открою -
Какая странность -
Рядом быть с тобою...

Посвящается И.

Не уходи...

Я простилась, простила - давно,
Я обид не коплю - всё равно
Наших жизней единый овал
Разлетелся на части, пропал,
Не вернулся с военных полей,
Не остался в ладони моей.

Укатили твои города -
Я слыхала о них иногда,
Почтальоны соседних миров
Прямо в сердце сливали улов

Дни мои превращая в года...
Я ещё не простила тогда.

Я себя собирала из слов,
Я себя выводила во двор,
Из руин поднимала, вина
Тебя в том, что ты предал меня.
Что ты продал меня за пятак,
Что стрелял в меня - просто так.

Я живая - из стали и слёз,
Я стою - меня ветер не снёс,
Не унес далеко за моря -
Я живая - простила тебя.
И простилась ...а ночью опять
Умоляла – не умирать.

Сегодня и сейчас

Сейчас, на берегу, над морем, над минутой,
Надежды, над горой
Восходит день раздетый и разутый -
Такой живой.

И жалит своим жалом солнце,
И тени велики,
Сегодня и сейчас я из колодца
Иду черпать стихи.

Сегодня и сейчас тружусь над строчкой,
Взлетаю и парю,
И пригоршню рифм своих неточных
Из моря достаю.

И гладит мои ноги ветер,
И солнце в волосах,
В душе, которая на свете
Сегодня и сейчас.

И невозможно изменить, расстроить
Мгновения полет,

Сегодня и сейчас, и в каждом слове
Оно живет.

И падает душистое на плечи
И ласточкой в груди...
Мгновение, ко мне на эти встречи
Ты чаще приходи.

Небесное

Я принимаю все, как есть -
Все так, как хочешь ты.
Если хочешь - страх и месть,
Хочешь - долг и стыд,
Если хочешь - радость строк,
Хочешь - лишь намекни -
Разногласицу всех дорог -
принимаю с твоей руки.

Я принимаю кожей всей,
Всей сероглазостью этих минут
Снежность и нежность твоих полей,
Песни, которые жду.
Розы и кактусы, правду и лесть,
Встречи случайные нового дня,
Я все приму от тебя - как есть...
только люби меня.

У НЕГО, У ВЕТРА, ТАКАЯ ХАРИЗМА

У него, у ветра такая харизма
Тянутся деревья, заламывая руки
У него свадьба, у него тризна
Что-то он скрывает, смотри, как крутит.

Наступает лето грудью жаркой
У Луны есть Солнце, у черешни вишня
Мне весны мало, мне себя жалко
Мне шепнул ветер кое-что личное

Кто стоит напротив, кто мне пара?
Ветер мой, ветер, ты один в поле.
Хочешь, буду хлебу твоему опарой
Хочешь, твоего сына принесу в подоле

Приобнял за плечи Ветер-одиночка
Юбки наполнил – паруса корвета
Теплой ладонью потрепал по щёчке
Улетел, бросил, оставил без ответа

Дождливая песенка

А на улице стоит дом
А по улице идет дон
Или в гондоле плывет дож
А на улице идет дождь

Поднимается зонтов звон
Разливается в душе дзен
За окном звучит дождя зов
Он спустился. Он уже здесь

Ветер мечется, лукав, бес
Пес по лужам без калош, бос
Быстрых капель перестук, бег
Их отмеривает сам Бог

Пёс ли, дож ли – спесь она ложь.
А на улице идет дождь

Что это все значит

Что это все значит
знать нам пока что рано
это Стена Плача
или опора Храма

Тучи не верят свету
солнце глядит иначе
то ли устало лето
то ли ушла удача

Мысли, их сбить в масло
света мне нынче мало
то ли свеча погасла
то ли звезда упала

А за спиной тени
Вот их переловить бы
Губы всегда в теме
шепчут слова молитвы

Время идет упрямо
день этот нам назначен
снова стеной Храма
станет Стена Плача

Не бывает принцесс босых

Ох, не хватит траве росы
Выпьет солнышко
Не бывает принцесс босых
Только Золушки
В каждой шутке намек, обман
Нравы местные
Через темный лес шел баран
С баронессою
Волны катят на пляж след в след
Греют пузико

Птицы пьют золотой рассвет
Что за музыка
Загадаю на чёт-нечёт
Может, сбудется
По ковру иду, пока врёт, идет
Да заблудится

Приходили ночные сны
Я не верила
Разгорелись костры весны
Искры веером
Только срок у цветов не век
Да язык немой
Обними меня, человек,
Неслучайный мой.

Это я, Господи

...Жил себе и жил,
как Бог на душу положил.
Соблюдал, как все,
и как все, нарушал.
В целом, свободно дышал.

Жизнь катилась. Смеялась. Рычала, как зверь.
Порой лупила по голове.
Он кому-то изменял
и кого-то берег.
Ну, да, где-то есть Бог,
строг.

Что случилось однажды?
Он сам не знал.
Был рассвет чист, или закат пылал,
тишина взывала как глас Небес,
Иль под ветром шумел лес...

Только дрогнуло что-то,
заныла струна.
И слеза по щеке,
и ознобом спина,
и от тихого шепота задрожала земля:
- Это я, Господи! Это я...

ПОМОЛЧИМ, ПОГОВОРИМ...

На слух, как если бы — на вкус
я пробую словарь.
Расцвёл неопалимый куст
и задрожал, как тварь.

От «А» до «Я» словарь земли,
от «Я» до «А» небес,
мои печали утоли
игрой на интерес.

За столько лет — с собой в борьбе —
стоянья на кону,
я доверяю лишь тебе
и больше никому.

Я проигрался в пух и прах,
став прахом навсегда,
всем сердцем ненавидя страх,
как берега вода.

Я доигрался, замолчав
на миллионы лет,
как обязательство без прав
и без надежды свет.

И только после тридцати
(А. П. — крошечный срам?)
возник внезапно на пути
осенний лес, как храм.

От «А» до «Я», от «Я» до «А»,
не ведая границ,
слова шумели, как листва
под оркестровку птиц.

Зацвёл в угоду октябрю

неопалимый куст.
И я на птичьем говорю,
не размыкая уст.

Тишиной осенних Бронных
укрывались, как плащом.
Вход в страну потусторонних —
посторонним воспрещён.

Наконец-то мы вернулись
ненадолго — навсегда,
в темноту безмолвных улиц,
как октябрьская вода.

Мы вернулись, потому что
доверяем только снам,
где промозгло и не душно
и соскучились по нам.

Посидим в кафе с Денисом, —
помолчим, поговорим,
доверяя только визам
перелётных окарин.

Посидим в кафе с Мануком,
заглядевшись на рассвет,
доверяя лишь разлукам
без которых встречи нет.

А потом, пока не поздно,
Возвратимся мы домой,
где тепло, пустынно, звёздно
предрождественской зимой.

Октябрь уж наступил... На сердце вёдро.
Души откалиброваны весы.
Жидовская нарисовалась морда
на фоне среднерусской полосы.

А тишина, устав от монохрома,
зациклившись на птичьих голосах,

вразвалочку гуляет, как Ерёма
в густых металлургических лесах.

***Это чудесный мир, не правда ли?
Э. Уорхол***

Всё путём и все довольны —
ни вины и ни войны:
вышины небесной волны,
счастья полные штаны.

Почему же, отчего же
на душе полночно и
не могу уже без дрожи
вспомнить радости свои?

Отчего же, почему же
столько времени, дружок,
затянуть спешишь потуже
безнадёги ремешок?

Потому что только беды
приближают нас к тому
мигу счастья и победы
погружения во тьму.

потому что никого
потому что ничего
больше нет включая бога
свет живущий кочево
и полночная дорога

Ах, недаром, недаром, недаром
мы когда-то остались в живых,
заливая шары «Солнцедаром»
и гоняя на бархате их.

Потому что в живых не осталось
никого, кроме нас и любви.
И поёт долгожданная старость
развесёлые песни свои.

Вышли боком и память, и время!
Где «Малина»? Где «Штирлиц»? Где Макс?

Облетев, наконец-то, деревья
совершают осенний намаз.

Помнишь? Помню. Уже не забуду,
и уже никому не отдам:
пинских рек тишину и простуду
и бегущий по венам «Агдам».

Было не было... В кои-то веки
прилетели — вернулись назад,
и сидим, словно птицы на ветке
и глядим на потерянный ад.

Ах, держава-раздержава, —
стародавние дела!
Обещанье не сдержала —
развалилась, предала.

День погож и век неистов.
Свет личин и сумрак лиц.
Пэтэушность лицеистов,
благородство не девиц.

Даль — тесна, а вместо шири —
голубые небеса.

Разбрелись на все четыре
деревянных колёса.

Время зрелищности хлеба
и цветения рожна.
То ли ветренная Геба.
То ли мужнина жена.

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА

В Вентаве я уснул и вижу
Земля уходит из-под ног
И девушка, мечта Парижа,
Сидит напротив с чашкой снов.

И туфли красными носами
Летят навстречу кораблю
И бренди светит огоньками
На букву «Л»
На букву «Ю».

И я гляжу на эти звезды
Вдыхаю ласковый прибой
И повторяю: поздно, поздно
Все это будет не с тобой.

Удовольствие дождя:
это ясно без меня.
Рассудительный Сократ
гонит в гавань мысль назад,
и дождевики-серебро
сферы двигает бедро
треугольники летят,
образуя звукоряд
и от ветра не число
хаос капель – понесло
бьет по глади: точка, ноль,
и круги, и слова соль.
Окна разума дождя:
это ясно без меня.

Ни и не
В твоём окне
Тополь быстро облетел
А на яблоне
Еще красные яблоки
Соблазна.

Д. Авалиани

Митя крутит стертые слова
Разрывая оболочку смысла
Прочитаешь: солнце и трава.
Повернешь листок – и зверя числа.

Митя бродит возле и вокруг
Прочитаешь: Таня или Коля.
Повернешь листок и видишь: «друг»
Или «воля». Закорючек воля.

Митя сядет на воздушный шар
Потеснит горбом седое небо
И уйдет – культуро-слово-вар,
Словно вовсе не летал и не был.

Но в круженье ночи, в час живой
Митина игра над головой.

Закрылись желтые страницы
Державы титульный разор
И ветер – ястреб заграницы
До самых потаенных нор.

И отступая в день нездешний,
Продлить пытаюсь полотно:
Сюжет пути и крик потешный,
И утро синее окно.

Но в тишине давно условной
Летит прощание – прощай
И небо серостью просторной
И снег валит на слово май.

Льдины и лебеди –
чистый стих.
Зябко. Я дождик. Я не о них.
Волны в человеческий рост,
Выбежать и – норд-ост!
Выбежать – и низенький горизонт,

мокрая галька, выгнулся зонт,
мысли и чувства – полный раздрай,
мутные волны: не убегай!
И я встаю в человеческий рост.
Прямо в лицо – норд-ост.
Льдины и лебеди – чистый стих
рвется внутри: я не о них.

Ручей пересох
и только цветущая яблоня
в русле
еще беседует
со струей.

Стихи на салфетке

Зачем она села напротив?
Ну, села и села, плевать.
Мне все эти бабы, как противень,
Как низкого неба тетрадь.

Но все же она посмотрела
И сдвинула свой ноутбук.
И я опустил оробело
Глаза, заблестевшие вдруг.

Ах, сколько же этих козявок
Летают в головке моей.
Ах, сколько же этих пиявок
Себе я поставил, злодей!

Над озером – палаток стайка.
Как важно, что они стоят.
И возникает мир – лужайка,
гитара плещет, голосят.
И стих, теряя содержанье,
течет как гладкие стволы
в синь – заблудиться – зазеркалье,
в бор – затеряться до поры,
отслеживая – циркуль – числа
иных путей, чет-нечет смысла.

Я сегодня взгляну мимоходом
На огни промелькнувшего дня
Я сегодня уйду теплоходом
По фарватеру строчкой звеня
И наткнусь на себя за проливом
Возле острова с длинной косой
Возле ржавого бакена с милой
И крутой, и веселой волной.
Что за вздохи? Далекие скалы
И раздолье – гуляй не хочу
И знакомые песни-отравы,
Я стою. Я иду. Я лечу.

Я вспомнил: ничего там нету.
И только дым, и только звук
гитары. И тропинка к свету
в сплетенье слов, в сплетенье рук.

И всюду «мы», земля туристов,
веселых трудников земли,
плюс караваны жестов, смыслов,
и флаг полощется вдали.

И мы идем везучим маем
и невезучим декабрем,
повсюду вешки расставляем
и миф вокруг себя плетем.

Тивериада

С утра туман – совсем не долго
И снова озера сиянье
И кипарисы белых зданий
И я лечу между домами
Между домами-крепостями
Вниз по асфальту как по водам
Иду метровыми шагами
Спешу опять ходить по водам:
Волна ступенек, волны сердца
И у причала сесть – погреться.

сегодня рано поутру
и завтра – нет, не по нутру
по белым скалам, по жаре
вернусь, наверно, в ноябре
полезу снова – вертикаль,
тропа козлиная и даль,
сидеть на камушке – обрыв:
земли и слова перерыв.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ДНЕВНИК
из последних записей

*

О мире и войне ведут дебаты
учёные совсем различных школ,
а вывод, что евреи виноваты,
заранее записан в протокол.

*

Себя я тратил как хотел,
не ведал горя от ума,
зато про близость душ и тел
я знал доподлинно весьма.

*

Нечто в этой жизни очень просто:
если ты нашёл себе в друзья
суку, подлеца или прохвоста –
верить и тебе уже нельзя.

*

В познании не делал я успехи,
учёба мне вредила и вредит,
но есть в моём невежестве прорехи,
и я благодаря им - эрудит.

*

Судьба моя вполне предрешена,
поскольку я почти дошёл до точки,
хотя просить о маленькой отсрочке
настойчиво советуется жена.

*

Чего так сердце к ночи мечется?
Оно страдает от того,
что нынче днём для человечества
не сочинил я ничего.

*

Приснилась мне кошмарная, немая
картина моего грехопадения:
отпетым сукам руки пожимая,
на сцену я иду для награждения.

*

В нас жизни две: отчётливая внешняя
и внутренняя – тут закрыты двери,
но есть ещё вмешательство нездешнее,
в которое упрямо мы не верим.

*

Состарюсь, вижу я острее:
наш век былому – не чета,
и выйти замуж за еврея –
большая женская мечта.

*

Забавны эти превращения –
от сосунка до старика,
но чуда жизни ощущение
нас не оставило пока.

*

О, как я знаю, из какого сора
стихи растут, не ведая стыда,
и слово со случайного забора
теперь употребляю я всегда.

*

Ещё не лыс я, но кудрей –
их нет уже, как было некогда,
и не видней, что я еврей,
поскольку нос – виднее некуда.

*

Терпя эпохи злополучные,
мы верим радостным парашам,
что достижения научные
осветят жизнь потомкам нашим.

*

Когда ведёшь себя не робко,
и женщина не обижается,
то вожденная поёбка
весьма заметно приближается.

*

Мне снова снился страшный сон
сегодня поутру:
я с подлецами в унисон
какой-то текст ору.

*

Я для себя давно уже решил,
имея для сомнений основание:
пока Творец рассудка не лишил –
не верю я в Его существование.

Яков Шехтер
комментарии и пояснения **Анны Файн**
САМОУЧИТЕЛЬ
КАББАЛЫ

Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковины и удивительные происшествия - не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.

Самоучитель предлагает читателю освоить несколько главных понятий каббалы. Методика обучения такова: после объяснения разбираемого понятия, следует рассказ, который художественными средствами иллюстрирует, как это понятие проявляется в жизни. Затем следуют вопросы, отвечая на которые, читатель сможет проверить и закрепить полученные знания.

Заказ книги по адресу: articreda@gmail.com

Александр Карабчиевский

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОРЕДАКТОРУ «АРТИКЛЯ» ПОКОЙНОМУ МИХАИЛУ ЮДСОНУ

*«Делов-то пуды, а она – туды!»
Иван Шмелёв «Богомолье»*

Дорогой Миша!

Пользуюсь случаем отправить это своё послание тебе по нескольким причинам. Во-первых, близко нам с тобой знакомый добрый человек Яков Шехтер сообщил мне, что предполагает опубликовать в журнале некоторые материалы, тебе посвящённые. Во-вторых, ни я, ни он, по-видимому, ни другие люди, считающие себя твоими друзьями, не хотят поверить, что тебя уже нет. В этот так же невозможно поверить, как и в то, что каждого из нас, ныне живых и теребящих клавиатуру, тоже когда-нибудь, в обозримом будущем, не станет. То есть мы все исчезаем начисто, целиком, абсолютно? Не верю, не желаю верить! Я уверен, я знаю, что где-то ты есть; пусть в новом облике, в другом виде, чем тот, в котором ты забредал ко мне в гости или в книжный магазин, где я подвизался. Может истлеть кашляющее тело, может сгнить внешняя оболочка – но языковое чутьё бессмертно, чувство юмора нетленно, мысль доступна пониманию, а словосочетания вечно возобновляемы. Короче: я уверен, что ты существуешь под иной обложкой, а значит – с этой эпистолой ознакомишься и поймёшь её; так же, как понимал многие мои слова при жизни – никак не выражая ни согласия, ни противоречия, но принимая к сведению. А поскольку уже прошёл год, как твоё тело похоронено, и личного почтового адреса у тебя нет –

пишу тебе в журнал в твёрдой надежде, что это послание дойдёт до тех, кому оно предназначено.

Набрал твоё имя и фамилию в поисковике «Гугла» - 12 тысяч 600 отсылок и упоминаний. В основном, конечно, «Лестница на шкаф». Но и «Мозговой» есть, и многочисленные интервью, которые ты часто брал и редко давал, и даже твоя песенка в честь дочери Юли. И прочитав первые странички, выданные компьютером, я смею обратиться к тебе с дружеской претензией: зачем ты так мало написал?!

Конечно, самые взыскательные критиканы – это друзья. Под видом похвалы они такое могут сказануть, что весь вкус к работе пропадёт. И я порицаю твою благословенную лень, которая никогда не выглядела простым бездельем. Процесс сочинительства для тебя был интимным, скрытым от посторонних глаз, возможно – сродни сексуальному, опосредованно, разумеется. Некоторые люди видели, как ты пил, другие – их меньше – иногда видели, как ты ел, но очень немногие могли бы тебя застать, когда ты сочинял. Ты писал свои книги словно подпольщик, не имея компьютера и даже пишущей машинки, живя по-холостяцки и практически не заботясь о быте – хотя была очаровательная женщина, готовая оборудовать для тебя в своей квартире самый уютный рабочий кабинет. Иногда тебя даже удавалось заманить, но никогда не удавалось заманить надолго.

Писательский труд – повседневный, кропотливый, зачастую даже унылый, а порой и бесплодный. Для тебя он был – жизнь. Ты не работал писателем, ты жил писателем, а это снижает продуктивность. Вот характерная история, которую ты рассказал мне, вернувшись из Москвы, где в 2013 году была издана «Лестница на шкаф». Теперь больше некому рассказать её от первого лица, и я передам её так, как запомнил; а если сокру в мелких деталях – прости, Миша.

Книга вышла в издательстве «Зебра Е». Немного удивило тебя небольшое помещение этого издательства: вся редакция помещалась практически в одной комнате, во

всяком случае, так показалось. Хотя книгу рекомендовал к изданию известный писатель Дмитрий Быков, и он же написал к ней послесловие, автора приняли в редакции так спокойно, будто каждый день к ним приходит по четверо Юдсонов. И сказал автору редактор приблизительно следующее:

- У вас есть выбор. Мы предлагаем вам контракт на шесть ваших книг в течение двух лет...

- Но я же написал пока только одну книгу, - возразил Юдсон.

- Это неважно. Напишите, - сказал редактор. – И в этом случае мы заплатим вам за первую книгу гонорар полностью. И будем ждать следующих. А если вы на это не согласны, то мы будем продавать только эту вашу одну книгу и заплатим вам за неё авансом – и он назвал сумму гораздо меньшую. – А остальное вы получите, может быть, когда будет продан весь тираж, все две тысячи экземпляров...

Ни первой суммы, ни второй ты, Миша, мне не называл, и у меня хватило соображения, чтобы понять, что спрашивать об этом не следует. Хотя мне было отчаянно интересно. Я собрал свою волю, чтобы не возопить, и с волнением спросил:

- И ты, конечно, согласился на шесть книг?

- Разумеется, отказался, - спокойно ответил ты.

- Почему?! – взвизгнул я. – Ведь они же не потребовали от тебя качества. И объём книг, насколько я понял, чётко не определяли. Ты мог бы написать им что угодно, всё равно что...

- Но мне не всё равно, - сказал ты.

И мы перевели разговор на другие темы.

Возможно, сотрудники «Зебры Е» не вспомнят такого разговора. Да это и неважно. Но скажите, разве профессионал посмел бы отказаться от выгодного контракта? А писатель, для которого литература – не работа, а судьба, плевать хотел на любые контракты.

Вскоре Миша принёс мне толстую (560 страниц) и красивую (обложка работы Ирины Маулер) книгу «Лестница

на шкаф» и подарил с тёплой дарственной надписью. Поставил дату подарка «3 ноября 2013 года». Сегодня я достаю из книжного шкафа другую книгу, более тонкую (272 страницы) и меньшего формата, того же автора с тем же названием, изданную в Санкт-Петербурге в 2003 году издательством «Геликон Плюс». Она подарена автором с тёплой надписью 21 января 2004 года. А теперь немножечко цифр.

Книга 2003 года - в двух частях. Первая из них, «Москва златоглавая», начинается на 3-й и заканчивается на 109-й странице: всего 106 страниц. Вторая часть, «Нюрнбергский дневничок», разделена на 5 «тетрадей», и занимает 160 страниц. Перед оглавлением - авторская отметка: «Декабрь 1996 – апрель 1998 гг. Волгоград – Нюрнберг – Москва». То есть первые две части были созданы менее чем за два года, но ожидали достойной публикации пять лет. Во второй книге, 2013 года, обе первые части вместе занимают 180 страниц, а третья – 368, то есть вдвое больше. Перед послесловием – авторская отметка: «Июль 2002 – январь 2010, Тель-Авив». То есть третья часть книги, на мой взгляд, менее увлекательная и точная, чем первые две, писалась около восьми лет, а ожидала публикации только три года.

Талантливый ироничный человек работал в Тель-Авиве над книжкой восемь лет. Восемь! И что, он создал шедевр? Нет, просто хорошую читабельную книгу; а шедевр был создан им раньше, всего за полтора года, когда у окружающих ещё не было веских оснований назвать Юдсона сложившимся и успешным писателем. Это один из уроков Юдсона авторам-любителям: начиная книжку, тщательно продумайте, чем и когда вы её закончите.

Эх, чудесный наш Мишка! Тебе бы к таланту добавить ещё немножко солидности, немножко профессиональных амбиций и умения планировать жизненные обстоятельства – и вышел бы грандиозный писатель, возвышающийся над нашим общим уровнем, как атомный гриб над Хиросимой. Интересно, понравилось бы тебе такое сравнение?

Издать книжку – довольно сложная штука, но распродать её солидный тираж – трюк похитрее. На сайте издательства «Зебра Е» в ноябре 2020 года значится, что книга Юдсона ещё имеется на складе, но в небольшом количестве. Ведь при всех прекрасных особенностях, при несомненной одарённости автора и его мастерстве, произведения Юдсона не коммерческие. «Метод Юдсона может быть определен как алло-лингвистический мифопоэзис», - пишет о тебе, Миша, профессор Кацман из Бар-Илана. Вот это самое «алло» изучать, наверное, интересно; но чтобы его выгодно продать – это погодить придётся.

Не знаю, дорогой друг мой, где ты сейчас. Каким тебе показался рай? Видел ли ты Господа? Но знаю, что теперь ты там, где будем все мы; там, где Аркаша Хаенко и Саша Гольдштейн, где Миша Зив и Нина Демази, где Володя Добин и Петя Литвиненко... Тебе там найдётся, с кем пообщаться. Литература не умирает, она только преобразуется.

А у меня есть к тебе несложная просьба. Выражу её словами молитвы чуждой для истинного еврея религии, но в данном случае, по-моему, подходящей: Михаил Юдсон, великомученик и угодник Божий, моли Бога о нас!

ВО СНЕ И НАЯВУ

Мишу Юдсона я видел во сне три раза. Первый раз на второй день после его похорон.

Мы гуляли по какому-то российскому городу, искали старинное здание сторожевой заставы. Нашли, но оно оказалось перестроенным в современном стиле. Нам это не понравилось, и мы пошли в старую, ещё деревянную часть города. Тихие улочки с деревьями, домики за палисадниками.

Я понимал, что он умер, и долго не решался задать вопрос. Наконец спросил:

– Ну, как тебе там?

– Да не очень, – ответил Миша с кривой улыбкой.

Второй раз мы увиделись на седьмой день после Мишиной смерти, когда душа завершает первый этап отрыва от нашей реальности.

Очень странный сон. Я стоял возле края узкой расщелины, вернее - пропасти, а Миша на другой ее стороне. И я видел, как он превращается в перекрытие, что-то вроде деревянной балки-мостка, которым сейчас перекроют эту расщелину. Я стал соображать, какие инструменты притащить, чтобы его вытащить оттуда. Он прочитал мои мысли и очень сердито буркнул:

– Не вздумай ничего делать, не смей прикасаться к этому бревну! Дай мне пройти мой путь до конца.

На тридцатый день после смерти я снова увидел Мишу. То ли это я во сне продолжал свои мысли, то ли раскрывался канал связи. Непонятно, и нет никакой возможности правильно оценить.

Во сне я попросил Мишу объяснить мне, что с ним произошло.

– Я могу открыть тебе настоящую причину, – сказал Миша, – но тогда ты не сможешь вернуться из сна в реальность.

– Умру то есть? – уточнил я.

Миша не ответил.

– Не надо, не раскрывай, – попросил я и проснулся.

С тех пор прошло много месяцев. Больше Миша мне не снится. Видимо, его душа далеко ушла по своему пути и земные дела ее уже не интересуют.

КОРОЛИ И КАПУСТА

Мой покойный друг Миша Юдсон к ритуалам нашей религии относился с прохладцей. Я было написал «спустя рукава», но какие рукава в нашем жарком климате: футболки да безрукавки. Прохладой, правда, тоже не пахнет, но все-таки думать о ней приятнее, чем о спущенных рукавах.

В Бога Миша верил, особенно уважая еврейскую мистику, и с большим интересом во время застолья пускался со мной в рассуждения о трансцендентном. Но наложить тфиллин и закутаться в талит с цицит я так и не сумел его уговорить.

– Тфиллин – это же корона, – убеждал я упрямца. – Наденешь и сразу почувствуешь себя королем.

– Настоящая коронованная особа, – сурово ответил Юдсон, – не нуждается в подтверждении своей царственности и чувствует себя королем даже в душе. Давай лучше хряпнем.

Единственное, на что он соглашался, было торжественное вздымание лулава и этрога во время Суккот. Поскольку застолье у меня в сукке всегда происходит наотмашь и не взирая на лица, Миша, в предвкушении праздника, был готов немного пойти навстречу суровому еврейскому Богу.

То ли дело кот Юдсон! Тот буквально охотится на цицит и ремешки от тфиллин. Во время карантина общественная молитва в синагоге стала редко доступным лакомством, к Всевышнему приходится обращаться из дома. Не успеваю я облачиться в доспехи славы, как серое животное прибегает из самого дальнего угла квартиры, где оно до сих пор безмятежно дрыхло, и, как тигр антилопу, начинает ловить цицит.

– Миша, уймись! – говорю я ему. – Имей Бога в животе, дай спокойно помолиться.

Юдсон притворяется, будто внял моим увещаниям, бесстыдно разваливается на диване и делает вид, что заснул. Но стоит мне повернуться к нему спиной, как одним прыжком преодолевая расстояние между нами, он победно вцепляется в кончики ремешков тфиллин и начинает их грызть, точно заяц капусту.

Это все, что он теперь может сделать. Заповедь накладывания тфиллин на котов не распространяется, а ловля цицит не есть Божественное Желание. Но в своем нынешнем кошачьем обличи у Юдсона нет иной возможности хоть как-то приблизиться к святости.

Alas, poor Yorick!

БОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Ох, и покатались мы с Мишей Юдсоном по бескрайним просторам нашей родины! Выступали в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Араде, Ришон ле-Ционе, Реховоте – всего и не упомнить. Особенно часто – в Иерусалимской библиотеке, у Клары .

Как-то раз после очередной презентации журнала «Артикль», в котором мы с Юдсоном подвизались в качестве редакторского дуумвирата, Миша прошелся вдоль плотно забитых полок библиотеки и вернулся с вопросом.

– Книги есть. А Бог?

– Бог это и есть книги, – ответил я.

- Матерь-семантика! – вскричал Миша. – Филолухи-журналюхи тачают Диру Мира?
- Наша вера опирается на текст, – сурово ответил я. – Всевышний вложил себя в Тору и дал ее нам. Поэтому мы и называемся народом Книги.
- Это раньше так было, – заявил Юдсон. – А сейчас мы народ радио, телевидения и интернета, упаси Господи!
- Ты ведь не зря корпишь над словом, – возразил я. – Ему присягнул, ему служишь, женился на согласной букве, а в любовницы взял гласную. Да по-другому и быть не может, ты ведь Юдсон, сын буквы юд. Гематрия, цифровое значение этой буквы – десять. Вот ты и пытаешься все время попасть в десятку, расставить буквы и слова самым точным образом. Чисто религиозное рвение ...
- Я-то корплю на буки-веди, – возразил Миша, – а божественный язык – иврит, Книга на нём дарована. Русский в Эреце как идиш – бытовая речь, жаргон – на нём тухлую курицу пурицу втюхивают. Я вот на идише ни слова не знаю, это ты мастак: как выпьешь, из тебя сразу лезут кишмиринтухес и зайгезунд.
- Зугсте хоч! – вскричал я. – Любовь к букве – основа еврейского характера. Наши предки тысячи лет провели в кропотливой работе над словами Книги, и в этом смысле ты настоящий еврей. Бог решил, что для тебя родной алфавит – кириллица, поэтому особенный еврейско-русский воздух и есть твоя божественная реализация .
- Мальчики, ну как вам наша библиотека? – спросила подошедшая Клара Эльберт.
- Божественно, – галантно расшаркался Миша. – Просто божественно!

КАРЛ-ЯНКЕЛЬ ЮДСОН

Мои встречи с читателями всегда вел Миша. Несколько лет назад, после выхода в Москве моей книги «Ведьма на Иордане», магазин «Исрадон» пригласил меня поучаствовать в ее презентации в хайфском и тель-авивском отделениях.

И мы с Юдсоном поехали в Хайфу. Разумеется, на поезде, по дороге восхищаясь удобством новых вагонов и бесшумностью хода. И Миша, и я немало покатались по железным дорогам Советского Союза; было с чем сравнить и что вспомнить .

В Хайфе нас поджидала Рина Жак, организатор презентаций в «Исрадоне». Она приехала заранее из Тель-Авива, с ее помощью мы быстро отыскивали магазин, познакомились с читателями, и выступление покатилося по привычному, накатанному руслу. Встреча затянулась, было много вопросов, и мы с трудом успели к последнему поезду на Тель-Авив.

Усевшись на самые отдаленные места в полупустом вагоне, Миша поставил на колени свою сумку, запустил в нее руку и с нескрываемым блаженством произнес:

– Вот она, милая! Здесь, дожидается. Пришло времечко!

– Что это у вас? – с подозрением спросила Рина.

– Чистейшей воды «Бушмилс» ирландского производства, – ласково ответил Миша. – Налить?

– А вы знаете, что распитие спиртных напитков в поезде запрещено? – заметила Рина.

Не обратив внимания на ее слова, Миша извлек из сумки бутылку виски и пустую пластиковую бутылочку из-под холодного чая «Нестле». Не пролив ни капли, он наполнил бутылочку и тут же спрятал «Бушмилс».

– Вот, Риночка, – показал он на «Нестле», – цвет один и тот же. Надеюсь, чай распивать не запрещается?

– А запах?! – делая большие глаза, воскликнула Рина.

- Запаха сейчас не будет, – заверил ее Миша и стал выкладывать на столик пластмассовые стаканчики, питы, три вида индюшачьей пастреды в промасленных бумажных упаковках, баночку соленых огурчиков, горчицу, хумус. Он доставал бы еще и еще из своей бездонной сумки, но Рина вскочила со своего места и пересела на два ряда вперед.

– Ну-с, – потер руки Юдсон. – Хряпнем за темноту за окнами!

Обмениваясь впечатлениями от хайфской публики, мы бодро неслись к Тель-Авиву. На подъезде к Зихрон-Якову чай закончился, а настроение существенно изменилось.

– Мне нравится вера, – сказал Миша, косясь на мою бороду, – которая позволяет ее адептам правильно проводить время.

– Нравится – сделай обрезание, – отрезал я, допивая последние капли из своего стаканчика.

– А я обрезанный, – отбил мой выпад Миша, пряча в сумку «Нестле».

– С каких таких щей, – удивился я, – советские итээр из Волгограда сделали обрезание сыну в середине пятидесятых годов прошлого века?

– А это не они, – Миша вернул на столик бутылочку с новой порцией чая. – Они на курорт поехали, а меня отвезли к бабушке и дедушке. Возвращаются из Крыма, а я уже готовенький .

– Карл-Янкель, – вскричал я, – ты же один к одному бабелевский персонаж !

Хлебнули чая, закусили пастромой. Вагон уютно покачивало, за окнами плыли огоньки Святой Земли.

– Наш мир, – философски произнес Миша, – похож на этот вагон. Светло, прохладно, вкусная еда, добрые друзья, красивые женщины, – он хищно улыбнулся затылку Рины, но та, не почувствовав импульс, продолжала копаться в телефоне.

– А вот будущий мир, – продолжил Юдсон, – на котором вся вера построена, похож на темноту за окнами: ничего мы о нем не знаем. Тут мы с тобой пьем хороший виски, говорим о литературе, а чем будем заниматься там, в темноте?

– Ладно, сам напросился, Карл-Янкель, – сказал я. – Теперь придется слушать.

Миша разлил остатки чая, мы хряпнули, и я продолжил.

– Всевышний называется «Маком», то есть Место. Не мир Его место, а Он место мира. Бог выделил в себе крохотную часть и создал в ней наш мир. С его бесконечными звездами, планетами, далекими солнцами.

Наша Земля - это ведь только пылинка в неизмеримом пространстве галактик.

Тело приземлено, а для души нет границ. Ты ведь хотел бы узнать, как живут шаманы в Африке, чем питаются пингвины, какой вид на закат с вершины Джомолунгмы. Душе без тела это ничего не стоит, она может переноситься за мгновения в любую точку Земли.

– Занятная перспектива, – пробормотал Миша, отхлебывая чай.

– А на Луне ты не хочешь побывать? – спросил я. – Взглянуть, что это за темные пятна? Погулять по кратерам, а? Ведь душе не нужен воздух, а расстояние до Луны она способна преодолеть за мновение ока.

А погрузиться в Солнце? Посмотреть, как оно там, внутри? Душа не боится высокой температуры, ведь она духовна, и материальность ее не задевает. Она может перенестись на далекие звезды, увидеть, как разумно и правильно обустроил Всевышний вращающиеся вокруг них планеты. Есть ли там живые существа, что они делают, как живут?

– Складно излагаешь, – одобрил Миша. – Давай теперь про корабли, которые бороздят просторы Вселенной.

– Сколько тайн мироздания открывается перед душой, и все они ничто по сравнению со знанием, с помощью которого Всевышний создал мир, – продолжил я, не обращая внимания на ехидство Карла-Янкеля. – И к этому знанию у души тоже будет доступ. У каждой свой, в зависимости от того, сколько человек успел понять за жизнь. Тора, которую мы учим, лишь заголовки, начальные буквы того, что открывается душе после смерти. Но если этих заголовков нет в ее распоряжении, то и открываться будет нечему.

И что после этого улочки Яффо, вкус жареного мяса, запах моря, поцелуй женщины, хорошая литература и другие утехи плоти? За границей смерти человека, подготовившего себе путь, ожидают куда большие наслаждения.

– И ты обещаешь их мне? – спросил Миша.

- Я ничего не обещаю. Все зависит только от твоих усилий. Никто не будет драться за тебя, Карл-Янкель, потому что никому в целом свете нет дела до твоей жизни.

Окна резко просветлели, поезд ворвался в Тель-Авив. Параллельно железной дороге сияла фонарями улица Менахема Бегина; улицы Макса Брода и Зеэва Жаботинского струились к морю .

«Мы выросли в других городах, под другим небом, – думал я, – и там испытали горечь незаслуженных обид и бессильный гнев несправедливых унижений. И хоть улица Пушкина в Яффо совсем не походит на Пушкинскую в Одессе, а улица Бялика в Тель-Авиве - на волгоградскую улицу Горького, мы приехали, чтобы отыскать свою долю именно здесь. Чтобы жить на этих улицах, и умереть на них, каждый в свой срок и по своей причине. Мы приехали сюда, чтобы стать счастливыми».

Рина спрятала в сумочку телефон и повернулась в нашу сторону .

– Шум какой подняли, – говорили ее глаза, – слов сколько произнесли. А убирать кто за вами будет?

Юдсон, словно услышав ее безмолвный упрек, принялся укладывать в сумку остатки пиршества. Наткнувшись рукой на бутылку из-под «Бушмилса», он замер на секунду, а затем с откровенным сожалением воскликнул:

– Вот я стоял и думал, брать литр или 0,7? И решил, дурак, что 0,7 хватит! Боже мой, как я ошибался, как же я ошибался!

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Клавдия Смола

АРХАИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ДИКТАТУРЫ: «ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ» МИХАИЛА ЮДСОНА

Расцвет антиутопического жанра в постсоветской России был частью общей культурно-политической дестабилизации: русско-советская история, в том числе ее неотъемлемая часть — «еврейский вопрос» — подвергались радикальной художественной деконструкции¹. Характерное для литературного постмодернизма, достигшего в России своего апогея в 1990-е годы², раскрепощение языка, более того, использование его в качестве эпистемологического инструмента и способа дискурсивного (само)анализа наблюдается в этот период не в последнюю очередь в прозе, написанной из перспективы культурного или этнического меньшинства: в данном случае еврейского Другого. Значимой здесь оказывается бодрийеровская концепция симулякра, которую Михаил Эпштейн [2005] и Борис Гройс [2003] применяют к культуре соцреализма, понятого как постмодернизм: действительность прошлого и настоящего обнажается в качестве лингвоидеологического

¹ Эта статья – глава из книги «Изобретая традицию. Современная русско-еврейская литература», которая выйдет в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2021-м году.

² О русском изводе европейского постмодернизма см. [Chernetsky 2007: 3—55] и [Липовецкий 2008: 1—69].

конструкта, зловещей подмены реальности¹. В связи со все более популярным с 1990-х годов и анализируемым ниже использованием в русских дистопиях архаических языковых матриц² стоит еще раз вспомнить замечание Эпштейна, что соцреалистический «“постмодерн” обернулся реставрацией “предмодерна” — “новым средневековьем”»³) [2005: 91].

Дискурсивной антиутопией я называю поджанр дистопического письма, вырастающего из языковой рефлексии действительности. Конечно же, он возник в России уже раньше (скорее, в постмодернистской диссидентской прозе позднесоветского периода, например «Палинсандрии» Саши Соколова), но в 1990-е — 2000-е годы становится одним из характерных явлений литературного канона⁴. В романе Михаила Юдсона «Лестница на шкаф»⁵, основным приемом становятся максимальное сжатие и гибридизация риторических практик разных эпох – со средневековья до настоящего дня, – а

¹ Александр Чанцев исследует феномен бодрийяровского симулякра в дистопической прозе 2000-х годов, прежде всего в романе Ольги Славниковой «2017». Поскольку все исторические процессы и дебаты в этом тексте инициируются не народом, а обезличенной властью, они предстают чистой симуляцией политической деятельности, являются знаками вторичности, частью инсценированной реальности [Чанцев 2007].

² Ср. следующие работы о многократно обсуждавшихся романах Владимира Сорокина «День опричника» и «Сахарный кремль»: Чанцев 2007, Липовецкий/Эткинд 2008, Krier 2011 и Artekman 2013.

³ О «новом средневековье» в российской прозе 2010-х г.г., например, в «Лавре» Евгения Водолазкина и «Теллурии» Владимира Сорокина, см. [Kasper 2014].

⁴ Другой пример — «Захват Москвы. Национал-лингвистический роман» (2012) Михаила Гиголашвили. Как явствует уже из названия, автор, который ставит в этом романе историко-лингвистический «диагноз» России, тоже сопоставляет и сталкивает друг с другом архаические и современные языковые дискурсы. О том, как «лингвистический кризис переходит в эпистемологический» в романе Татьяны Толстой «Кысь» (2000), пишет Ингунн Лунде [Lunde 2006: здесь 67].

⁵ Прозаик и литературный критик Михаил Юдсон (1956—2019) жил в Израиле с 1999 года. Работал в редакции журнала «22», затем издавал журнал «Артикль» совместно с Яковом Шехтером. В 2013 году его диалог «Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов», первая часть которой посвящена России, а вторая — Германии (закончена в 1998-м и опубликована впервые книгой в 2003 году, изд-во «Геликон Плюс», Санкт-Петербург), была переиздана с новой частью об Израиле.

часто и стран, что превращает текст в универсальный инструмент анализа социальных процессов, своеобразную языковую лабораторию власти. Повторяемость лингво-идеологических моделей – знак непрерывного производства мифов национального единства и коллективного очищения, которые инсценируются в тексте в качестве дискурсов. Одновременно неутомимая машина коллективного воображения производит свой собственный фольклор — сочетание архаической боязни чужого, мистических сценариев спасения, апокалиптических видений и великодержавно-миссионерских чаяний. Еврейский Другой однако предстает здесь не противником, но жертвой и, соответственно, неотъемлемой частью *тотальной* репрессивной системы.

В романе Юдсона поздне- и постсоветская действительность переносится в Древнюю Русь, страну истовой веры, живой архаики и ненависти к инородцам. Оба временных плана — русское средневековье и современность — пересекаются не только на уровне изображаемых реалий, но — прежде всего — дискурсивно и риторически. Первой части — под названием «Москва златоглавая» — предпослан эпитафия: «Как на беленький снежок / Вышел черненький жидок. *Детская считалка*» [Юдсон 2005: 7]. В сочетании двух паратекстов задается симбиоз национальной исторической мифологии русско-православного толка¹ и ксено-, а вернее, юдофобского (детского) фольклора. Еще один элемент считалки — уменьшительная форма «жидок» отсылает к распространенному в славянском мире с 18 века пренебрежительному обозначению еврея, который таким образом «одомашнивается»; «черненький жидок» легко идентифицируется на фоне «беленького снежка». «Москва» же означает центр власти и в то же время символ, соединяющий риторики единства и сегрегации.

Проснувшись в своей комнате, главный герой, молодой еврей Илья, привычно оглядывает свой убогий быт: остывшую самодельную печку, неисправную лампочку, ведро вместо туалета (единственным санузлом пользуется весь дом); откинув старые шкуры, которыми он укрывался ночью, Илья надевает валенки. Упадок цивилизации, на

¹ Пространственная метонимия «Москва златоглавая» переносит цвет православных церковных куполов на топоним «Москва».

который намекает этот предметный мир, как бы слит с уровнем культурного означивания – устаревшей лексикой и церковно-православными идиомами. Так, «засыпанная снегами Свято-Беляевская Котельная [которая] пыхтит, едва дышит», [там же] дает остроумный топонимический гибрид из названий московского района Беляево и архетипического русского монастыря¹. Мысли самого Ильи, передаваемые при помощи несобственно-прямой речи, пестрят фольклорными и древнерусскими или церковнославянскими словечками и оборотами, некоторые из них он выдает за цитаты из Библии. Размышляя о предстоящем первом уроке школьной практики, Илья просматривает свой написанный «песцовым перышком» «План Урока» и с тревогой представляет себе саркастическое приветствие учеников: «Очередной отец Учитель пришел!» [Юдсон 2005: 8]. Как и в этом обращении, стилизующем речевые формулы (древне)русского духовенства, анахронизм романа постоянно балансирует между сферами художественной действительности и иронической сигнификации узнаваемой постсоветской реальности, так что правдоподобие и логика этого гибридного диэгезиса с самого начала ставятся под вопрос. Так, Илья созерцает безрадостный вид окрестностей «[с] высоты третьего этажа терема» [там же: 9]: эта сцена всего лишь языковая игра, в которой советская многоэтажка превращается в элемент фольклора или давнего прошлого. Политическая ирония кроется и в названии (пост)советской армии, где еврея Илью травили и унижали: «Войско Русское» и «Могучая Рать» [там же: 12—13]. Игра означающих рождает эпистемологическую неопределенность, которая локализует смысл в пространстве ненадежной реальности текста².

¹ Самый, пожалуй, известный эквивалент – это «Свято-Троицкая Сергиева Лавра».

² Юдсон использует прием такого *эпистемологического мерцания* за несколько лет до куда более известных дискурсивных антиутопий Владимира Сорокина. «И в Дне опричника, и в Сахарном кремле широко используется особый тип повседневного архаичного языка, использующего народные и древнерусские морфологические формы, афоризмы и выражения» [Артеман 2013: 285]. О гибридности языковой диахронии Артеман пишет: «При ближайшем рассмотрении, однако, этимология большинства этих старых новых русских слов современная. [...] Сорокинский *старый новый церковнославянский* существует на

Повседневный ритуал антисемитизма, легитимированного самим языком, используется в гибридном юдсоновском тексте для рефлексии исторической современности. Изгой Илья наделяется чертами набожного еврея из штетла, точнее, штетл-литературы, причем иудаистские детали носят отчасти этнографический, а отчасти вымышленный характер. Илья оmyвает кончики пальцев питьевой водой, на дверном косяке у него висит мезуза, он носит пейсы, а на левом предплечье прячет татуировку с семисвечником и надписью «Житель Иорданской Долины»¹. Покидая свое жилье, он замечает, что мезузу поцарапали гвоздем, а на двери тем же гвоздем нацарапано: «Сивонисты Чесночные — прочь, вон отсель! И будет так...», «Здесь живет Жид» [там же: 9]. Дефектное, просторечное «сивонисты», бранный жаргон и речевой ритуал изгнания бесов образуют в первой цитате гремучую дискурсивную смесь: темнота и суеверия народа сплавлены на уровне языковой диахронии. Надпись же «Здесь живет Жид» — практиковавшийся в Европе со времен средневековья жест стигматизации при помощи вербальных или невербальных пометок на еврейских домах. Дополняет эту галерею традиционных юдофобских практик рисунок на лестничной клетке, изображающий еврея Илью в виде песка в хитроумной ловушке и в окружении торжествующих жильцов с топорами.

В городе взору Ильи предстает безрадостная постсоветская действительность — огни «Макдональдса» и реклама «Надмирного Банка» «Сам сунь» на фоне серого московского метро, люди в поисках пищи и обветшалая архитектурная символика православия:

Справа вдоль трассы тянулись жилые многоэтажки с обвалившимися балконами, ржавыми водостоками,

границе языковых культур. Автор заимствует псевдонародные дискурсы из постсоветских неопатриотических литературных текстов и медиа, сочетая их с преимущественно уголовным *новорусским* сленгом, постсоветскими концепциями, такими как *киберпанки*, и советскими идиомами» [там же: 285—286]. Похожие наблюдения см. в статьях Дирка Уффельмана [Uffelmann 2009: 160—161] и Анны Крир [Krier 2011: 178, 194].

¹ Поскольку Илья оказывается официально «прописан» в Палестине, пребывать в Москве ему разрешено лишь временно. Это ограничение напоминает как о черте еврейской оседлости в дореволюционной России, так и о российских законах об иммигрантах и беженцах.

вывешенными за окно авоськами с приманкой¹, дряхлыми покосившимися крестами на крышах. Слева на пустыре дико чернело заброшенное здание древнего собора — некогда, по преданию, там, в лабиринтах, Ожиревший Поп, икая, порол любезных сердцу девок [Юдсон 2005: 18].

Отсталость московской жизни² служит, как видно, фоном для буйного расцвета местных мифологий, полуфиктивных коллективных воспоминаний и мистических преданий, которые зашифрованы во «внутреннем» языке жителей и передаются иногда лишь на уровне намека. Стоит Илье выйти из дома, как читатель погружается вместе с ним в мир причудливых ксенофобских идиом, составляющих живого речевого канона. В уличных разговорах, в которых фольклорный патриотизм соединяется с апокалиптическими пророчествами, евреи наделяются чертами пресмыкающихся (преимущественно с эпитетами «влажный» и «скользкий») и бесов³. Двое, пьющие чай в вагоне метро, единодушны во мнении, что страдания святой русской земли на совести «проклятых недоверков»⁴ [там же: 22]. В состоянии некоего непрекращающегося коллективного вдохновения народ творит антиеврейские пословицы и стишки и длит цепочку фольклорных текстов:

¹ Охота на песцов — устойчивый мотив всего текста, так что этот зверь выступает парадигматическим символом жертвы.

² В этом состоит важное отличие юдсоновского текста от сорокинского анахронистского дискурса, относящегося к более позднему времени: *ретрофутуристический* режим Сорокина основан на сочетании архаических моделей власти с высокими технологиями настоящего, тогда как в центре фантазмагии Юдсона находятся хаос и упадок цивилизации.

³ Демонизация евреев как внутренних врагов восходит к давней традиции русской демонологии, черпающей свои сюжеты из фольклора и дошедшей до (пост)советской эпохи. О центральном месте образа еврея в славянской демонологии пишут Ольга Белова и Владимир Петрухин [2008: 451—498]; Леонид Ливак перечисляет «архетипические ассоциации» евреев с дьяволом [Livak 2010: 57—73] и животными [там же: 74—87]. Показательно, что Борис Гройс называет искусство соцреализма «агиографическим» и демонологическим [2003: 85, 88].

⁴ Об историческом мифе «святой Руси», аллюзиями на который полнится роман Юдсона, а также о понятии «иноверцы» см. [Hellberg-Hirn 1998: 101—104]. «Иноверцы» заменяются здесь производным пейоративным «недоверки», где приставка *недо-* означает неполноценность, ложность веры.

так, бабушка рассказывает внуку сказку, в которой былинный «Богдан-богатырь» спускается в нору, а там «еврейчата, [...] пишат, поганцы»; передавив их, «Богдахан-батырь» возвращается домой с «ясак[ом]» [там же: 32]¹. Изображенное в романе бытовое (древне)русское православие плотно переплетается с языческими верованиями — признак практикуемого в России со времен христианизации до наших дней двоеверия, поддерживающего «[н]аряду с церковнославянской высокой культурой [...] параллельную систему фольклорных жанров» [Kissel/Uffelman 1999: 19].

Варварство воображаемого режима уже не скрывается в юдсоновской антиутопии за риторикой «положительного действия»: ей на смену приходит неприкрытая обценность: язык, натурализирующий поругание и убийство.

Поскольку архаика языка завоевала настоящее текста, история в нем отбрасывается на несколько столетий назад. В антиутопическом государстве официальный культ памяти предписывает наименование улиц в честь известных погромщиков (например, «[улица] Пуришкевича»). Так называемая «Армия Спасения Руси» — «дикие архангелы» [Юдсон 2005: 17—20]² во время привычного патруля ловит Илью, сразу признав в нем еврея; Илья спасается благодаря чистой случайности. В духе иронической

¹ *Бестиализация*, или анимализация еврея не только чужими, но и самим собой — часто используемая в романе Юдсона стратегия остранения, ироническая мимикрия, взгляд на себя глазами антисемитов. Однажды члены секты *скопцов* пытаются изменить «окрас» [Юдсон 2005: 109] пойманного ими Ильи и соскоблить его «колючую желтушную чешую» [там же]. «Жидец одногорбый чешуйчатоносный» — классифицируют они («горб» относится к еврейскому носу, измеренному *скопцами*). Однако этот фантастический телесный признак — чешуя — описывается здесь не как плод воображения или клеветы, а как *элемент реальности*, что придает всей сцене абсурдно-юмористический характер. Аналогичным образом сам Илья описывает свою руку как мохнатую лапу [там же: 168]). В монастыре, где в одной из сцен Илья просыпается после нападения, его с интересом осматривает хирург — и заключает: «Настоящий еврейский организм. Я думаю, они у нас уже не водятся» [там же: 210]. Это напоминает о расовых исследованиях в нацистской Германии, предвосхищая тем самым вторую часть диалогии. Но это же и намек на евреев как на «вымершую расу».

² Легко считываемый намек на дореволюционную монархически-антисемитскую организацию «Союз Михаила Архангела».

гибридности, сплавляющей интертекстуальные отсылки с историческими аллюзиями, Илья почтительно обращается к главарю банды архангелов — «батюшка-двухсотник» [там же: 20]. Типичным для всего романа образом в слове «двухсотник» сочетаются отсылки к казачьему чину «сотник» и антисемитской группировке «черная сотня». Обе аллюзии напоминают о погромах в дореволюционной России. Но двухсотниками называли и советских рабочих, участников одноименного движения до и во время войны, которые в рамках социалистического соревнования обязывались увеличить выработку продукции до 200% плана. Остроумная языковая экономия связывает исторические эпохи, «спрессовывает» российскую историю до сгустка коннотаций¹ и превращает само тело текста в инструмент анализа.

В московском метро, этой преисподней в буквальном смысле слова², специальная вывеска указывает на «[М]еста для отходов и иудеев» [там же: 21], а простой люд обменивается новостями:

¹ Такие отсылки, направленные на размывание географических и культурных границ, постоянно вовлекают в свою сеть и юдофобские обычаи других стран, например, обязанность носить опознавательный знак. Так, обращенный к Илье вопрос интеллектуала-антисемита отсылает к распространению старых сегрегационных практик: «Где ваш обязательный капюшон с колокольчиком? Который предупреждает о вашем зловонном приближении?» [там же: 36]. Этот вопрос вмещает и смешивает элементы реальных исторических предписаний, например, принятых в некоторых исламских странах IX—XII столетий: «Около 807 года аббасидский халиф Харун ар-Рашид повелел евреям носить желтые пояса. В следующие 50 лет обязательными стали желтые капюшоны. Примерно с 1005 года обязанность носить опознавательный знак приобретает все более униженный характер. Египетским евреям халиф приказал прикреплять к поясам колокольчики» (http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/juden/geschichte_des_juedischen_volkes/juden_und_muslims.jsp [дата обращения: 19.10.2020]). О еврейских опознавательных знаках в средневековой Европе см. [Hödl 1997: 28].

² О московском метро как об исторической и символической утопии, напоминающей о мрачных мифах сталинского строительства и приобретающей после распада Советского Союза все более демонические черты, см.: [Groys 1995: 156—166]. Превращение Москвы в монструозный топос тоталитарной памяти и *сеттинг* литературного изображения «готического» общества в постсоветской литературе, например, у Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, исследует Дина Хапаева. Действие, напоминающее кошмарные сны, у этих авторов нередко разворачивается именно в метро [Khapaeva 2012: 178—187].

[...] говорили о том, что лукавый, что ли, миром ворочает, ей-бо, — вот надясь в церкви Вынесения Всех Святых опять заплакала угнетенно чудотворная икона Василья Египтянина. А с малых губ Пресвятой Вульвы-великомученицы слетел вздох; [...] в Охряной Лавре же кой-какие мощи, источавшие по сей день благовонную мирру, запахла вдруг чесночищем [...] [Юдсон 2005: 22—23].

В приведенной цитате, опять-таки, многосоставной исторической аллюзии, пародируется механика производства религиозных мифов. Рассказывая друг другу о дурно пахнущих (оскверненных) мощах, пассажиры воскрешают мотивы превращения и скрывания черта под личиной святого из апокрифов¹. Идиома «хоть святых выноси» в духе бахтинского литературного карнавала вкрадывается в название церкви «Вынесения Всех Святых», а профанация священного продолжается в названиях икон, рисующих анатомию женских гениталий и играющих с омонимией слова «(половые) губы». Помимо общей семантики десакрализации, в подобных пассажах высмеивается практика энкомиастически окрашенных канонизаций в посткоммунистической православной церкви и внецерковных общинах². Наконец, вздыхающая и

¹ В народных верованиях нечистая сила наделяется умением создавать священные предметы и реликвии. Борис Успенский упоминает легенды о «записанных» иконах с изображениями чертей, скрывающимися под ликами святых [Успенский 1995: 242—243]. Через непрямую метонимическую атрибуцию евреи у Юдсона *демонизируются* в буквальном смысле, т.е. ассоциируются с дьяволом из народных легенд. Пропахшие чесноком реликвии тоже воплощают страх перед вторжением чужого (то есть евреев с приставшим к ним клише чесночного запаха) в народную святая святых. Чужую веру, в частности иудейскую, народные истории часто связывали с дурным запахом, распространяемым «нехристями» (см. [Белова/Петрухин 2008: 139]; о европейском контексте подобных представлений см. [Hödl 1997: 24—27]). Хёдль также упоминает так называемый «foetor judaicus», вонь, приписывавшуюся евреям в средневековой Европе, и популярную издательскую песню 1880-х годов «Похвала чесноку» [там же: 24, 26].

² Пер-Арне Будин исследует канонизацию – или почитание в отдельных русских общинах – «великого князя» Дмитрия Донского (1350—1389) и адмирала Федора Ушакова (1745—1817), Ивана Грозного, Сталина, а также жертв советских репрессий или убитой семьи царя Николая II [Bodin 2009: 38—39, 87—133]. Сравнительно

проливающая слезы икона воспроизводит центральный для русского православного сознания дискурс страдания и жертвы, своеобразную изнанку образов врага¹. Тот факт, что названия станций в московском метро объявляет *юродивый*, или *кликуша*, «приправляющий» названия улиц и площадей антиеврейскими предостережениями, демонстрирует зловещее слияние голоса власти (объявляемые коммунистические городские топонимы) с идиомами коллективного суеверия: «Осторожно, православные, двери закрываются! — выл вагонный кликуша. — Следующая станция — Площадь Жидов-та-Комиссаров!...» [там же: 23]².

«Коллекционируя» антисемитские ритуалы, интеллектуальные и языковые конструкты разных эпох и стран, деформируя и переплетая их друг с другом, текст Юдсона представляется постмодернистским культурным

новую тенденцию к провозглашению все новых святых Будин связывает с мистической, антирационалистической традицией русского православия, стремлением к «присутствию божественного на земле и доказательствам бытия Божия»; в реальности посткоммунизма этот анахронизм влечет за собой возврат к старым религиозным практикам [там же: 35—37]. Связь между патриотизмом с оттенком ксенофобии, имперскими притязаниями и религиозностью, которую дискурсивно разрабатывает Михаил Юдсон, Будин рассматривает как «восстановление средневековой монокультуры и монообщества» в современной России [там же: 56].

¹ Михаил Эпштейн рассматривает возрождение православного христианства в ситуации российского «пост-атеизма как признак неоязычества («неорaganism»), сочетающего идею русского народа-богоносца с государственно-военной моделью власти [Epstein 1999: 380]. «В этом контексте православие выступает воинствующей формой патриотизма, с незапамятных времен призванной оборонять Святую Русь от “ересей” иудаизма, католицизма, масонства и прочих “иностраннных зараз”» [там же]. О такой форме «православной архаики» [там же] и размышляет автор-текст Юдсон в своей дискурсивной антиутопии.

² Боян Манчев определяет коммунизм как «проект безостаточного переноса политического потенциала в коллектив»; соответственно, коммунистическая утопия стремится «растворить [государство] в общинном теле народа» [Manchev 2005: 104]. В рамках мрачного средневекового мира Юдсона «чистая имманентность органического тела» [там же: 105] народа, которая фактически исключает существование *политического* государства, проявляется в инстинктивной ненависти к чужакам, объединяющей режим и народные массы.

романом. Многие его пассажи отличаются невиданной коннотативной плотностью, которая, кажется, с течением действия только возрастает. Это происходит, например, когда директор школы Иван Лукич — карикатура на русского богатыря — читает антисемитские стихи «Тараса Григорьевича Сковороды»¹, критикует *numerus clausus* как полумеру², называет язык Ильи обрезанным (тот якобы говорит нечленораздельно)³ и интересуется у него, предпочитает ли он мацу с кровью или хорошо пропеченную. Брызжа слюной в предвкушении того, как огромная нога раздавит «шестиглавую гадину» [там же: 26], директор рассказывает Илье о грядущих погромах. Тут же он грозит обратиться в «юденрат», если Илья не уползет «к себе подобным». В другом эпизоде Иван Лукич, — как выясняется, наркоман, — следующим образом пытается уличить Илью в страхе перед учениками: «Сдрейфил, бейлисрался?» [там же: 65]. Читатель легко узнает здесь аллюзивную контаминацию — отсылки к двум самым известным судебным процессам против евреев в европейской истории – делу Дрейфуса и делу Бейлиса: каламбур позволяет сгустить компоненты смысла в пределах слова. В речи директора – этом фонтане бурлескного словотворчества – упоминаются «человекообразны[е] звер[и] в белых маск-халатах» [там же: 66], пожирающие детей: риторика травли времен дела врачей⁴, однако, быстро переходит в цитату из фиктивного сочинения русского святого и *юродивого* Василия Блаженного:

¹ Этот вымышленный автор сочетает в себе черты Григория Сковороды и Тараса Шевченко — двух главных поэтов Украины, в постсоветское время поднятых на щит националистами.

² Намек на неписаное правило ограничения доступа для евреев в советские вузы. Такие ограничения существовали, как известно, как до, так и после революции.

³ Сочетание двух еврейских признаков в глазах христиан: обрезание и «пришепетывание», последнее – пренебрежительная характеристика фонетики идиша.

⁴ Здесь циркулировавшее в советской печати начала 1953 года выражение «убийцы в белых халатах» дополняется словом «маска» — в частности, в память о кампании против космополитизма конца 1940-х годов, когда евреев клеймили вредителями и предателями, прячущимися под масками.

Сладенький жидок. Жидки вообще сладенькие. Они вас облизывают. И вам так приятно быть под их теплым, мягким, влажным языком. Вы нежитесь. И не замечаете, что поедание вас уже началось [Юдсон 2005: 65—66].

Сексуализация евреев с элементами их феминизации и анимализации напоминает о возникшей примерно на рубеже 19—20 веков связи «образов женственности с повсеместными антисемитскими стереотипами» [Schöblier 2008: 41], в частности со «стереотипом женоподобного еврея» (Hödl 2005: 95; см. также von Braun 2001: 447—466, Schöblier 2008: 41 f.; Livak 2010: 61 f., 67—73). Страх перед евреем-соблазнителем восходил к распространенному тогда даже в научном дискурсе представлению об изменчивой, лишенной четких признаков и поэтому непостижимой еврейской натуре¹.

Впрочем, постмодернистская языковая игра в «Лестнице на шкаф» выходит далеко за рамки телеологии политической сатиры: в итоге «[...] текст предстает игровым экспериментом, прославляющим способность языка к рождению смыслов» (Лунде о романе Татьяны Толстой «Кысь» [Lunde 2006: 68]). Как стилистический (языковые отсылки к фольклору, древней Руси, литературному языку 18-19 веков), так и объектный интертекст Юдсона оставляет территорию инвективы, переходя в карнавал. «Субботник» превращается в «шаббатник» [Юдсон 2005: 187], билет на поезд в Германию — в «шифс-карту» («Schiffskarte» — «билет на пароход»: отсылка к еврейской эмиграции в Америку) [там же: 260]), «Бог его знает!» — в «Яхве его знает!» [там же: 205], а «черт побери» — в кощунственное, бахтинское «ребе побери» [там же: 13]. Культурный оксюморон «Сретенье Успенья» сплавляет два христианских праздника: принесение Иисуса в Иерусалимский храм (эпизод Евангелия, в котором Мария играет активную роль) и кончину Богородицы/Марии: конструкция с родительным падежом дает абсурдный

¹ Сама школа, «церковно-приходская гимназия имени иеромонаха Илиодора» [там же: 40], — смесь древнерусской моленной и типичной советской школы, пародийный отзвук постсоветской школьной реформы. Учительницы — угрюмые тетки в ватниках и шерстяных платках с почерневшими от работы грубыми руками — символизируют малообразованных работников советских школ, а еще больше совхозов. Они травят Илью как очевидного очкарика-интеллигента.

праздник, карнавализирующий православный календарь. Того же профанно-карнавального эффекта достигает конструкт «Пресвятая Дева Мария Поппинс» [там же: 97], в котором образ Богоматери «скрещивается» с популярной в Советском Союзе киногероиней Мэри Поппинс. К поэтическим экспериментам относятся и такие аллитерирующие, консонантные паронимастические столкновения слов, как «Протопить по-протопопову!» (с дополнительной отсылкой к Чехову!) [там же: 126], или смещение словесной границы в «Шо, а? Ну, шоа?» [там же: 327]: этически рискованная игра означающих. Свое столкновение с реальностью ОВИРа Илья, который наконец собирается эмигрировать, описывает с помощью модифицированной цитаты: «Врата Овира мрачны и замкнуты». Облы, узорны... Не лаяй, не кусай...» [там же: 165]. Здесь Юдсон перифразирует известный эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву» (1790) Александра Радищева: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Радищев, который в данном случае и сам вольно ссылается на поэму Василия Тредиаковского «Тилемахида» (1766), в русском культурном сознании навсегда связал эту фразу с обличением социальной неустроенности и произвола государственной власти¹. Так, бюрократические ужасы, ассоциирующиеся уже в советском коллективном сознании с ОВИРОм, получают интертекстуальную двойную кодировку, связывающую (пост)коммунистическую реальность с вековыми культурными мифологемами России – преемственностью социального зла. Кроме того, «врата Овира» отсылают к идиоме «врата ада» и придают страху Ильи перед процедурой подачи документов черты трансцендентного страха. Это и выраженная на языке эпохи Тредиаковского просьба к ведомству «Не лаяй, не кусай» производят трагикомический эффект.

Гиперреальность советских языковых ритуалов неустанно разоблачает в романе свою собственную семантическую

¹ Тем самым Юдсон подключается к знаковой рецепции цитаты Тредиаковского-Радищева в русской культуре: многослойный интертекст выражен в форме «цитирования цитаты» (об этом см. [Smirnov 1983: 286 ff]).

пустоту и автоматизм¹. Так, чиновник ОВИРа произносит на прощальном собрании после выдачи паспортов такую речь:

Вот, отщепенцы, и наступил этот волнующий день! Вот Бог, а вон там, видите, маргиналы, — порог... Мы желаем вашему выпуску всего самого, самого, самого! Перед вами теперь, бегуны, открывается большой мир! [Юдсон 2005: 188].

Здесь сливается и доводится до абсурда риторика двух ситуативно несовместимых советских речевых жанров: торжественного посвящения (или школьного выпускного) и политического разноса.

Не только дискурсивная гибридность, но и уже упомянутая интертекстуальность юдсоновского текста превращает «сатирический смех в освобождающий смех ради самого смеха» [Peters 2000: 316]. Несчастную влюбленность Ильи рассказчик называет «обыкновенн[ой] скучн[ой] истори[ей]» [Юдсон 2005: 16], сплавляя названия двух классических текстов русского реализма — «Обыкновенной истории» Гончарова и «Скучной истории» Чехова. Впрочем, напоминание о несчастной любви содержится лишь в первой отсылке, так что этот двойной интертекст — из-за синонимичности слов *скучная* и *обыкновенная* — тавтологичен. Эта игровая, комическая избыточность и есть подлинная цель юдсоновского жонглирования языком. Перечисляя еврейские хищения русской собственности, истеричный директор школы Иван Лукич констатирует: «Блины — съедены!» [там же: 66] — и цитирует таким образом абсурдное название деревни из чеховской юморески «Письмо к ученому соседу» (1880). Графически и стилистически растворяющиеся в тексте цитаты из Чаадаева, Гоголя и Хлебникова² смешиваются с

¹ Об автореференциальных механизмах и «символической монотонности» советских культурных практик см. [Rolf 2010: 174—182] и [Yurchak 2014: 74 f].

² Ср. смешанную цитату из Пушкина и Блока в восклицании Ильи, покидающего Россию: «*Боже, как грустна ваша Россия. Что ни прорубь — везде колдуны с мертвым взором...*» [там же: 236]; цитаты из Некрасова в перечислении московских районов: «[...] Чертаново, Беляево, *Неурожайка тож*» [там же: 180] или из Хлебникова «Дохлабал тюрю из кастрюльки [...] *уложил в кузов туза* [...]» [там же: 219] [курсив везде мой]. Как деконтекстуализация, так и модификация/монтаж процитированных фрагментов могут иметь семантико-культурную нагрузку. Так, замена слова «наша» словом

фрагментами молитв на иврите, аллюзиями на антиутопии мировой литературы от Франца Кафки и Джорджа Оруэлла до Абрама Терца и остроумными филологическими замечаниями¹.

Подчас интертекст сообщает пародийную двойную кодировку целым главам романа, а игра с сюжетами и жанрами русско-советского литературного канона растягивается на десятки страниц. Это происходит, например, в десятой главе: группа воинственных гимназистов — нечто вроде тайной организации молодежного сопротивления, берущей Илью под свое покровительство, — после занятий ведет его в лес, где их принимает в своем домике пожилая крестьянская пара. По ходу действия этот фольклорный «пряничный домик» [там же: 84] и гостеприимные, простодушные старики все больше становятся похожи на фигуры русского лубка и одновременно колхозной и деревенской прозы². Свое приветствие бабушка Пу произносит в русском народном стиле — что, однако, скоро подрывается чрезмерностью и снижением регистра: «Да что вы, внучатки, такое говорите, да мы ж вас всегда ждем не дождемся... Радость-то какая! Проходите в избу скорей, замерзли небось, — заголосила старушка» [там же: 85]. Бабушка Пу воплощает не только положительный топос русской крестьянки, но и не раз становившиеся объектом пародии языковые «находки» деревенщиков, например, Солженицына: «Бабушка Пу робко подала ладонь дощечкой, *улыбчиво мелко кланяясь*» [там же: 87, курсив мой]. Дедушка, заслуженный ветеран войны, — по законам пародируемых жанров суровый, но честный и добросердечный солдат, — в первой же сцене обнаруживает себя пламенным патриотом и антисемитом, приветствующим гостей рифмованной присказкой:

«ваша» в пушкинской цитате показывает навязанную внеположность евреев русскому национальному дискурсу. В момент эмиграции такая инаковость сменяется сознательным ироническим дистанцированием.

¹ При этом рассказчика особенно термины риторики: «Русское Ханство — экая катахреза! — а ведь было же... Так и Московская Синагога, сей злой оксюморон...» [Юдсон 2005: 150].

² Игорь Смирнов пишет о Владимире Сорокине, который почти избыточно использует нулевой прием иронико-тавтологической стилизации разных жанров: «Произведение возвращается [...] из современности в преодоленное, отмершее дискурсивное прошлое» [Smirnov 1999: 66].

«Незванным гость придет когда / похуже будет он жида» [там же]¹. С порога инстинктивно распознав в Илье еврея, хозяин потчует его свиным салом и рассуждениями о сущности еврейского народа. Чем сильнее ветеран напивается, тем агрессивнее становятся его отрывистые, все менее членораздельные, зато эмоциональные реплики. Рекапитулируя эпизоды из своего военного прошлого — ироническая отсылка к солдатским историям из военной прозы образца шолоховской «Судьбы человека» и ко всему «милитарн[ому] дискурс[у]» ([Добренко 1993: 156]) советского тоталитаризма, — старик постепенно переходит к прямым выпадам в адрес Ильи, слизывает со стола пролитую водку и, наконец, падает с лавки. Гимназисты на всякий случай закрывают его в чулане; через дверь, однако, слышится его «план» перевоспитания евреев в порядочных работников и солдат: «На рытье рвов тебя, рыло! — внятно пожелал дедушка из чулана. — И на закапыванье!» [2005: 97]². Идеальные образы героев «Великой Отечественной войны» и простого русского народа, а также пафос возвращения к русским ценностям в прозе *деревенщиков* Юдсон пародийно дискредитирует как элементы национальных идеологий³. Не считая того факта, что гимназисты вместе с пожилой парой ведут успешной бизнес торговли наркотиками (на своем участке старики растят галлюциногенные грибы — насмешка над невинной фольклорной же традицией *ходить по грибы*), они однажды спасли супругов от дома для престарелых, где стариков используют в качестве дешевой рабочей силы. Русско-советские утопии соседствуют с постсоветскими нищетой и криминалом.

В России/Москве Михаила Юдсона правит некая православная диктатура, преследующая многочисленные

¹ О вырождении в 1980-1990-е годы деревенского дискурса в национал-шовинистическую идеологию, а также в литературную стилизацию пишут Галина Белая [Belaia 1992] и Александр Генис [1999: 89 f.]. Юдсоновская пародия реагирует более всего именно на эти формы уплощения и идеологизации литературного жанра.

² Юдсон анализирует феномен, который Евгений Добренко рассматривает как истерию ненависти в официальной советской военной литературе и риторике, — «пространство чистой аффектации, прямой истерики» [1993: 275].

³ О параллели между консервативной идеологией русских деревенщиков и сталинизмом см. [Гройс 2003: 103].

подпольные секты и приговаривающая их членов к ритуальному съедению. Под поверхностью фиктивного авторитарного режима бурлит стихийная энергия инаковерия; после прихода нынешних правителей к власти многочисленные еретики рассыпались по окрестным лесам. Так Илья ненадолго попадает в секту *скопцов*, члены которой скрываются под землей и насильно обращают пойманных ими граждан в свою веру, т.е. попросту кастрируют. Другие «лесовики» или «разноверы» — *раскольники, иконоборцы, самосвяты и одинцы*. В лесах обитают неканонизированные святые (например, «расстрига Радонеж-солнцевский»: здесь обыгрываются имя св. Сергия Радонежского и название московского района Солнцево) со своими последователями, а кроме того юродивые, калеки, нищие, сироты, бродяги и хворые. [Юдсон 2005: 117]. Это собрание изгоев – такой же опосредованный культурной традицией дискурс, как и вся остальная «реальность» романа: не что иное, как символ русского кенозиса, полной трагических крайностей, одухотворенной русской жизни, парадигматический культурный текст начиная со второй трети 19 века, когда в славянофильских кругах стал культивироваться миф «русского народа». Автор переносит дискурс аскетической русской духовности¹ в 1990-е годы, время, когда в очередной раз оживают мифы мистической русской общины и биполярные модели коллективного сознания, существующего между полюсами проклятия и святости. Однако фигуры отщепенцев всех мастей намекают еще и на многообразии интеллектуальных субкультур и

¹ Одного из своих апогеев эта альтернативная духовность российской действительности и русской православной традиции достигает в живописи Михаила Нестерова (1862—1942). Дирк Уффельманн [Uffelmann 2010] говорит о метастазировании православных (кенотических) моделей в секулярные или парарелигиозные культурные сферы (например, советский коммунизм) и упоминает «шаблон святости, в русской культуре [...] определяемой через обособление». «[Д]истанцирование от институциональной церкви» запускает «механизм исключения» [там же: 522]. В силу бескомпромиссного преследования еретиков православной церковью «секты [составляли] [...] особенно характерную черту русской религиозной истории начиная с 14 века» [там же: 539]. У Юдсона вероотступничество и святость подполья образуют зловецкий симбиоз — верное отражение господствующей, но испытывающей вечную угрозу снизу власти-религии.

религиозных кругов советского андерграунда, которое пародийно исследует Михаил Эпштейн [1994]¹. Из-за делящейся тотальности — или, по-другому, вертикальности — властных структур² альтернативные образы жизни и мышления навсегда остаются религиозным андерграундом и ересью, которые в условиях юдсоновского диахронного посткоммунизма таят в себе неконтролируемую силу, грозящую новым переворотом³.

Вместе с темой эмиграции, о которой Илья все чаще размышляет в первой части романа, на первый план выступает тема взаимных культурных проекций России и Европы – очередной ключевой топос русской культурной истории, богатый коллективными тропами. В интеллектуальных беседах Ильи с гимназистами, этими юными диссидентами, пытающимися теоретически и культурно-исторически обосновать необходимость отъезда, всплывают многочисленные произведения русской литературы и философии. Известную из

¹ Ева Медер тоже исследует — на примере «семейских» сект — тайные религиозные практики старообрядцев вплоть до постсоветского времени [Maeder 2007]; см. также [Panchenko 2012]. Однако у Юдсона архаические религиозные ритуалы с их единством догмы и ритуала [Maeder 2007: 296], страшные истории о каре, искуплении и апокалипсисе, наконец, распространение дохристианских магических заговоров и обрядов [там же: 296—305] работают на парадоксальный символический *симбиоз* «истинно верующих» и вероотступников, а также власти и (всегда расколотого) народа.

² В амбивалентной истории восстановления московского храма Христа Спасителя в 1990-е годы Светлана Бойм видит показательную преемственность между фантазиями дореволюционной, советской и постсоветской власти [Бойм 2019: XXX-XXX].

³ Александр Чанцев следующим образом резюмирует исторические концепции русской антиутопической прозы 2000-х годов, для которой характерно пессимистическое отрицание истории как развития и обновления: «Формирование нового общества из старых образцов, подобное сборке нового дома из гнилых досок, с использованием идеологом самых как на подбор кризисных эпох (в рассмотренных книгах – присоединение окраинных княжеств, опричнина, советские времена) чревато не только депрессией, но и вооруженными конфликтами, будь то восстания или войны, присутствующими почти у всех авторов» [2007: 293]. Эсхатологические настроения в русских дистопиях Чанцев трактует как следствие невозможности в России открытой политической конфронтации; коллективные страхи, соответственно, выступают не реакцией на реальные события, а перекодированием старых фантазмов.

«геокультурософских» (см. [Frank 2002: 65—69]) размышлений Чаадаева, Сергея Соловьева и Николая Бердяева мифологему России как территории бескрайних, однообразных далей, естественным образом обрекающих русского человека на отсталость, удобную безынициативность и лень, гимназист Ратмир считает несвоевременной: «[...] вдалбливали нам [...] что движенья нет, по сути, ибо пространство однородно — заснеженная Великая Степь, а к чему кочевать во Времени?.. Сиди на печи, а уж она едет!» [Юдсон 2005: 138—139]. Христианские пророчества о судьбе России и мессианский пафос страдания у Достоевского тонут в иронической метафоре: «Вон стоялый праведник Федор Михалыч носил дома сначала по восемь кирпичей, а потом аж по пятнадцать стал перетаскивать!..» [там же: 139]. Непосильный труд, который бывший каторжник Достоевский провозгласил путем к духовному освобождению и вере, предстает экзальтированным жестом интеллектуального мазохизма: увесистый груз из пятнадцати кирпичей, который русский мыслитель добровольно тащит на плечах, тождествен неустанно растущей этической задаче, тяготеющей над целой Россией. Антитеза же рациональной, практичной Германии, или всей Западной Европы – и идеалистической, однако духовно превосходящей их России присутствует в тексте Юдсона на уровне ономастических аллюзий на роман Гончарова «Обломов»: «Правда, *штольц*, обрести новые небеса и новую землю? — лениво размышлял *Илья*, ковыряя заплату на валенке. — На вывод, в дивное дикое поле [...]» ([там же: 139—140], курсив мой). Утопические грезы гончаровского Ильи, обращенные на Россию-Обломовку, скоро перепроецируются на неведомую и желанную Европу, увиденную уже глазами западников. В сознании Ильи, который созерцает проносящиеся за окном русские пейзажи, сидя в поезде в Германию, *свинья* предстает ключевым символом России: «Тотем-то Руси-то — свинья! Не колокол-без-языка, как чудил скорбный автор “Философических писем” [...] А — свинья-с!» [там же: 232—233]. Так, покидающий Россию Илья в последний раз перифразирует философа, который в свое время «закрепил» «положение России за пределами всемирной истории» [Groys 1995: 22] – и тем самым помещает свое решение уехать в контекст парадигматических для истории

России историко-культурных споров. Свинья как символ России — это горькое и интертекстуально резонантное (само)описание, отсылающее к критической традиции российской национальной авторефлексии на протяжении чуть ли не двух веков (один из наиболее известных примеров – фраза Александра Блока из письма Корнею Чуковскому 1921 года: «Слопала-таки поганая, гнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка»).

В антиутопии Юдсона кошмар юдофобии перемещается вместе с Ильей в немецкую эмиграцию. За пределами геополитической границы текст продолжает плести сеть из иронических, жутковатых, нагруженных историческими и литературными аллюзиями зеркальных отражений, не пред(по)лагая выхода в недискурсивную реальность: Илья попадает в мир взаимных русско-немецких стереотипов, потенцируемых время от времени до зловещих гипербол. Немецкий «консулят» в Москве — оазис порядка, чистоты и бюргерской добропорядочности. В этом нарочитом хронотопе миф о немецких деревнях петровских времен сочетается с впечатлениями постсоветских туристов и топосмаи русского восприятия немецкой классики: «Аккуратный ряд велосипедов у крыльца. Внутри — тепло и сухо [...] Из-за дверей вкусно, трогательно пахнет — ванилью, корицей, братьями Гримм — там явно печется штрудель!» [Юдсон 2005: 216]. В эту идиллию — своего рода шифр русского гетеростереотипа «Германия» — закрадываются черты другой эпохи, атрибуты иного исторического мифа:

Дорожки расчищенные, мощенные щебнем со шлаком, прожектора по периметру. На вышках по углам гансы-пулеметчики. [...] Сопровождавшие нас сторожевые овчарки, добродушно помахивая хвостами, остались ждать на улице [Юдсон 2005: 215—216].

Собеседования чиновников посольства с заявителями и лозунги на стенах выдают преемственность уже других «традиций» и одновременно разоблачают театральную иллюзорность немецких усилий искупить историческую вину (в Нюрнберге эмигрантов встречает таможенник, который привычно отбарабанивает официально-покаянную речь):

Там проходило собеседование, проверка документов (оттуда доносилось: «Мы сами установим, кто еврей... [...]») и выдача, если повезет, визы. Надпись уже на этой

двери гласила: «Консулят делает свободным», детской рукой было добавлено: «от еврейчиков» [Юдсон 2005: 216—217].

Германия оказывается таким же, как и Россия, царством знаков, из-под цивилизованной риторической поверхности которых выглядывает прямое варварство, а-семизис убийства и ненависти¹. Убогое общежитие для беженцев обнесено бетонной стеной с колючей проволокой; на рукав Илье нашивают желтую звезду, чтобы в нем, если он заблудится в городе, могли узнать мигранта и отвести домой (как объясняет ему ответственный чиновник). Ему также выдают номер, идентифицирующий его как еврея, а не русского немца, — классификационная мера, стоящая в одном ряду со многими другими отсылками к холокосту во второй части романа. Архетипически немецкие имена вахтеров — Фриц и Ганс — придают немецкому дискурсу, как до этого русскому, оттенок стереотипной фольклорности. Этот плотный нарратив дополняется вполне реалистичными картинками нищеты и униженного положения беженцев (ср., например, полные предостережений инструкции для жильцов, написанные на плохом, изобилующем солецизмами русском языке и говорящие о страхе немецкой администрации перед гигиеническими привычками и предполагаемыми преступными наклонностями иммигрантов²). В Германии Юдсона, отброшенной в национал-социалистическое прошлое³, евреев вешают в лифте и замораживают в холодильнике; сосед Ильи носит футболку с надписью «Welcome to Holocaust» (намек на холокост-туризм и коммерциализацию памяти о шоа), а другой желает Илье

¹ Юдсон, конечно, не первый антиутопист, который проводит подобные параллели. Со ссылкой на [Deutschmann 1998] и [Ryklin 1998] Вольфганг Киссель и Дирк Уффельман пишут о «сравнительной психопатологии немецкого и русского посттоталитарного менталитета» в творчестве Сорокина [Kissel/Uffelman 1999: 35]. Ср. также предпринятый Тине Рёсен анализ романа Алексея Слаповского «Они» (2005) [Roesen 2009].

² Ср.: «[...] 4. Бросайте мусор только в мусорные контейнеры. 5. Не вешайте белье на балкон. 6. Не сажайтесь на умывальники. Они оторвутся и этот ремонт обойдется дорого. 7. Не берите с собой никаких предметов потребления [...] это воровство. 8. Пользуйтесь туалетами в коридорах. 9. Применяйте, пожалуйста, туалетные щетки» [там же: 276].

³ Впрочем, Сорокин еще в 1994 году написал «Месяц в Дахау», переносящий национал-социализм в 1990-е годы.

удачной эвтаназии. Здесь практикуются организованные убийства евреев и медицинские опыты на еврейских детях. Мрачная идиома «верховный гауляйтер по делам беженцев» [там же: 263] иллюстрирует слияние исторических дискурсов.

В финале «немецкой» части Илья вместе с другими восставшими евреями спускается под землю, где спрятан город Масада: здесь говорят на иврите, отсюда организуют нападения на убийц «зигфридрихардов». С отсылкой к легендарной крепости писатель творит миф о непрекращающейся иудейской войне, чье окончание теряется в будущем. Концепция *perpetuum mobile* евр(оп)ейской – и мировой – истории проявляется у Юдсона в избыточной культурной кодировке и диффузии языковых дискурсов. Постмодернистский автор скрывается в лабиринте риторик, за языком, полным стилистических жестов, каламбуров и иронии. Само заглавие романа, *Лестница на шкаф*, — горько-иронический намек на библейскую метафору искупления, лестницу Иакова: в романе нет восхождения, нет в нем и спасительной трансценденции ни в буквальном этимологическом смысле пересечения границы (эмиграция), ни в смысле перехода к высшему бытийному порядку — лестница ведет на *шкаф*, символизирующий тесноту вечного андерграунда¹. Лишь финальный эпизод второй части, занимающий всего несколько строк, намекает на освобождение: одетый в белое Илья лежит в комнате, видит в окно пальму и слышит запах моря. Судя по деталям, он на земле предков — в Израиле. «Я вернулся. Много лет бродил я вдали, скитался в снегу и рассеивался под чужими дождями, много-много лет, тыщи две...» [там же: 389]. Однако, этому видению предшествует сцена боя, в котором солдат-подпольщик Илья, по-видимому, погибает.

В тексте Юдсона чуждость моделируется как неистребимая человеческая – здесь еврейская – стигма. Заданная в начале романа и укорененная в русской культурософии и философии западничества антитеза «внутреннее» (Россия = бескультурье, коллективные мифы, симбиоз власти и народа, ксенофобия) — «внешнее» (Западная Европа =

¹ В этом контексте также символичен образ щели: солдат подземной армии Илья лежит «в кошерном нумерованном рву Пятой щели» [Юдсон 2005: 371]; номер намекает на дух военной дисциплины и опять-таки вызывает ассоциацию с концлагерем.

свобода, культура, гуманизм) оборачивается структурной аналогией и вытесняется новой антитезой, говорящей на аллегорическом языке топики: «верх» — «низ» (подполье).

В третьей части изначальной диалогии автор распространяет концепцию изгойства и на территорию Израиля, тем самым подхватывая один из наиболее парадигматических еврейских нарративов: нарратив потерпевшего крах возвращения (из рассеяния) и восхождения (алии), который в разные эпохи разрабатывали такие авторы, как Марк Эгарт, Илья Эренбург, Эфраим Севела и Яков Цигельман.

Параллель между третьей (самой объемной) частью романа и двумя первыми состоит прежде всего в повторяемости смыслов, когда новые культурные означаемые присоединяются к уже знакомым или эквивалентным означающим. Так, непрерывный процесс культурно-исторической сигнификации реалий возвращает к тропам концлагеря и тюрьмы и операциям уравнивания, дисциплинирования или исключения; метафоры коллективного целого порождают мифы и фольклор.

Едва Илья прибывает в аэропорт «Ближне-Восточной Республики» (сокращенно «БВР»), как ему на левом запястье накалывают слово «вред» (аббревиатура от «временно допущенный») и номер, так как он, еврей, приехал только на симпозиум, а потом должен сразу же покинуть страну. Илье сообщают, что при появлении «Галахическ[ого] патрул[я]-облав[ы]» [Юдсон 2013: 197] он обязан замереть, поднять руки ладонями вверх и, не поднимая глаз, громко назвать патрульному свое имя, номер допуска на запястье и «одно из тридцати семи сравнений себя с пылью». При попытке бежать его убьют на месте [там же]. Спустя несколько минут после прибытия Илью задерживают и уводят в помещение без окон, на стене которого висит плакат с надписью: «Ты — вред? Становись в ряд! Принеси на общих пользу!» [там же: 201]. Тут героя подвергают «перековке», успешно искореняя в нем все стереотипные черты еврея диаспоры: неопрятность, склонность к меланхолии, неспортивную фигуру и т.д. В ходе компьютерно-диагностического исследования у него обнаруживают «желтый ген» в форме шестиконечной желтой звезды [там же: 223] (намек на историческое обоснование израильского права на репатриацию – аргумент, совместивший факт преследо-

ваний евреев в диаспоре (желтая звезда) с генами). После генетического теста и процедуры категоризации Илья наконец превращается в загорелого «стража» с холодными бесцветными глазами, развитой мускулатурой, густой курчавой бородой и таинственными письменами на черепе [там же: 226 f., 232].

На службе новому отечеству Илья изучает основы географии, истории и языка БВР. Зеленая линия на карте отделяет республику от «хаоса» презираемых «аразов» (вымышленный этноним с минимальным отличием от слова «арабы»). Следующий остроумный парафраз дает официальное определение страны: «[...] БВР — часть суши, со всех сторон окруженная аразами [...]» [Юдсон 2013: 230]. История республики ведется от легендарного «изхода» (стилизованное под церковнославянский или древнерусский язык написание слова «исход») и насчитывает 54 славных года. При этом коллективные символы, лозунги и мифы тавтологически вращаются вокруг истории побед армии БВР над аразами, которые бестиализируются и демонизируются в солдатском фольклоре: «И лучше не называть аразов вслух, а табуированно произносить — те самые» [там же: 277]. Вместе с тем риторика могущественного раввината творит историко-географические догматы, ведущие основание государства от Библии: «В раввинате существовал свой жаргон — в религу (sic.) не обращаются, а “возвращаются”, язык не учится, а “вспоминается”, в БВР не приезжают, а “поднимаются”, и чиновники не просто табельные советники, а “праведники»» [там же: 499].

Канонизация иудаистского предания в качестве национально-религиозной идентичности в реальном Израиле, библейский нарратив как легитимирующая предыстория еврейской государственности, — третья и последняя мишень горькой сатиры Юдсона. «Воображаемое сообщество» [Anderson 1983] БВР – не что иное, как вариант архаически-православного московского государства из первой части трилогии: точно так же оно изолирует свое пространство от реальной истории и географии и так же культивирует питаемый образами врага миф о сплоченном единстве. Структурная аналогия с нацистской Германией и средневеково-современной Россией отзывается в знакомом читателю уже языковом синкретизме десакрализирующих культурно-исторических

атрибутов: ср. выражения «канцелярские цадики в вицмундирах» [Юдсон 2013: 212]; «заветы легендарных “Рассерженных Стражей”, которые еще в начале Изхода метили *очистить жизненное пространство*» [там же: 266] (курсив мой); «монотонотеизм» [там же: 385].

Неудивительно, что в конце романа возникает образ подземных путей в истинный Иерусалим [там же: 487]. Тем не менее, старый топос небесного Иерусалима персифлируется, так как здесь под этим подразумевается тайное возвращение в Россию («О радость ухода — туда, где тихие монастыри в сугробах [...]») [там же]. Так замыкается круг поисков и скитаний: Юдсон изображает циклическое движение в пространстве, которое Сидра ДеКовен Эзрахи [Ezrahi 2000] определяет как главный маркер жанра скептического еврейского путевого нарратива¹.

Литература:

[Юдсон 2005] — Юдсон М. Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов (1998). М., 2005.

[Юдсон 2013] — Юдсон М. Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях (2010). М., 2013.

[Белова/Петрухин 2008] — Белова О., Петрухин В. Еврейский миф в славянской культуре. М./Иерусалим, 2008.

[Бойм 2019] — Бойм С. Будущее ностальгии / Пер. с англ. А. Стругача. М., 2019.

[Гройс 2003] — Гройс Б. Gesamtkunstwerk Stalin // Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. С. 19—147.

[Добренко 1993] — Добренко Е. Метафоры власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен, 1993.

[Липовецкий 2008] — Липовецкий М. Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920—2000-х годов. М., 2008.

[Липовецкий/Эткинд 2008] — Липовецкий М., Эткинд А. Возвращение Тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман // Новое литературное обозрение. 2008. № 94/6. С. 174—206.

[Рыклин 2009] — Рыклин М. Коммунизм Интеллектуалы и Октябрьская революция. М., 2009.

[Успенский 1995] — Успенский Б. Семиотика иконы // Успенский Б. Семиотика искусства. М., 1995. С. 221—294.

¹ Интересно, что высказывания Юдсона в более поздних интервью противоречат иронично-антиидеологическому пафосу его романа. В беседе с Инной Шейхатович для *pravda.ru* в октябре 2015 года он использует остроумную словесную игру своей прозы, похоже, лишь для того, чтобы выразить антиисламскую и антиевропейскую, националистически-произраильскую позицию (Михаил Юдсон: Гетто — это маленькая жизнь. *pravda.ru*, 29 октября 2015, 17:00, <https://naslediepravda.ru/emigration/29—10—2015/1280159-udson-0/> [дата обращения: 5.10.2020]).

- [Чанцев 2007] — Чанцев А. Фабрика антиутопий. Дистопический дискурс в российской литературе середины 2000-х // Новое литературное обозрение. 2007. № 86/4. С. 269—301.
- [Эпштейн 1994] — Эпштейн М. Новое сектанство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (70—80 гг. XX в.). М., 1994.
- [Эпштейн 2005] — Эпштейн М. Постмодерн в русской литературе. М., 2005.
- [Эткинд 1998] — Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998.
- [Юрчак 2014] — Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014.
- [Anderson 1983] — Anderson B. R. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983.
- [Aptekman 2013] — Aptekman M. The Old New Russian: The Dual Nature of Style and Language in *Day of the Oprichnik* and *Sugar Kremlin* // Vladimir Sorokin's Languages / Ed. by T. Roesen and D. Uffelmann. Bergen, 2013. P. 282—297.
- [Belaia 1992] — Belaia G. The Crisis of Soviet Artistic Mentality in the 1960s and 1970s // New Directions in Soviet Literature: Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies / Ed. by Sh. Duffin Graham. Harrogate, 1992. P. 1—17.
- [Bodin 2009] — Bodin P.-A. Language, Canonization and Holy Foolishness. Studies in Postsoviet Russian Culture and the Orthodox Tradition. Stockholm, 2009.
- [Braun 2001] — Braun Ch.v. Versuch über den Schwindel. Religion, Schrift, Bild, Geschlecht. Zürich/München, 2001.
- [Chernetsky 2007] — Chernetsky V. Mapping Postcommunist Cultures. Russia and Ukraine in the Context of Globalization. Montreal et al., 2007.
- [Deutschmann 1998] — Deutschmann P. Dialog der Texte und Folter. Vladimir Sorokins «Mesjac v Dachau» // Romantik — Moderne — Postmoderne. Beiträge zum ersten Kolloquium des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft Hamburg 1996 / Hrsg. von Ch. Götz, A. Otto und R. Vogt. Frankfurt u.a., 1998. S. 324—351.
- [Epstein 1999] — Epstein M. Post-Atheism: From Apophatic Theology to «Minimal Religion» // Russian Postmodernism. New Perspectives on post-Soviet Culture / Ed. by M. Epstein, A. Genis, and S. Vladiv-Glover. New York/Oxford, 1999. P. 345—393.
- [Ezrahi 2000] — Ezrahi DeKoven S. Booking Passage. Exile and Homecoming in the Modern Jewish Imagination. Berkely et al., 2000.
- [Frank 2002] — Frank S. Überlegungen zum Ansatz einer historischen Geokulturologie // Zeit — Räume. Neue Tendenzen in der historischen Kulturwissenschaft aus der Perspektive der Slavistik. Wiener Slavistischer Almanach. 2002. Bd. 49. S.
- [Groys 1995] — Groys B. Die Erfindung Russlands. München/Wien, 1995.
- [Hellberg-Hirn 1998] — Hellberg-Hirn E. Soil and Soul. The Symbolic World of Russianness. Aldershot et al., 1998.
- [Hödl 1997] — Hödl K. Die Pathologisierung des jüdischen Körpers. Antisemitismus, Geschlecht und Medizin im Fin de Siècle. Wien, 1997.
- [Hödl 2005] — Hödl K. Genderkonstruktion im Spannungsfeld von Fremd- und Selbstzuschreibung. Der «verweiblichte Jude» im diskursiven Spannungsfeld im zentraleuropäischen Fin de Siècle // Antisemitismus und Geschlecht. Von «effeminierten Juden», «maskulinisierten Jüdinnen» und anderen Geschlechterbildern / Hrsg. von A.G. Gender-Killer. Münster, 2005. S. 81—101.
- [Kasper 2014] — Kasper K. Die Zukunft der Vergangenheit. Das «Neue Mittelalter» im russischen Gegenwartsroman // Osteuropa. 2014. Bd. 7. S. 121—139.

[Khapaeva 2012] — Khapaeva D. Soviet and post-Soviet Moscow: Literary Reality or Nightmare? // *Soviet and post-Soviet Identities* / Ed. by M. Bassin and C. Kelly. Cambridge, 2012. P. 171—190.

[Kissel/Uffelmann 1999] — Kissel W.St., Uffelmann D. Vorwort: Kultur als Übersetzung. Historische Skizze der russischen Interkulturalität (mit Blick auf *Slavia orthodoxa* und *Slavia latina*) // *Kultur als Übersetzung. Festschrift für Klaus Städtke zum 65. Geburtstag* / Hrsg. von W. St. Kissel, F. Thun und D. Uffelmann. Würzburg, 1999. S. 13—40.

[Krier 2011] — Krier A. Vladimir Sorokins «Neues Russland» zwischen Zuckerkreml und Körperstrafen: Die Zukunft als Vergangenheit // *Wiener Slawistischer Almanach*. 2011. Bd. 68. S. 171—200.

[Livak 2010] — Livak L. The Jewish Persona in the European Imagination: A Case of Russian Literature. Stanford, 2010.

[Lunde 2006] — Lunde I. Language Culture in Post-Soviet Russia: The Response of Literature // *Landslide of the Norm. Language Culture in Post-Soviet Russia* / Ed. by I. Lunde and T. Roesen. Bergen, 2006. P. 64—79.

[Maeder 2007] — Maeder E. Religiöse Norm und sowjetischer Alltag — Anpassung und Tradition bei den Altgläubigen Transbaikaliens // *Kultur in der Geschichte Russlands* / Hrsg. von B. Pietrow-Ennker. Göttingen, 2007. S. 294—311.

[Manchev 2005] — Manchev B. Der totale Körper der Lust. Postkommunistische Gemeinschaft — Repräsentation und Exzess // *Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus* / Hrsg. von B. Groys, A. von der Haiden und P. Weibel. F. a. M., 2005. S. 88—130.

[Panchenko 2012] — Panchenko A. «Popular Orthodoxy» and identity in Soviet and post-Soviet Russia: ideology, consumption and competition // *Soviet and post-Soviet Identities* / Ed. by M. Bassin and C. Kelly. Cambridge, 2012. P. 321—340.

[Peters 2000] — Peters J.-U. Zwischen grotesker Satire und absurder Phantastik. Zum Funktionswandel der russischen Prosa vor und nach der «Perestrojka» // *Kunstmarkt und Kanonbildung. Tendenzen in der russischen Kultur heute* / Hrsg. von E. Cheauré. Berlin, 2000. S. 311—324.

[Roesen 2009] — Roesen T. The Old Man's New Language: Semantic Shifts and Linguistic Countermeasures in Aleksei Slapovskii's *Oni* // *From Poets to Padonki. Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture* / Ed. by I. Lunde and M. Paulsen. Bergen, 2009. P. 129—142.

[Rolf 2010] — Rolf M. Kanon und Gegenkanon. Offizielle Kultur und ihre Inversion in der UdSSR // *Osteuropa*. 2010. Bd. 11. S. 173—189.

[Ryklin 1998] — Ryklin M. Nach Austern Borschtsch? Deutsche und russische Schuld in Sorokins «Hochzeitsreise» // *Lette International*. 1998. Vol. 4. P. 74—77.

[Schößler 2008] — Schößler F. Einführung in die Gender Studies. Berlin, 2008.

[Smirnov 1983] — Smirnov I. Das zitierte Zitat // *Dialog der Texte. Hamburger Kolloquium zur Intertextualität vom 3.—5. Juni 1982* / Hrsg. von W. Schmid und W.-D. Stempel, 1983. S. 273—290.

[Smirnov 1999] — Smirnov I. Der der Welt sichtbare und unsichtbare Humor Sorokins // *Poetik der Metadiskursivität. Zum postmodernen Prosa-, Film- und Dramenwerk von Vladimir Sorokin* / Hrsg. von D. Burkhart. München, 1999. S. 65—73.

[Uffelmann 2009b] — Uffelmann D. The Compliance with and Imposition of Social and Linguistic Norms in Sorokin's *Norma* and *Den' oprichnika* // *From Poets to Padonki. Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture* / Ed. by I. Lunde and M. Paulsen. Bergen, 2009. P. 143—167.

[Uffelmann 2010] — Uffelmann D. Der erniedrigte Christus. Metaphern und Metonymien in der russischen Kultur und Literatur. Köln u. a., 2010.

[Yurchak 2006] — Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation. Princeton, 2006.

**СТРАСТИ ПО ЕНОХУ: «МОЗГОВОЙ» МИХАИЛА
ЮДСОНА**

Отрывок из книги «Высшая легкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы», выход которой ожидается в 2021 году в издательстве Academic Studies Press (Бостон), в серии «Современная западная русистика».

В романе Михаила Юдсона «Мозговой» становление личности героя, составляющее суть любого мифа, проходит через умножение и отбор репликаций «тысячеликого героя», его мысленных двойников. Миф оказывается не рассказом, не связным нарративом с единым сюжетом, а опытным постижением множества состояний, требующим привлечения множества нарративно-эпистемологических стратегий. Отсюда распадение романа на несколько жанрово-идеологических фрагментов. Единой остается риторическая стратегия отношения к языку — стратегия раскрытия вытесненных содержаний одного языка при помощи другого, перенос подсознания языка на речевой нарративный план, своего рода психоанализ языка. Хотя эта стратегия революционна в эстетическом плане, она консервативна по своему идейному посылу. Этот подрыв нормативного языка не является также признаком минорности («малой литературы»), в терминах Ж. Делёза, поскольку он по своей сути предельно не коллективен, не националистичен и не политичен, хотя и пользуется элементами политического и национального дискурсов. Такой подрыв доводит до предела риторическое отклонение-редукцию, но не стремится к разрушению языка. Скорее наоборот: при помощи инвазивных псевдопсихоаналитических методов он «лечит» язык от солипсизма, от его неврозов и фобий — *similia similibus*.

Метод Юдсона может быть определен как аллолингвистический мифопоэзис, то есть создание мифов как альтернативных, измененных состояний языкового сознания, как когнитивно-лингвистических галлюцинаций. В этой альтернативной языковой реальности дробятся и

множатся мифологические значения всех хорошо известных понятий, в частности тех, что вынесены в названия глав. В то же время путь героя конструируется по устойчивым историческим и архетипическим моделям, как, например, модель Исхода: страдание, подобное пребыванию в рабстве; письмо как Моисеев способ обнаружения Бога как того, кто диктует текст Книги; свертывание рабского существования как апокалипсис (то есть, в изначальном смысле, откровение) и Исход; скитание по пустыне реальности, сопровождаемое распадением единства на несколько «колен» и написанием Книги как выражением свободы; спасение как обретение обетованной «новой земли и нового неба» (вселенского дерева), объединение колен в единое «царство» (миньян) с целью реализации духовной сверхзадачи. Это приключение героя может быть интерпретировано и как притча о строительстве, разрушении и восстановлении иудейского Храма, и как история страданий, смерти и воскрешения Христа, и как притча о современной истории европейского еврейства, сионизма и Холокоста.

Во внешнем тематическом плане можно выделить в романе три основные линии: (1) эмиграция, (2) местные реалии (как еврейские, так и арабские) и (3) воспоминания о стране исхода («страна Рос», на языке романа). На этом, достаточно очевидном и ожидаемом фоне выделяется одна дискурсивная линия, прошивающая, хотя и не объединяющая, все другие — Холокост. Текст Холокоста менее эксплицитен, чем другие, он скрыт в риторических фигурах — в звуках, игре слов, аллюзиях и ассоциациях. Большая их часть сосредоточена в главе «Свертывание», чем конструируется настоящая, хотя и не подтверждаемая фактами, аналогия между событиями романа и Холокостом: «Присоединились к Шестиконечности с шестью нулями» [Юдсон: 172]. В некоторых случаях можно указать на сквозной мотив, как например, символ пепла: в первой главе — «Траур иудейский — яйца посыпая пеплом» [там же: 41], «бежать, горестно лупя себя по голове» (пепел стучит-посыпает)» [там же: 75]; во второй — «Чего там — не возжелай, не укради... Над “не”! Пепел Васьки стучит в твоё сердце!» [там же: 137]; в третьей — «Чуть не забыл — а побивание пеплом, тоже в строку» [там же: 205], «Эй, сверни бумажку с написанным в узкий свиток! Ай, засунь бумажку в фляжку! Ой, зарой

фляжку поглубже в пепел» [там же: 247]; в четвертой — «Набат баталии — пепелище бастилий» [там же: 361] (в пятой главе этот мотив явно не наблюдается). Текст Холокоста звучит и в названии Холов, существ-машин из четвертой главы, обитающих в сети, имеющей вид желтой Звезды Давида (название «Хол» имеет и другие значения: от русского холоп, холуй, а также профан — от ивритского «холь»). Основной топос первых двух глав, жилище Еноха, его чулан, описан как «очаг, нарисованный на обороте старого холста времен Холокоста» [там же: 13]. Приведу ключевой фрагмент в аналогии между Свертыванием и Холокостом:

Забрав с собой вперемешку машинки и погремушки, мотоциклетки-коляски и лисапеды-самокаты, водострельные волыны да пластмассовые «пушки», задали драла унд дранга из песочницы-эрец! Циклическое повторение заката рукавов, гансгретельцайт, рефрен Холострофы... Сидай опять в гетто, читай словарь хеттов... Пошли по шляху-дереху до хаты, крытой дранкой, як волы на убой-шхиту — эх, пропадай моя телега! Безвозвратно — ох, узь однокотейки! [там же: 258].

Смешение сказа и арго, русского, украинского, немецкого и иврита служит репрезентации многократно артикулированного в современной культуре коллективного ужаса — кошмара о повторении Холокоста. И в самом деле, ничто в романе не говорит однозначно в пользу того, что свертывание не есть новая катастрофа еврейства. Но наибольший ужас заключен не в этом предположении, являющемся только умозрительным экспериментом и риторической фигурой, а в том, что история представлена как поэма с характерно повторяющимися рефреном строфами, причем, скорее всего, как баллада, судя по упоминаниям романтического движения «Бури и натиска» (Sturm und Drang) и сказки братьев Grimm «Hänsel und Gretel».

Фигура «Холострофа», в которой циклическая основа мироздания, выраженная в ритмической поэзии («строфа»), интерпретируется как катастрофа, ставит под сомнение возможность некатастрофического существо-вания вообще. Она может рассматриваться как одна из крайних точек риторического отклонения во всем романе, как нигилистический космологический миф, как предельно натянутая струна, грозящая порваться и сорвать концерт.

Однако самоубийственный подрыв изнутри самой основы художественного произведения, акт поэтического самопожертвования остается нереализованным благодаря редукции отклонения: этот миф, точнее, лежащий в его основе хронотоп, приводит героя к новым творческим состояниям — к скитанию и познанию дружбы с такими же, как он «поэтами» и в дальнейшем к спасению, которое оказывается не более, но и не менее мотивированным, чем свертывание. Миф о перманентном холокосте уравнивается мифом о перманентном спасении. Язык, культура, искусство, история, то есть все то, что символически представлено в приведенном выше фрагменте, не являются жертвой всеожжения и разрушения, наподобие Вавилонской башни, а становятся материалом для риторического, то есть интелли-гибельного и целесообразного всесмешения, подобного детерминистическому хаосу.

В экзистенциальном и философско-антропологическом планах, приключение Евгения-Еноха воплощает миф об эволюции современного сознания от солипсизма к солидарности, от единственности к множественности, от рабства к свободе, и наконец, главное, от виктимной парадигмы в понимании собственной идентичности и ее места в социальной реальности — к генеративной парадигме, предполагающей блокирование жеста жертвоприношения и активное симметричное распределение ролей в отношениях между субъектами миметического желания. Эта трансформация выражена символически в переходе от топоса чулана к топосу дерева, а также в превращении трансцендентального «духа места» из Мозгового в кота, из чистого разума в чистую освобождающую мистическую животность и телесность (при посредстве пространной эротической, тантрической инициации в последней главе). Меняется и сама структура реальности: из хаоса и энтропии чулана, лишенного какой бы то ни было направленности, возникает диссипативная структура плоского пространства тель-авивских улиц; когда эта структура исчезает в хаосе вновь, рождается новая диссипативная структура, принимающая вид сети, сочетающей математическую строгость и смысловую неразличимость, иерархичность и деконструкцию источника; наконец и сеть исчезает, и из глубин хаоса возникает структура дерева как метафизическая вертикаль,

альтернатива философии «подполья», плоскости и сети. Тем самым усваиваются и преодолеваются Достоевский и Ницше, Делёз и Жижек, Жирар и Ганс: жертвоприношение откладывается, а означивание и язык рождаются заново; метафизическое мышление сохраняется, но сливается с телесными, игровыми и хаотическими основами.

Интерпретации созданного Юдсоном приключения можно множить до бесконечности, благодаря его мифологической архетипичности. Я же попробую ниже внимательнее присмотреться к тому, что текст говорит о мифе как таковом. В первой главе «Страдание», иронизируя, герой представляет себя как бойца или революционера, как Оружейника Просперо, и потому миф впервые упоминается в пародии на большевистские лозунги: «Сижу в блиндаже чулана (...) Логово кропателя-пропагандиста — “Эльфшанце”. Дворцам — писец! Хатам — софер! Мифы — чуланам!» [там же: 51]. Миф здесь — пропагандистский штамп, идеологическое и эстетическое клише, тот нарративный стиль, которым то ли необходимо воспользоваться для выполнения «боевой» задачи, то ли от которого необходимо избавиться для ее наилучшего выполнения: «Стало быть, так закалялся стиль. Подбирается на слух! Чекань, как в мифах: “Офицер упал. Солдаты смутились. Уходят, унося трупы”. Ух, золотая репка — каста недалеких» [там же: 62]; «много гончего, мифологичного, зримо захватывающего из себя надо выжать» [там же: 72].

Однако во второй главе «Списание», миф уже вписан в усложнившуюся, хотя и весьма саркастичную рефлексию героя о природе его письма: «Ужели я, забытый раб с обочины чулана, в анал забитый, выпоротый реп, списанный с трирем жизни (вернулся из Сиракуз!) — создаю в сознании, вычурно порождая, копулируя корпускулы — свежие мифы и тонкие миры?! Триаду субмарин и оба танка!..» [там же: 106]. Несмотря на очевидную едкую самоиронию и насмешку над его работодателями, герой все же видит миф как нечто, что создают в сознании, а не только воспринимают из-под палки, и что может быть, по крайней мере теоретически, не только штампованным, но и вычурным, свежим и тонким.

В следующей главе, «Свертывание», миф понимается как актуальное мифотворчество, где комично смешиваются древнее и современное, высокое и низкое, романтическое и

будничное, святое и профанное: «Вообще, в мифологии каббалы Тахана Мерказит [центральная автобусная станция — ивр.] — это как бы пещера Махпела, кладовка-саркофаг, холл праотцев, где вход в загробное царство. Приползёшь досюда (дос-юда!) — и есть шанс у автобусных касс встретить Элиезера, слугу Авраама... Он вам поведаёт про прожорливую птицу Холь» [там же: 217]. Среди русско-израильских писателей обнаруживаются и высмеиваются, вместе с прочими, «фэнтезийные уфологи из урологов (почкующиеся юнги-ларсены современной мифологии)» [там же: 231]. Мифическими оказываются классические тексты и тексты современной классики, также карнавалено обыгрываемые: «Классические мифические вопли: “Фрида!” — это, конечно, “Фридом!”, “Свободна! Тебе больше не будут подавать ананасную воду!” Загнание в рай! Сомкнутым кагаловьем! Струёй в строю! Нестационарная вселенная всё-таки не лес до половины» [там же: 252-253]. В одном из образов опустевшего Тель-Авива, который уподобляется местечку после погрома, миф упоминается как синоним святости: «Профанное пространство — мифами и не пахнет, святость смыло» [там же: 260]. В то же время, отчасти следуя высмеиваемому им психологизму и сюрреализму в искусстве, рассказчик заполняет эту пустоту своими персональными мифами: «— Не то слово! — согласился Мозговой. — Примерно похоже, близко к мифу. Никуда не денешься, всё, что раньше тебе чудилось, рисовалось, ползало в падких грёзах и порхало в вышних чуланах, нынче вышло, так сказать, из вагончика фуникулёра — пересадка мозга» [там же: 271].

В последних двух главах миф почти не упоминается, зато в самом конце романа он включен в предельно значимый для автора контекст сопряжения данного романа с его предыдущим романом «Лестница на шкаф»: «Я знаю своё место, пафосно воздвиг в тени, Алкей — лакей Сапфо, судьба сулит нам Суламифь, миф о суллам, о лестнице на шкаф, восходим и нисходим фрикционно, глотая солёные брызги, ну-ка, затуши об мой факкел огонь Весты, и яснее видны герои древних летописей, славных дел» [там же: 449-450]. В этой игре слов, языков и литературных и мифологических реминисценций возникает впечатление, что автор понимает миф как символ, чудесным образом содержащий всю полноту знания о своем бытии здесь и сейчас, в котором заключено прошлое и будущее, как

индивидуальное, так и культурное. Это объясняет использование в этих строках настоящего времени, а также зроческой образности: миф раскрывает настоящее, мимолетный момент бытия, как акт любви, дающий начало всем временам и пространствам существования смысла. С этой точки зрения, любой миф — это миф о лестнице на шкаф. Автор заново интерпретирует этот образ, а вместе с ним и образ лестницы Иакова, как метафору нереализуемого, вечно откладываемого желания (Сапфо и Алкей, Суламифь и Соломон). Та же вертикальная (фаллическая) метафора означает откладываемую, но полную потенции реализацию творческого жеста — воздвижение памятника — но в тени, по аналогии с признанными, но во многом утерянными шедеврами поэтического искусства и древними летописями. Миф — это то, посредством чего в язык приходит желание, тайна, ритуал, храм; пусть это и храм Весты с затухающим в нем огнем, именно он символизирует центр цивилизации, Города и мира.

Подводя итог, можно сказать, что не только мифология Юдсона, но и само его восприятие понятия мифа меняется на протяжении книги: оно словно проходит вспять историю идей от постмодернизма к Серебряному веку, от социологизма к персонализму, от прагматизма к символизму. Это изменение связано с жанровыми и философскими изменениями, наблюдаемыми на протяжении романа, о которых говорилось выше. Переход от циничного солипсизма к патетической мистерии не мог не отразиться на восприятии рассказчиком механизмов означивания, из которых миф наиболее эксплицитен. В мире, где живые мысли и чувства заменены идеологическими окаменелостями, а личность — групповой идентичностью, субъект неизбежно оказывается жертвой всегда уже реализованного другими, чаще всего коллективным «другим», насилия. Смысл оказывается заложником перманентного жертвоприношения. Именно это общественное и экзистенциальное состояние и названо в романе «страданием». Однако стоит только вернуть субъекту его гуманистическое содержание, его живую, творческую, свободную страсть, как он из жертвы превращается в героя приключения, в котором он никогда еще не жертва, в участника генеративной сцены, на которой, в терминах Ганса, горизонтальный жест

присвоения заменен вертикальной репрезентацией неприсваиваемого и неотчуждаемого смысла, то есть «лестницей на шкаф». Рождение репрезентации, познание источника и цели означивания — это и есть «спасение» по версии романа.

В самом деле, путь, пройденный героем, весьма впечатляет и удивляет не только читателя, но и его самого. Он вступает на него беспомощным «рабом», выброшенным на обочину жизни, а заканчивает сильным и свободным существом, символически воплощенным в коте, и даже более того — вдохновителем и лидером духовно и социально активного сообщества («миньяна»). Из бесправного служителя живущего в его голове божка он превращается в мужскую и мужественную половину псевдосупружеской воображаемой пары, члены которой состоят в условно симметричных отношениях. Как во фрактале, это же приключение случается в каждом микромифе, на всех перечисленных выше риторических уровнях мифотворчества, в каждом слове или словосочетании. В этом смысле, риторическое отклонение выступает в качестве «страдания», а редукция — в качестве «спасения».

В основе поэтики Юдсона лежит бесконечно повторяющийся риторический жест, инсценирующий мифическое «путешествие туда и обратно», от страдания к спасению. Этот смыслообразующий жест снова и снова безрезультатно пытается схватить недоступный объект желания, которым является сам язык. Для автора поэтическое «присвоение» языка означает преодоление его конвенциональности при помощи перекодирования его в другие языки или конструирования гибридов, состоящих из элементов одного и того же языка. Это сопровождается, конечно, и культурной гибридизацией (ярким примером может служить граффити: «на... нас... насрал... Насралла» [там же: 218], где деконвенционализация имени главаря Хезбаллы строится по модели мантры браславских хасидов: «На-Нах-Нахман-МеУман»). Язык естественный, конвенциональный, прозрачный лишен для автора не только смысла и красоты, но и самого существования: язык есть только тогда, когда он не равен самому себе. Этот парадокс не имеет решения, но имеет два важных последствия. Во-первых, автор, оказавшийся *miseenabyme*, то есть помещенным в бездну между необходимостью

жеста присвоения языка и неизбежностью его провала, приходит к выводу, что мифическая риторика не имеет никакой цели за пределами ее самой, и это служит причиной его пессимизма или даже временами нигилизма. В то же время, во-вторых, ему ничего не остается, кроме как признать, что спасение из бездны хаоса возможно, и что, более того, предчувствие его уже содержится потенциально в каждом слове, как статуя в куске мрамора, писателю только нужно его оттуда извлечь при помощи другого слова или языка, и поэтому можно утверждать, что его поэтика заряжена философским оптимизмом. Эта неизбывная двойственность, явленная в замкнутости языка на самом себе, формирует и структуры более высокого уровня, такие как хронотопы, сюжеты и символы, и, в частности, на ней основана пара Енох-Мозговой. Они высекают друг из друга смыслы, будучи несчастны в этой вынужденной запертости один в другом, но одновременно и счастливы, всегда имея друг друга «под рукой» как ультимативных объектов сорванного генеративного жеста. Так герои Юдсона обретают спасение.

ОДИН СПОСОБ ЧИТАТЬ РОМАН МИХАИЛА ЮДСОНА «МОЗГОВОЙ»

«Мозгового» читать сложно. С этим, скорее всего, согласится, почти любой, кто пробовал «Мозгового» читать и о нем думать, и уж тем более тот, кто «Мозгового» дочитал. Как это ни странно, будучи дочитанным, замечательный роман Юдсона не становится ни проще, ни понятнее.

Формальный сюжет романа кажется предельно простым, и он не проясняет ровным счетом ничего. В трущобной квартире южного Тель-Авива сидит эмигрировавший из России Енох и пишет, точнее, совершает длящийся акт литературного письма, постепенно захватывающий все новые и новые темы, все большие пространства в настоящем, прошлом и будущем, включая самого пишущего, при этом физически, по большей части, остающегося в пределах пешей досягаемости своей квартиры. Но главное пространство, которое этот акт письма охватывает и исследует, это язык. Енох временами жалуется на захламления русского эмигрантским волапюком, но и сам почти он постоянно утыкается в иврит и ивритизмы, в которых неожиданно обнаруживаются только из русского и понятные смыслы, и, наоборот, обнаруживает ивритские смыслы в русских словах. Но все же этот язык именно русский, и на поверхности, и в глубинах которого Енох находит многочисленные как затертые бытовым использованием, так и выдумываемые смыслы.

При чем же здесь Израиль? Почему именно в Тель-Авиве сидит Енох Юдсона? Тем более, что, насколько мне известно, иврит Юдсон знал не очень хорошо. Я не очень люблю рассуждения на тему, кого следует считать «еврейским писателем». Чрезмерно содержательными они мне не кажутся. Но один элемент еврейской цивилизационной традиции понимать в контексте обсуждения романа Юдсона все же необходимо. В иудаизме, и особенно в мистическом иудаизме, мир был создан с помощью языка. Каждая буква иврита участвовала в творении мира, даже самое простое бытовое слово может

раскрыть сложнейшие смыслы, не язык отражает мир, а мир укоренен в языке. Слова и вещи неразделимы, но в отличие от вещей слова изобилуют смыслами, далеко уходящими за пределы своего буквального значения. Даже, на первый взгляд, случайное и частичное звуковое совпадение между словами подсказывает скрытые смыслы, которые могут оказаться неисчерпаемыми, а частичное совпадение фраз, казалось бы, относящихся к совсем разным контекстам, может, а часто и должно, стать причиной для размышлений, продумывания, отказа от привычных клише. Так же действует и Енох Юдсона, и сам Юдсон, как писатель, они закапываются в язык, переворачивая его глубинные пласты, находя и выдумывая созвучия и смыслы, для того, чтобы через язык увидеть окружающий их мир. А то, что речь не идет об иврите, что же, похоже, что для Еноха Юдсона мир смыслов становится видимым именно с помощью русского языка.

Но как раз для технической стороны того, что Юдсон, как писатель, делает и в «Мозговом», и почти во всей своей прозе, включая даже рецензии, как раз на русском, в который Енох Юдсона столь погружен, полностью адекватного термина не находится. Самым подходящим словом для этого тысячекратно повторяющегося у Юдсона приема на русском, наверное, является слово «каламбур», но, парадоксальным образом, оно же и максимально затемняет смысл того, что Юдсон как писатель делает. На русском слово «каламбур» низовое, развлекательное, относящееся к попойкам и дамским альбомам. Русский читатель обычно с изрядным изумлением узнает, что «каламбур» был одной из любимейших поэтических техник Шекспира; Шекспир переворачивает слова, как вещи, умножает их смыслы, использует для сопряжения высокого и низкого, заменяет одни слова другими, похожими по созвучию. Часть шекспировских каламбуров переводчики были склонны оставлять непереуведенными даже в тех случаях, когда такой перевод был технически возможен, для того, чтобы не превратить трагическое в комическое, а высокий любовный монолог в набор плоских сексуальных шуток. По-английски же соответствующее слово “pun” почтенное, за ним стоит не только гигантский и почти мифический авторитет Шекспира, но и едва ли не половина английской литературы еще со времен Ренессанса. И у Юдсона то, что может показаться игрой в слова, а то и

удачными «каламбурами», оказывается познанием окружающего мира и размышлениями о нем.

И все же, продолжающееся на десятках и сотнях страниц, это эвристическое, а часто и игровое размышление над языком, его возможностями и границами, не облегчает понимания книги Юдсона, как художественного целого. В заметках, оставшихся после трагической смерти Юдсона, очень часто упоминается и цитируется Чехов. Но не Чехов в западном понимании, не Чехов великий драматург и предшественник модернистского театра, а Чехов рассказчик и Чехов афорист. Как кажется, Юдсон воспринимал его не только как постоянного собеседника, но и как литературного учителя. И в определенном смысле чеховский метод доведен в «Мозговом» до своих крайних художественных пределов. Каждый абзац в романе Юдсона можно и, вероятно, следует воспринимать как очень короткий рассказ или проторассказ с отдельным смысловым сюжетом, хотя обычно набросанным чрезвычайно пунктирно. В каждом абзаце язык продолжает действовать на пути изучения самого себя и мира, обычно при посредничестве Юдсоновского Еноха, но не всегда. Эти абзацы-рассказы комбинируются в большие литературные единицы, главки-рассказы, со вполне понятными смысловыми началами и завершениями, в которых язык исследует окружающий мир через самого себя. Почти каждая такая главка могла бы быть отдельным рассказом и читаться в отдельности, но при этом в книге Юдсона они не являются автономными. Из этих псевдоавтономных главок рассказа языка о себе и мире постепенно выстраивается необычное художественное целое романа «Мозговой». Наподобие, похоже, уходящих в прошлое «романов в письмах», это роман в рассказах языка о языке, не являющихся рассказами.

Что же это за мир, который роман Юдсона исследует таким неожиданным и непростым способом? Увлеченность Юдсоновского Еноха языком может создать ощущение, что этот мир расплывчат и существует только в качестве кулис, где-то далеко на заднем плане. Но это не так. Этот окружающий Юдсоновского Еноха мир прописан не только конкретно и подробно, но часто и предельно натуралистично. Это касается не только внутреннего мира пишущего героя, переживания самого акта письма, круга чтения и мировой культуры, но и окружающего его

предметного мира, заброшенной квартиры, тель-авивских трущоб, грязи и разрухи, окружающего города, эмигрантов и уроженцев Израиля, обычно представленных далеко не лучшими их образчиками, воспоминаниями и размышлениями о России и столкновениям с беженцами и мигрантами из Африки. Парадоксальным образом, этот роман языка о языке не только не располагается в плоскости воображаемого, а очень тесно связан с конкретным временем и конкретным местом, связан до такой степени, что читатель, не знающий Израиля и Тель-Авива, многого, наверное, просто не заметит. В этой натуралистической плоскости многие суждения Юдсоновского Еноха звучат резко, немало таких, с которыми хочется спорить, есть и такие суждения, с которыми кажется невозможным согласиться. Но именно в такие суждения и такие «нелегкие» и некомплементарные мысли, наверное, стоит всмотреться особенно внимательно и, даже не соглашаясь, попытаться услышать сложность их смыслов.

Много лет мы с Мишей встречались почти исключительно на заседаниях редколлегии сравнительно недавно закрывшегося журнала «22». Иногда мы встречались на презентациях журнала и других сравнительно формальных мероприятиях, но именно на редколлегиях Миша мог быть в гораздо более значительной степени самим собой. Он был неизменно приветлив и хорошо, не по-наигранному, тепл в общении. Был одинаково радушен и при общении со всемирно известным драматургом, одновременно бывшим заместителем мэра одного из трех самых больших городов Израиля, и с живущим на пособие безымянном эссеистом, приглашенным на заседание редколлегии в качестве гостя. Как это бывает, наверное, на большинстве редакционных заседаний мира, споры временами принимали резкий характер, а временами, по-израильски, почти все начинали говорить одновременно, иногда срываясь на крик. Реплики Миши были не только точными, лаконичными и обычно глубоко продуманными; почти всегда он указывал на лучшее в текстах, в простых и ясных словах это лучшее описывал, как кажется, никогда не получая столь частое в литературное среде удовольствие от ошибок и оплошностей других писателей и искренне радуясь их успехам. Обсуждений того, перевешивают ли эти

достоинства те недостатки, о которых говорили другие, он обычно тоже избегал.

Он был одним из самых добрых людей во всем израильском литературном мире. Те суждения в его «Мозговом», которые, на первый взгляд, могут показаться резкими и насмешливо-сатирическими, как кажется, происходят от пронизательности, точного и глубокого понимания, внимания к деталям окружающего мира, горечи, часто высказанной через насмешку, - всего того, что Миша как человек мог высказать просто и прямо, но чью сложность и фарсовый трагизм в их полноте для писателя Михаила Юдсона открывал именно вслушивавшийся в себя язык.

МНОГООБРАЗНЫЙ БОРИС КАМЯНОВ

*Я разный – я натруженный и праздный.
Я целе- и нецелесообразный.
Я так люблю, чтоб всё перемежалось!
И столько всякого во мне перемешалось –
от запада и до востока,
от зависти и до восторга!*

Хочу искусства разного, как я!

Евгений Евтушенко, «Пролог», 1955

1

Должен признаться, что поначалу я хотел выбрать в качестве эпиграфа подходящий фрагмент какого-либо стихотворения самого Камянова. Но вдруг мне пришло в голову, что тут очень пригодятся строки из евтушенковского «Пролога». Единственное слово, никак не характеризующее Камянова, – «зависть» (да и у Евтушенко оно, по-моему, взято для эффектного созвучия): Борис Камянов был, в сущности, одним из самых ранних антисоветчиков в русской – советских времён – поэзии (род. в победном 1945 году, начал писать стихи в первой половине 60-х, в ту пору, разумеется, не опубликованные).

К своему 75-летию юбилею Борис издал в Иерусалиме книгу избранных стихотворений «От и до», где «От» датировано, начиная с 1962 года и кончая 1976-м, а «до» – в период с 1976-го по 2020-й. Кроме того, под редакцией Камянова вышел очередной, двенадцатый, номер альманаха «Огни столицы», в котором помещено ещё несколько его текстов, сочинённых в 2018-2020 годах. Я начну, разумеется, с самых ранних стихотворений, дополняя свой разбор, когда это покажется необходимым, и более поздними.

В 1965 году создано стихотворение «Обычный невесёлый вечер...» Невесёлый? «Но женщина кладёт на плечи / Ладони теплые свои». А в конце: «Рука легла на твой висок. / Как странно. / Как неодинокое» Я полагаю, что тут ключевое слово как раз последнее. А если ещё добавить

строку из второй строфы: «*И горечь покидает душу*», то у меня есть право толковать это трёхстрочье как любвеутверждающее (прошу прощения за столь несуразный неологизм. Кроме всего прочего, здесь ещё нет никакой эротики. Это не похвала, а констатация факта). Но уже год спустя, в стихотворении «Везёт на матерей на одиночек...» читаем: «*Колеблется на этих женщин такса* (здесь и далее в цитатах курсив везде мой. – М. К.) / <...> / *Но всё же любят. Всё же привечают*». А в 1967 году эротика входит в строки поэта на равных правах с нежностью:

*Но естество моё мужское всё же
Звало меня с природы на Арбат,
Где ржавые пружины в пыльном ложе
Под женским телом весело скрипят.*

Обратим внимание: буква «ж» в этом катрене повторяется шесть раз. Своего рода аллитерация согласных. А ещё пружины скрипят *весело*. Ну что ж, такой поворот от невесёлого вечера к весёлому дню вполне приемлем: ведь автору 22 года.

В 1973 году поэт пишет стихотворение только о душе. Оно начинается строкой «*Душа моя, печальная душа!..*» Концовка же, в опровержение первого и второго секстетов, гласит: «*Давай с тобой тихонько говорить / О странном даре – красоту любить <...> / О Вечности, мигающей из тьмы...*» Камянов убеждён в том, что его душа – «кольцо в её цепочке». Это вдохновляет...

Проходит ещё 23 года. Борис уже в Израиле. «*Спасибо, любимая: душу свою предложив...*» (запев: «*Прости, если можешь, за горькую эту любовь...*»), а дальше он называет любимую волшебницей, а её душу – родным сердцем, к которому он приник. Но в то же время «сообщает» о собственной душе, что она и «закрытый сосуд», и «тигель фарфоровый хрупкий», и даже «созревший гнойник»! Все эти негативные характеристики напоминают жалобы, но завершается стихотворение строками, впитавшими тёплые, благодарные чувства: «*Пустой оболочкой я к сердцу родному приник, / И вновь наполняют её / И тепло, и покой, и отрада...*»

Стоит отметить и стихотворение «В автобусе тесно. Сидит у окна...» (2009). А сидит девчонка с кудряшками и голым пупом, увенчаным пирсингом, которая читает...

псалмы из ТАНАХа. «Мешает девчонке неловкий народ»,
но –

*Девчонка читает псалом за псалмом,
Витают девчонка на небе седьмом.
И взор не подняв, продолжает читать,
Чтоб святость в душе своей не расплескать.*

Раньше автор бы изумился (как сегодня изумляюсь я): пирсинг и – псалмы! Эти понятия антагонистичны, как морской прилив и рядом лежащий песок. Ну, это бытовое, привычное. Но в 2009 году Камянову либо шёл, либо сравнился 64-й год, и поэтому: «А я, умилённый, над нею стою. / Стою, на клюку опираясь свою».

Вернусь, однако, в прошлое. Ламентационные стихи без позитивных концовок – далеко не новость в русской поэзии. Не удивительно, что Борис Камянов в 70-е годы минувшего века, живя в стране, становящейся всё более чуждой ему вследствие установленного в ней тоталитарного строя и примитивного крикливого атеизма (с заменой небесного Вседержителя на земного), метался между, как мне кажется, страхом переступить некую черту, с одной стороны, и принятием еврейского Бога и всё укрепляющимися мыслями об отъезде на историческую родину – с другой. Отсюда и «Я – зверь затравленный» (1970), и –

*И как отрешенье, ожесточенье
Приходит. Сквозь гул голосов
Я слушаю времени круговращенье
По звонкой арене часов.*

«Убогая роскошь больших ресторанов...», 1971
Вот одно из первых – прямых! – обращений к Богу:

*Боже! Ниспошли покоя!
В жизни будущей, другой
Поиграй ещё со мною,
Сделай птицею, травой,
Зверем, гадом ли ползучим,
Только, Боже, – поиграй!*

*Только дай мне, Боже, счастье
Погулять ещё в миру!*
«В этом мире я – бродяга...», 1973

Самое «плачущее» стихотворение Камянова совсем безнадежно по содержанию и интонации:

*Я уйду, растворившись во мгле,
Когда сердце до капли источится,
И останутся жить на земле
Дочь моя и моё одиночество.*
«Был женат. Обзавёлся жильём...», 1974

А ведь до репатриации автора осталось всего два года. В 1974 году, как мне кажется, было больше всего безутешности, lamentаций и даже самоненависти. Недаром создаётся стихотворение, начинающееся строкой «Ненавижу себя, обормота...» И ещё одно, по духу близкое этому, – «Первое мая». Цитирую концевочный катрен:

*Утром, опухший, очухаюсь я,
Долго ли мне колобродить на свете...
Господи, бедная дочка моя!
Господи, Господи, бедные дети!*

Рядом – очень сильное стихотворение «Руси веселие есть пити и блевати...» Это самоистязание и одновременно прозрение.

*Где наша вера? Поиски? Идеи?
Пьют по-российски нынче иудеи.
Естественно: чем больше водки пьём,
Тем легче нам мириться с бытиём.*

*Шумит толпа. Свершается судьба.
Мой милый друг. И мы с тобой толпа...*

Признать себя частью толпы – крайнее выражение недовольства собой. Ибо есть у Камянова диптих «Стихи о толпе» (1968), причём эта толпа всемирная. «Толпа прозревшего съедает», «Толпа живёт, как протоплазма», «И дай мне Бог такую силу, / Благослови мои дела, / Чтобы в толпе меня щадила / И к высшей правде вознесла!» В последней цитате, правда, странная стилистика: «моя» сила может пощадить «меня» в толпе; так тут речь не о пощаде, а о противопоставлении собственной силы силе толпы, а уж она-то, собственная, никак не может вознести к высшей правде.

Скажу два слова о том, какими средствами достигается воздействие на читателя всех этих жалоб и возмущений, адресованных самому себе. Во-первых, «долгим» трёхсложным (анapest, дактиль) размером и (иногда) рифмуемыми дактилическими окончаниями («источится – одиночество»). Во-вторых, подбором специфической лексики (опухший, очухаюсь, колобродить). В-третьих, значащими повторами одного и того же слова, например, слова «толпа» или... «Господи».

О конкретной – российской – толпе Камянов трактует особенно «нежно»:

*Нас многих ждёт высокая
И горькая судьба.
Прикончит нас весёлая
Российская толпа.
«Неласковая родина...», 1975*

Эпитет «весёлый», как мы уже видели, – тоже одно из любимых словечек Камянова (в том числе в невесёлых стихах). Но российская толпа не единственная в стихах поэта. Израильскую толпу Борис тоже не жалуёт. Дело в том, что в один из погожих дней начала лета 2002 года члены общины с однополой сексуальной ориентацией, впервые в Иерусалиме, провели свой «марш гордости». (В Тель-Авиве они уже «маршировали», но ведь Тель-Авив – город светский, а Иерусалим...) Ясно, что Борис Камянов, являясь уже давно человеком религиозным, был до глубины души возмущён. И написал по свежим следам этого, и по-моему гнусного, марша или парада, бичующую его участников инвективу – «"Марш гордости" в Иерусалиме» (июнь 2002). Вот первые её строки, сразу вводящие читателей в курс дела: «*Сегодня – день независимости. Независимости от Бога. / С разных концов Израиля взошёл в столицу народ*» (последнее слово здесь – синоним «толпы»). А вот концовка этой инвективы:

*Еврейская демократия, ты можешь собой гордиться:
Во всемирную педерацию входим теперь и мы!
То, чего ты добилась, враги не могли добиться:
Государство Израиль ныне – бардак во время чумы.
...Вечер. Парк независимости. Бесы вокруг мангалов.
Хлещут любовное зелье до одури, допьяна.*

*А в получасе езды от торжествующих гадов
Идёт – похоже, последняя в нашей судьбе – война.*

Что тут скажешь? Поэт выступает в роли пророка, гневно осуждающего от имени Бога негодяев – не потому, что они гомосексуалисты и лесбиянки, а потому, что этот марш – парадное, победительное надругательство над всеми остальными жителями Святого города, которых эти больные извращенцы презрительно называют «натуралами».

2

*Печать стыда и боли на лице,
Похмельная забота о винце.*

*Домой плетёмся пьяно и нелепо,
Над нами виснет пасмурное небо,
Роняя капли горьких Божьи слёз.*

«Руси веселие есть пити и блевати...», 1974

Выше я уже писал об этом стихотворении, но в несколько ином аспекте. Теперь самое время поговорить о пьянстве автора и его отношении к этому феномену – в разные годы его (автора) жизни. Конечно, не все похвалы водке, имеющиеся в ранних стихах Камянова, я принимаю за чистую монету, тем более что они чередуются с самоосуждением, иногда в одном и том же стихотворении (да хоть и в этом, программном, чьи фрагменты я привожу). В сатирическом стихотворении «Первое мая» (1974), из которого я в предыдущем разделе процитировал только концовку, любопытно и начало: *«Тихие пьяницы и драчуны,
/ В сквер выползающие на рассвете, – / Дети великой
Советской страны, / И, несомненно, счастливые дети»*. Тут осуждение тихих пьяниц (и буйных), к коим – уже иронически – относит себя и автор. И повторю первую строку из концовки: *«Утром, опухший, очухаюсь я»*.

В ещё одном стихотворении 1974 года («Ненавижу себя обормота...») Борис выдаёт и такое: *«Я по трезвой себя не обижу, / А бичую себя во хмелю»*. Но во хмелю ли создано «Первое мая»? И уж точно не во хмелю годом ранее написано пятистрочье «Богу», в котором слышится только

покаяние. Сказано: «*все мои грехи*»; следовательно, к грехам поэт относит и пристрастие к выпивке. А в концовке:

*К моей неряшливой судьбе
Отнёсся всё же не сурово.
Спасибо, Господи, Тебе,
Что мать жива.
Что дочь здорова.*

Нельзя не вспомнить и трёхстрочье 1975 года. Я его процитирую целиком.

*Опустившийся, толстый и пьяный,
Я бреду по осенней земле,
И понурых стихов караваны
Волочатся за мною во мгле.
Нелюбимый, бездомный, жестокий,
Виноватый пред всеми вокруг,
Пережив покаянные строки
Как короткий и лёгкий недуг,*

*Ковыляю по доброму маю
В стороне от людского жилья,
И хитрит с Небесами дурная,
Вечно пьяная совесть моя.*

Тут, кажется, комментарии излишни.

В уже израильском стихотворении – «По утрам выходил я в кошмары...» (1979) потрясает *российский* сон поэта, главными героями которого являются а la босховские монстры. Но и другие: «*Что мне снилось! Что, Господи, снилось! / Погружался я в солнечный дым... / Там я выстрадал Божию милость, / Был спокоен, здоров и любим*». Это большой текст: в нём 12 строф и 50 строк. И опять: «*И ночами мне снятся кошмары: / Будто снова в том мире живу*». В мире, где «самогоном нальёмся до глаз» и т. д. Герой стихотворения просыпался в ужасе, который, однако, быстро сменяется восторженной благодарностью: «*Слава Богу – в преддверии дня. / Я свободен. / В окне – Иудея. / Мой Господь охраняет меня*». Здесь ощущается прямое, фронтальное противопоставление Господа и Иудеи – самогону и

«превосходной дуре», которая *«если надоест – / на другую залазь»*.

И дальше довольно долго. Даже спустя 16 лет после репатриации Камянов сетует на то, что Россия *обесточила* (его слово) – *«и похоже, что навсегда»*. Но теперь у него есть Бог:

*Всё как должное принимающий,
Умоляю: великий Бог!
Пусть промедлит Твой меч карающий –
Рядом молится мой сынок.*
«Ни любви, ни семьи, ни дочери...», 1992

Кажется, дальше ни слова о зелье. За исключением стихотворения с много говорящим названием – «Обновление» (2018), а также «Единственной попытки». Да и то в первом – только *«Водочка, сестра родная»*, а во втором – обобщение, так сказать, грехов:

*Изменить себя я не сумею,
Прошное забвенью не отдам.
Если в нём о чём-то пожалею –
Значит, всю судьбу свою предам.*

Ну что ж. Прошное, со всем хорошим и дурным, никто вроде бы не забывает. А вот *стыдиться* прошлого мало кто умеет. Камянов – умеет! Но умеет и другое: ни о чём в прошлом *не жалеть*. Впрочем, стихотворение недаром же названо *«Единственной попыткой»*.

Но настала пора, когда каждый человек, достигший преклонного возраста, начинает думать о той черте, которая отделяет жизнь – от чего? Человек нерелигиозный или деист не знает, как ответить на этот вопрос, тогда как теист верит в загробную жизнь, в рай и ад, (в иудаизме они не похожи на христианские и тем более на мусульманские) и в Страшный Суд, на котором решается посмертная участь покойного.

Камянов знает свои прошлые грехи и верит в то, что Бог тоже их знает. Тем труднее ему размышлять о скорой, как он полагает, смерти. Но никто, кроме страдающего смертельной болезнью, не знает своего последнего часа, а Камянов далеко не так стар (как автор этой статьи). Однако у него много всяческих недугов. И есть у него довольно позднее (2017) стихотворение, которое он так и назвал – «Старость».

И то, что случится, – случится.
Пока что крепись и держись.
Лекарства, врачи и больницы,
Любимая горькая жизнь.

Такая этическая стойкость (я, понятно, имею в виду антиномию: «любимая» и «горькая») – даётся только поэту. И в том же году – по-другому сложенное, но по духу очень напоминающее «Старость», – «Утро», с концевочной строкой, отделённой многозначительным пробелом от предшествующих трёх строк: «О жизнь моя! Как всё же ты прекрасна!». «Всё же», несмотря на подробно перечисленные недомогания! И спустя два года: «Изжив себя, я всё ещё живу. / Желанье жить никак не изживу...»: «Изжив себя» – какие беспощадные по отношению к самому себе слова! И наконец, «О себе и Пушкине» (тоже 2019), опубликованное в 12-м выпуске «Огней столицы», которое приведу полностью:

Я – старенький писучий жид,
Мне семьдесят четыре.
Две жизни пушкинских прожив,
Я неизвестен в мире.
Но, хоть нетленку из меня
Не вышибить и плетью,
Я всё ж стишки свои бубня,
Готов прожить и третью.

Подобные «расчёты» так зацепили Бориса, что в 2020-м он снова начал считать свои годы, но в немного другом ключе: его отец умер в возрасте 68 лет, а сыну исполнилось уже 75, и он на три года пережил старшего (на двадцать лет) брата Виктора, известного критика, чьё имя нередко появлялось на страницах «Нового мира» Твардовского. Но «Я всё ещё пока моложе мамы». Думается, ради этой строчки и написано стихотворение. Слава Богу, у поэта есть рядом с ним молящийся сын, уже взрослый, и «куча» обожаемых внуков. Такой старости позавидуют многие.

3

Ещё в российские времена (1972) Камянов создал стихотворение под названием «Искусство». Главная в нём строка – концевочная: «Искусство начинается с любви». И

ещё одна концовка: «Я прожил день. И, видно, неспроста / Торопится на белизну листа / Любовь моя – душа моя живая» («Вечер в коммунальной квартире», тот же год). А в 2020 году возникает стихотворение «Моя Муза», где, кажется, свою Музу поэт ощущает прежде всего как требовательную и колючую.

Я на летейском берегу крутом
Стою, последней кровью истекая,
А Муза лупит по душе кнутом,
Боль из неё, как искры, высекая.

Но это же он сам! Это же боль его души! А без боли не бывает любви. Так вот, о любви. В последние по времени годы он объясняется в любви своим внукам. «Я чадолюбивый, потому что я чудолюбивый - / Нет большего чуда, чем новорождённый малыш. /<...>/ Откуда спустилась душа в этом нежном обличье?» (2011). Всё это прекрасно и в содержательном, и в формальном воплощении, но в концовке (очень сильной, как почти всегда) – печальные строки, но автор их не смыкает: «Душа воспарит в поднебесье – а ты, мой малыш, / Склонившись над телом, навеки оставленным мною, / Прочтёшь, как положено, первый свой в жизни кадиш».

Любовь-жалость: «Как же в мире этом муторном / Страшно оставлять внучат!» («Ночью», 2013).

Любовь-выбор (трудный, разумеется): «Окружают меня дорогие, любимые лица. / Внуки, внучки – брильянты. Спасибо Тебе, Ювелир! / Но среди этих сокровищ сияет одна ангелица, / С непонятною миссией в этот слетевшая мир». И далее: «Мне и жизнь не мила без твоей освежающей ласки. / Ты – подарок Небес, освящающий нашу семью. / Огорчает меня осознание скорой разлуки, / Но куда я жив, не страшусь я вселенского зла» («Ангелица», 2007). Рискованные строки, но в них – великая правда чувства.

Любовь-нежность (стихотворение и названо «Нежность» в книге «От и до»). «Душа моя, усталая душа / По-прежнему полна тепла и света. / А значит, на последнем рубеже / Не так страшна ухода неизбежность. / Да Бог с ним, с телом. Важно, что душе / Вовеки не растратить эту нежность» (2018).

Замечу, что в ряде поздних стихов Камянова существенно удлинились строки. Это произошло за счёт увеличения стопности в строке: раньше было преимущественно от трёх до пяти стоп, а тут (например, в «Ангелице») их семь! Его любовь к внукам так сильна, что не умещается в короткой строке!

Есть ещё и любовь к родине – не только к исторической и вновь обрётённой, но и к географической, в которой были прожиты первые тридцать лет жизни. О последней в стихотворении 1974 года сказано: «Бесмысленно несущийся в пространство, – / Мой неудобный, Мой любимый дом». (Тот же приём, что в стихотворении «Старость»). Соотечественникам по России, которые нередко титулуются толпой, поэт желает: «– Господь да не оставит вас / Своею добротой» («Неласковая родина...», 1975; за год до репатриации!). Камянов пытается понять Россию, но приходит к следующему горькому выводу: «Иного нет пути понять Россию, / Как только с нею спиться самому» («Демократичны русские пивные...», также 1975). И смех, и грех! И вот последнее «прощай!» России: «Прощайте, тридцать-лет-коту-под хвост», однако в это стихотворение проникло и совсем другое: «О Русь моя, родимый мой барак! / Прости меня, неверного еврея!» («Прощай, моя последняя зима!..», 1976).

Позже, уже в Израиле, слава Богу, не спившегося вместе с Россией поэта нередко посещает любовь-ностальгия. Первое стихотворение в цикле «Россия на распутье» – «Бог и хан», 2017) сначала звучит привычная критика, но затем, после многозначительного отточия, следует:

Я родился в российской столице
И оставил её навсегда.
Долго родина, злобная птица,
Выживала птенца из гнезда.
Но сегодня, поднявшись высоко,
Не смакую тогдашних обид,
Я смотрю на неё издалёка,
И сыновнее сердце болит.

А с другой стороны, Камянов, говоря о России, щедро расходует и саркастичность. Таковы стихотворения 1975 года: «ЦДЛ» и «Родина» – это ещё *тамошнее*. Прощаясь с Россией, поэт «встретил» старушку, которая, как ему

сперва казалось, «и есть» Россия, и сейчас она его, смятенного, пожалеет. А вместо этого «клюкой погрозила старуха / И плюнула злобно вослед». Борис отвергает *эту* Россию, которая патриотами считает лишь тех, для кого все чужие (Европа, США) – супостаты.

Стихотворение же «Великороссам» (2018) начинается словами:

Я вам сочувствовал, рабы,
Ну, а теперь – довольно.
Вы не рабы своей судьбы,
Вы в рабстве добровольно.

А кончается:

Насколько гордый раб убог,
Не выразить словами.
И не скажу я: «С вами Бог!»,
Махну рукой: Бог с вами...

О радости по поводу приезда в Израиль, красоты Иерусалима, и «большей близости» к Богу, радости, которую испытывал Камянов, написаны в сущности, все стихотворения израильского периода, кроме сатирических. Что-то я цитировал и в этой статье, и в нескольких прежних. В 1979 году, через три года после репатриации, он «выдал» стихотворение, смысл которого выражен в строках: «В горячей солнечной пыли, / За светлой площадью, вдали / – / Стена разрушенного Храма». И далее:

К стене ты приложись щекой
И слушай, как журчит покой,
К сухой душе пробив дорогу.
Ты вновь – у вечногo ручья,
Ты вновь – в начале бытия.
Ты снова дома, слава Богу.
«Старый Иерусалим»

Но мы также видели, как поэт громит неприглядные явления, всё учащающиеся в нашей стране. И заклинает: «Молись, Израиль, – может, Бог простит...» («Седьмые классы. Кипы всех расцветок...», 1994).

Что ещё сказать о стихах Камянова? Разве что он – мастер классического рифмованного и белого (безрифменного) стиха; что он изобретателен в создании

неологизмов; что он удачно употребляет аллитерации и внутренние рифмы; что в молодости он прекрасно писал земные пейзажи, а нынче нередко толкует библейские истории (см., например, стихотворение «Шауль и Амалек», 2020). И наконец, что ему присущ отменный юмор, который, в сочетании со смешной – но содержательной! – «перелицовкой» слов, создаёт в соответствующих стихотворениях особую ауру. Приведу лишь один пример: «Бог послал нам чудо-юдо, / Чудо – Он, а юдо – мы» («Чудо-юдо», 2011). Ну, мы прекрасно знаем и его юмористические книжки. А также и воспоминания, написанные отличной прозой. А ещё умная публицистика.

Короче говоря, в литературе он – «многостаночник», и что ни напишет, как правило, сулит ему успех у читателей. Дай Бог и дальше так!

ЛИЦО ПОЭЗИИ ПОД МАСКОЙ ПСЕВДОНИМОВ

*Живи так, чтобы тебе завидовали
твои однофамильцы.*

Книга, о которой пойдёт речь, многогранна и многоаспектна. Хотя, по гамбургскому счёту, ничего яркого-особенного в ней нет; на первый взгляд это обычный сборник стихотворений пяти поэтов, снабжённый предисловием и биографиями авторов. Тираж даже по нашим временам небольшой, формат обычный, обложка мягкая. Название «Снимая маски псевдонимов» немного напоминает советские времена; ну с чего бы это маски, тем более воображаемые, следует снимать? И что плохого в псевдонимах? Но если приглядеться к этой книжке повнимательнее, можно увидеть в ней многие символы и отсветы времени, приметы нынешнего состояния текущего литературного процесса и литературы вообще. Приглядимся же.

Книга рассказывает о пятерых разных по стилю, мировосприятию, судьбам и местам жительства писателях: Михаиле Железнове-Аргусе (родился в России, жил в США, работал в «Новом русском слове»), Вениамине Блаженном (родился в белорусском селе, жил в Минске, числился инвалидом по психиатрическому заболеванию, работал где придётся), Марке Азове (родился в Харькове, воевал, окончил университет, работал завлитом в театре Аркадия Райкина, последние годы жизни провёл в Израиле), Льве Дановском (родился в Кирове, жил в Ленинграде, работал инженером), и Романе Айзенштате (родился в Минске, работал в газете «Автозаводец», ныне живёт в Израиле). Всех этих авторов объединяет одно: их фамилии в паспортах писались как Айзенштат или Айзенштадт. Подробную вступительную статью с генеалогическими разысканиями предпослал

книге ныне здравствующий минский профессор Александр Айзенштадт.

Ещё сорок лет назад такая книга на русском языке казалась невозможной – потому что никакое государственное издательство не согласилось бы удовлетворить еврейскую фамильную гордость. Ещё двадцать лет назад издание такой книги выглядело неосуществимым – потому что были высокими цены на подобные услуги, а получающийся в итоге товар казался неходовым: книгу удастся продать только однофамильцам. С тех пор литература значительно приблизилась к персональным интересам каждого читателя; увидеть свою фамилию напечатанной над собственным же текстом – сегодня это удовольствие гораздо доступнее любому автору, чем сорок и даже двадцать лет назад. Но и социальный эффект от такой публикации значительно смягчился. Процесс идёт, и скоро семейные летописи, поздравления и эпистолярные опусы в нехитром типографском исполнении займут в домашних библиотеках место рядом с классикой и школьными учебниками.

Ещё одну неявную, спорную закономерность могу отметить благодаря этой книге: чем сложнее живётся поэту, чем в более трудные обстоятельства бросает его судьба, тем пронзительнее, тоньше и совершеннее получают его произведения. Разумеется, сравнивать следует работы только одного и того же автора, и жизненную его ситуацию приходится рассматривать в момент, когда произведение задумано, а не когда окончено. У талантливого продуктивного писателя даже сравнительно слабый текст окажется гораздо сильнее и эффективнее, чем у бездарного автора, всю жизнь числящегося начинающим. И обстоятельства меняются от дня ко дню и от часа к часу – жизнь в исключительно тяжких условиях приводит не к продуктивной поэтической работе, а к скорой смерти.

Для многих начинающих, непрофессиональных писателей главным в написанном является не

содержимое страниц, а фамилия рядом с заглавием. Книга становится памятным знаком, увековечивающим существование личности. Как сказано в одной из приведенных в книге биографий: «Началась посмертная жизнь поэта». Но для всякого ли поэта возможна посмертная жизнь?

С расспросами я обратился к инициатору и спонсору издания, единственному доступному мне источнику – Роману Айзенштату.

- Что побудило вас к поиску литераторов-однофамильцев? Вы полагаете, что принадлежность к определённой фамилии усиливает талант?

- Наоборот, талант усиливает звучание той или иной фамилии. Фамилия становится брендом. Никто не искал специально поэтов-однофамильцев. По мере знакомства с их творчеством выяснялось, что за псевдонимами стоят мои однофамильцы. Сначала это был Вениамин Блаженный, потом Лев Дановский, а затем и Марк Азов. Самым последним нашелся Аргус, творчество которого проходило в США. Мне показалось это интересным. Не так уж часто сталкивался со своей фамилией, тем более в литературном творчестве.

- Книга, которую вы собрали, раскрывает псевдонимы умерших литераторов, хотя они при жизни сами их не раскрывали. Не кажется ли вам, что вы нарушили последнюю волю покойных? Или, во всяком случае, не посчитались с их мнением, раскрывая псевдонимы?

- Литераторы, собранные в книге, брали псевдонимы не по своей воле. Как говорится, жизнь заставляла. К примеру, невозможно было представить, что сборник "День поэзии" начинался бы стихотворением поэта с фамилией Айзенштат, поэтому появилась фамилия Дановский. А у Аркадия Райкина, где работал Марк Айзенштадт, хватало людей с неблагополучной «пятой графой», поэтому появился фиговый листок - Азов. Да, фиговый, но не так всё же бросается в глаза.

- Ощущаете ли вы себя литературным наследником ранее работавших в этой сфере Айзенштатов?

- Когда мне было восемнадцать лет, первый раз меня напечатали в республиканской молодежной газете "Знамя юности". Был рад увидеть свою фамилию. Потом это стало рутинным делом, иногда ради гонорара. Кстати, в той же газете работала и Галина Айзенштадт. Иногда наши фамилии встречались на полосах, и порой читатели нас путали. А в другой, белорусскоязычной газете "Чырвоная змена", когда в одном номере выходило три моих материала, один шёл под моей фамилией, другие под псевдонимами. Мне кажется, что я, как поэт и как личность, формировался задолго до знакомства с наследием вышеназванных литераторов.

- Если принять литературную позицию составителей книги и провести поэтический конкурс исключительно среди Айзенштадтов и Айзенштадтов, кто, по вашему мнению, вышел бы в нём победителем?

- Особенно я ценю Вениамина Блаженного. Недооцененный поэт, чьи стихи больше похожи на молитвы и диалоги с Богом. Хотя Пастернак, Тарковский, Кушнер, Межиров ставили его очень высоко.

Все поэты из нашей книги - состоявшиеся. У каждого есть стихи, завоевавшие читателей. Если проводить всё же литературный конкурс, где в жюри будут авторы-составители: по нашему единодушному мнению победителем вышел бы Вениамин Блаженный. Не зря его поэзии отведено больше места в сборнике, чем другим.

И ещё о книге. Ведь это интересное, уникальное явление: в XVI веке из Испании и Португалии перебираются в австрийский город Айзенштадт евреи, живут здесь несколько веков, а потом, взяв фамилию по названию города, двигаются дальше - на окраины Российской империи, которая превратилась в Советский Союз. Здесь, сроднившись с русским языком, проявили себя поэтами и стали профессиональными литераторами пятеро известных представителей фамилии Айзенштадт. Но их могло быть гораздо больше! Надо отметить, что и Холокост сделал свое горькое и прискорбное дело. В музее "Яд Ва-Шем" числятся свыше 1700 представителей

фамилии Айзенштадт, погибших в Катастрофе. И вряд ли эти сведения абсолютно полны.

Диалог с Богом... Это ещё одна из важнейших особенностей еврейской русскоязычной литературы. Каждый автор, каждый поэт ведёт этот диалог по-своему, и лишь таланта требуют от них читатели. Вот стихотворение Вениамина Блаженного, одно из помещённых в книге «Снимая маски псевдонимов»:

Что же делать, коль мне не досталось от Господа Бога
Ни кола, ни двора, коли стар я и сед, как труха,
И по торной земле как блаженный бреду босоного,
И сморкаю в ладошку кровавую душу стиха?

Что же делать, коль мне тяжела и котомка без хлеба,
И не грешная мне примерещилась женская плоть,
А мерещится мне с чертовщиной потешною небо:
Он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет — Господь.

Что же делать, коль я загляделся в овраги и в омут
И, как старого пса, приласкал притомившийся день,
Ну, а к вам подхожу, словно к погребу пороховому:
До чего же разит и враждой и бедой от людей!..

...Пусть устал я в пути, как убитая вёрстами лошадь,
Пусть похож я уже на свернувшийся жухлый плевок,
Пусть истёрли меня равнодушные ваши подошвы, —
Не жалейте меня: мне когда-то пригрезился Бог.

Не жалейте меня: я и сам никого не жалею,
Этим праведным мыслям меня обучила трава,
И когда я в овраге на голой земле околею,
Что же, — с Господом Богом не страшно и околевать!..

Я на голой земле умираю, и стар, и безгрешен,
И травинку жую не спеша, как пшеничный пирог...
...А как вспомню Его — до чего же Он всё же потешен:
Он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет мне — Бог.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ведёт рубрику Ирина Морозовская

ЛЮБИТЕ МЕНЯ, ПОКА Я ЖИВА

Может, всё оттого, что пишу колонку в хмари послековидной, плохо держась за Землю, лишённая силы отрешиться и воспарить, способная только слушать и чувствовать. И вспоминать. Провалилась в воронку между прошлым и несбыточным. Между памятью и текущим. Выбираться не хочется, да и зачем? Это я собралась писать о Веронике Аркадьевне Долиной. Как водится - поначалу слушаю песни. А там, в ютубе, сколько всего, прочно прописанного в памяти, но совсем иначе обернутого и упакованного в видеоклипы, в слайды, в картинки из фильмов. Разворачивающимися рулончиками разноцветных конфетти, светящимися окошками кадров киноплёнки... Так что слушаю и слушаю, благо так всё хитро устроено, что за одной песней сама собой запускается другая, третья... Чувства всякие и разные - когда-то мне казалось, что всё это про меня, обо мне, а кое-что и для меня произошло. Но нынешние картинки - это про других, их глазами и жизнью. На десятой мелькает идея, что очень хорошо бы уже и писать самой. Идею гонит прочь следующая песня. Пожалуй, лучше, и безопаснее будет поставить себе концерты в разных городах и разных лет, благо на них тоже расщедрился нынешний интернет. Снять с полки кучу книжечек, погладить их кончиками пальцев, полистать, залипнуть ещё и туда, обнаружив хорошо забытое старое и и вовсе новое... Уже несколько дней так и живу ведь. Трудно оказалось рассказывать о человеке, с которым дружишь больше сорока лет. С женщиной, занявшей прочное и уютное место в жизни. Поддерживающей в тяготах и радующейся добрым

событиям. Потому что рассказ о Веронике всё время пытается сползти в лишнюю, даже нескромную интимность. Точно могу сказать, совсем немногие люди не из ближайшей родни сделали для меня больше, чем Вероника. И не попросили за это ничего и никогда. А я, сколько бы ни выросла, остаюсь в неоплатном восхищении и неизбывной нежности. Думаю, о Веронике Долиной написаны уже дипломы и диссертации филологические, потому что дар её того заслуживает, да и более того уже заслужил. Я лучше поделюсь тем, как меня песни Вероники, в самые разные годы, спасали (буквально), утешали, давали силы и забирали боль. Переносили меня в мир химически чистого волшебства, где можно было вдохнуть и выдохнуть, и повторять это столько раз, сколько необходимо для того, чтоб примириться с реальностью и выйти обратно в неё, став сильнее. Да и сейчас, из того, что случается спеть в любой компании, знакомой и незнакомой - просьбы о её песнях неприменны и неустанны. Последние годы в песнях всё больше мудрой печали и рассказов о нынешних наших реалиях. Как будто смотришь на жизнь сквозь цветные стёклышки. Картинка от этого меняется, оставаясь узнаваемой. И хочется пожелать Веронике полные пригоршни разноцветья жизни, чтоб хватало и на песни, и на игры, без которых жизнь тусклее и преснее. А уж силу моих пожеланий здоровья и всех благ не передать словами. И любви, конечно.

Вот несколько ссылок, по которым можно послушать что-то любимое и заветное. Найти своё. Зачерпнуть полные пригоршни от заколдованных источников этого мира, отхлебнуть и умыться. И замолчать на всё время, пока будут звучать песни.

Кое-что из любимого вот:

А ХОЧЕШЬ, Я ВЫУЧУСЬ ШИТЬ?

https://www.youtube.com/watch?v=186eos47JX4&ab_channel=maxvol777

КОГДА Б МЫ ЖИЛИ БЕЗ ЗАТЕЙ

<https://www.youtube.com/watch?v=F6vOE5nks->

[E&ab_channel=VeronikaDolina-Topic](https://www.youtube.com/watch?v=F6vOE5nks-E&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

МОЙ ДОМ ЛЕТАЕТ

[https://www.youtube.com/watch?v=aCgepchIPqk&ab_channel=](https://www.youtube.com/watch?v=aCgepchIPqk&ab_channel=alexanderkty)

[alexanderkty](https://www.youtube.com/watch?v=aCgepchIPqk&ab_channel=alexanderkty)

ПОТАЁННЫЙ САД

[https://www.youtube.com/watch?v=QJXNtbFd5q8&ab_channel](https://www.youtube.com/watch?v=QJXNtbFd5q8&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

[=VeronikaDolina-Topic](https://www.youtube.com/watch?v=QJXNtbFd5q8&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

Я ЖИВУ КАК ЖИВУ

[https://www.youtube.com/watch?v=V9LxdNWfubQ&ab_chann](https://www.youtube.com/watch?v=V9LxdNWfubQ&ab_channel=vorolo1)

[el=vorolo1](https://www.youtube.com/watch?v=V9LxdNWfubQ&ab_channel=vorolo1)

ЛЮБИТЕ МЕНЯ

[https://www.youtube.com/watch?v=2fi3R3L5LFk&ab_channel](https://www.youtube.com/watch?v=2fi3R3L5LFk&ab_channel=MARY08011973)

[=MARY08011973](https://www.youtube.com/watch?v=2fi3R3L5LFk&ab_channel=MARY08011973)

ЧЕРТОПОЛОХ

[https://www.youtube.com/watch?v=l665htbfyZs&ab_channel=](https://www.youtube.com/watch?v=l665htbfyZs&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

[VeronikaDolina-Topic](https://www.youtube.com/watch?v=l665htbfyZs&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

КАРАУЛЬЩИЦА

[https://www.youtube.com/watch?v=-](https://www.youtube.com/watch?v=-Bn19kHzet4&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

[Bn19kHzet4&ab_channel=VeronikaDolina-Topic](https://www.youtube.com/watch?v=-Bn19kHzet4&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

ЗАСТЫВШИЕ ФИЛИ

[https://www.youtube.com/watch?v=063I38UXFU8&ab_channel](https://www.youtube.com/watch?v=063I38UXFU8&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

[=VeronikaDolina-Topic](https://www.youtube.com/watch?v=063I38UXFU8&ab_channel=VeronikaDolina-Topic)

весь альбом "ДИТЯ СО СПИЧКАМИ"

[https://www.youtube.com/watch?v=t_pIiEvyfaY&ab_channel=](https://www.youtube.com/watch?v=t_pIiEvyfaY&ab_channel=MELOMANMUSIC)

[MELOMANMUSIC](https://www.youtube.com/watch?v=t_pIiEvyfaY&ab_channel=MELOMANMUSIC)

Альбомы - здесь, на канале:

[https://www.youtube.com/channel/UC1d_1aU3vLVXwsQu28k](https://www.youtube.com/channel/UC1d_1aU3vLVXwsQu28kUBtQ)

[UBtQ](https://www.youtube.com/channel/UC1d_1aU3vLVXwsQu28kUBtQ)

Песни Вероники Долиной росли в меня, прижились, сделали меня лучше. Они теперь не столько опоры, сколько воздушные шары и дирижабли, на которых по своему хотению я уношусь из этого момента в горькие и сладкие сверкающие мозаики собственной жизни и судьбы. Вот хорошо бы продлить, продлить, продлить.

Раздел «Стихи и струны» можно увидеть на сайте журнала.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Дина Рубина – писатель, живёт в Мевасерет-Цион.

Моше Воскобойник – физик, работает в хай-тек, живёт в Маале-Адумим.

Нелли Воскобойник – медицинский физик, прозаик, живёт в Маале-Адумим.

Татьяна Алферова – прозаик, поэт, живёт в Санкт-Петербурге.

Александр Дашков – журналист, педагог, живёт в Ришон ле-Ционе.

Калле Каспер – поэт, прозаик, драматург, живёт в Таллинне.

Давид Шехтер – публицист, пресс-атташе Еврейского Агентства, живёт в Ришон ле-Ционе.

Владимир Ханан – поэт, прозаик, живёт в Иерусалиме.

Евгений Деменок – литератор, живёт в Праге.

Михаил Юдсон – литератор, жил в Тель-Авиве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Елена Тверская – поэт, живёт в Калифорнии.

Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор, живёт в Беэр-Яаков.

Дина Меерсон – поэт, блогер, живёт в Беэр-Шеве.

Феликс Чечик – поэт, живёт в Нетании.

Борис Колымагин – поэт, прозаик, критик, живёт в Москве.

Игорь Губерман – поэт, прозаик, автор знаменитых «гариков», живёт в Иерусалиме.

Александр Карабчиевский – литератор, живёт в Тель-Авиве.

Клавдия Смола – профессор кафедры литературы Дрезденского университета, живёт в Дрездене.

Роман Кацман – профессор кафедры литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

Денис Соболев – прозаик, профессор кафедры литературы Хайфского университета, живёт в Хайфе.

Михаил Копелиович – литературный критик и публицист, живёт в Маале-Адумим.

Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

На титульной странице:

Редакторы журнала «Артикль»

Михаил Юдсон и Яков Шехтер

во время работы над очередным номером

Фотография **Татьяны Кацман**

В №14 «Артикля» на стр. 267 в тексте «Как это делалось в Москве» Алексея Лоренцона вкралась досадная опечатка. Вместо слова «асессора» следует читать «секретаря». Редакция приносит извинения автору и читателям.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Эдуард Бормашенко, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук: <https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции: articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)

(972)-50-9080348 (для заграницы).

Книжные магазины, в которых можно приобрести журнал «Артикль»:

«Книжная ярмарка»

Тель-Авив, ул. Левински, 108, Центральная автобусная станция, 4-й этаж, помещение 4310. Телефон: 0543-329543.

«Фейсбук»: <https://www.facebook.com/yarid.sfirim/>

Прославленный среди ценителей очаг культуры, созданный восемь лет назад на месте легендарного книжного развала. Мы твёрдо придерживаемся принципа: «Книга живёт, пока её читают»; поэтому ассортимент огромен, а цены более чем доступны. Действует книгообмен. Работают клуб любителей фантастики, издательство и поэтическое объединение. Именно в этом магазине проводит свои заседания Правление Союза русскоязычных писателей Израиля.

«Сефер Исраэль»

Тель-Авив, ул. Левински, 108, Центральная автобусная станция, 4-й этаж, помещение 3805.

Телефоны: 03-6392629; 054-6150697; 054-6608193.

Сайт в Интернете: <https://www.seferisrael.co.il>

Крупный книжный магазин с богатым ассортиментом.

Книги всех жанров.

Учебники иврита.

Магазин выполняет индивидуальные заказы.

Издательское предложение

Вы написали книгу? Поздравляем. Пора поделиться своим творчеством с читателями! Сегодня в моде электронные книги, которые можно читать с экранов. Но и типографские издания не сдают своих позиций. Обе формы распространения вашей книги теперь вполне доступны: «Издательский дом Helen Limonova» подготовит вашу книгу к публикации и отпечатает ее любым тиражом, начиная с 20 экз.

- Мы предложим самый выгодный для вас вариант издания;
- оформим обложку и снабдим аннотацией;
- создадим электронную версию;
- расскажем о вашей книге в социальных сетях;
- поможем продать и распространить по библиотекам.

Чтобы донести ваше творчество до самой широкой аудитории, мы организуем онлайн-встречи с читателями и разместим электронную версию книги на сайтах самых популярных русскоязычных книготорговых интернет-площадок.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности.

Проект «Вторая жизнь книги»

У вас дома накопились книги, которые загромождают жилое пространство? Вы полагаете, что уже не будете их перечитывать? Вы не знаете, куда их девать? Мы попытаемся вам помочь!

В Израиле действует проект «Вторая жизнь книги», осуществляемый «Издательским домом Helen Limonova» и магазином «Книжная ярмарка». Сообщите, в каком городе вы живёте, – и мы постараемся эвакуировать ваши книги, которые ещё послужат людям.

«Издательский дом Helen Limonova».

Тел. +972543329543 сайт: <https://www.limonova.co.il/>

e-mail: izdatel.helen.limonova@gmail.com

